

**ВРЕМЯ
ИДЫ**

109
1990



ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН
МЫСЛИ О СВОБОДНОМ РЫНКЕ

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Шестнадцатый год издания.

**Выходит один раз
в три месяца**

**109
1990**

НЬЮ-ЙОРК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1990

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД(зам. гл. редактора)
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Представительство журнала в Москве —
Литературное агентство журнала «Огонек»,
корреспондент «Огонька» Денис Новиков.
Адрес: 101456, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14. Тел: 212-63-19

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Manama Shmargon, Shlobstr. 30/30
1000 Berlin (West) 19

OCR и вычитка — Давид Титиевский, август 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
<i>Зиновий ЗИНИК</i>	
Крикет.....	5
<i>Сергей РУЗЕР</i>	
На Юго-Западе.....	46
<i>Вадим ЯРМОЛИНЕЦ</i>	
Эмма Белоцерковская.....	67
<i>Лия ВЛАДИМИРОВА</i>	
Явь и сны Алексея Тыбашева.....	87
ПОЭЗИЯ	
<i>Феликс РОЗИНЕР</i>	
Вселение в отель «La vita nuova».....	97
<i>Игорь ГУБЕРМАН</i>	
Дневник-89.....	104
ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА	
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Уж близок час.....	112
<i>Валентин ЛЮБАРСКИЙ</i>	
Что делать, а не кто виноват.....	123
<i>Михаил ЭПШТЕЙН</i>	
Обломов и Корчагин.....	141
<i>Вольфганг Зеев РУБИНЗОН</i>	
Муза Клио на службе КПСС.....	161
<i>Ефим МАНЕВИЧ</i>	
Еврейская судьба.....	176
<i>Елена ГЕССЕН</i>	
Конец прекрасной эпохи.....	194
<i>Ефим ЭТКИНД</i>	
Правда Виктора Некрасова.....	208
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ	
<i>Фридрих ГОРЕНШТЕЙН</i>	
В треугольнике «Россия — Германия — еврейство» я понимаю себя». Интервью Дж. Глэда.....	225
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>Винцас КРЕВЕ-МИЦКЯВИЧУС</i>	
Литва, 1940 год.....	237
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	
<i>Корней ЧУКОВСКИЙ</i>	
Словно тысяча сжатых пружин.....	266



Зиновий ЗИНИК

КРИКЕТ

1

"Чтобы понять крикет, вы, милейший, должны отвлечься от идеи, что очки зарабатывает тот, кто бьет по воротам. В крикете очки засчитываются тому, кто, наоборот, отбивает мяч. Очки засчитываются по числу пробежек бэтсмана с битой-лаптой, пока отбитый мяч в воздухе — не приземлился, не заземлен, пока отбитый мяч не перехвачен другой командой, понятно?» До меня все еще не доходили элементарные правила игры в крикет, но я уже ухватывал дух этой прекрасной в своей абсурдности логики: впечатление запутанности — от ее простоты. Сложное — понятней. Нет ничего проще чужой сложности. Сложную чуждость легче принять — хотя бы из уважения. Далекое — ближе. Чем дальше и выше отбить мяч битой, тем больше возможностей для маневров. Очки идут тому, кто защищается, а не нападает. Тому, кто убегает, а не преследует. Побеждает тот, у кого больше возможностей отступить. Неужели не ясно?

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© «Время и Мы»

ISSN 0737-7061

Противник с разбегу швырял мяч в сторону верзилы с уплоченной дубиной в руках — тот казался гигантом из-за смехотворно маленьких ворот у него за спиной. Я уже разбирался в массе деталей, но полного приятия идеи крикета, окончательного осознания игры не приходило. Я как будто перечитывал в который раз одну и ту же до смешного простую фразу на иностранном языке, но никак не мог связать воедино слова в ускользающей непредсказуемости синтаксиса. Я продолжал в состоянии остоленения вглядываться в зеленый, как зависть, травяной покров, в голубые небеса и в девственно белые, до сумасшествия, одежды игроков. Столь же магическим было движение игроков по лужайке. Поскольку мяч был едва различим во время игры, казалось, что они вовлечены в некую загадочную конспирацию, занимаются по секрету неким коллективным действием, не проявляющимся ни в какой видимой форме, не имеющим видимой цели и смысла. Казалось, они занимаются ловлей человека-невидимки.

Мой гид по крикетным эмпириям, шестидесятилетний Артур Саймонс, младший сотрудник редакции еженедельника «The Browser», иронично глядел на меня прозрачными голубыми глазами, где перемешалась летняя голубизна с облаками. Глаза увлажнились с каждым глотком алкоголя. Чем больше он употреблял напитка под названием Pimm's, тем гуще перемешивались облака с голубизной в его глазах. Объяснить по-русски, что такое Pimm's, так же сложно, как и понять крикет. В принципе, это английский вариант кампари. Если вы знаете, что такое кампари. Кампари — это такая горьковатая настойка, ее пьют с содовой или с апельсиновым соком, скажем, разбавляя на две трети. В отличие от кампари, Pimm's скорее сладковат, нежели горьковат. Кроме того, цвет не гранатовый, как у кампари, а скорее бурый, компотный. Компотный, вот именно. Туда, в Pimm's, англичане кладут все, что в голову взбредет: можно лимон, а можно огурец. Огурец, а что, а почему бы нет? Я не уверен, но, насколько мне известно, самые крупные любители этого

напитка кладут туда даже редиску. С сельдереем. Короче, это вроде английского варианта русской окрошки на квасе, а вовсе не английский вариант итальянского кампари.

Впрочем, все эти мои объяснения, как всякий неудачный перевод непереводаемой детали (гипнотизирующей именно своей непереводаемостью, своим существованием лишь в английском языке), создают неправильное впечатление (на бумаге) от того солнечного июньского полдня, когда мы сидели с Артуром в белых креслах на краю зеленой крикетной лужайки, и он вновь и вновь пытался объяснить мне правила игры в крикет. В его глазах, соперничающих по голубизне с небом, мог затеряться отбитый ввысь крикетный мяч, но мысль в них читалась та, что отступить дальше некуда и места для маневров не осталось. Он — жертва цветочной пыльцы — дышал прерывисто и шмыгал носом, прикладываясь из-за насморка сенной лихорадки к платку после каждого глотка из стакана. Он находился в том гриппозном состоянии, когда со стороны кажется, что человек при смерти: астматическая одышка, покрасневшие веки и кончик языка, постоянно, по-змеиному облизывающий пересохшие губы, — все это придавало его облику нечто потустороннее, превращало его в парию мира здешнего. Рядом с ним даже я, советский эмигрант с фиговым листком в виде британского паспорта, гляделся вполне сносно, чуть ли не как заведомая этого крикетного сборища. Кроме того, я чувствовал себя как будто на премьере собственного спектакля, поскольку в последнем номере еженедельника я выступал в качестве автора — «его автора». Я был литературным открытием Артура Саймонса, что верно было лишь отчасти, поскольку сам он разыскал меня через «Times Literary Supplement» (лит. приложение к «Таймс»), где меня уже до него использовали по тому же, в сущности, назначению: как только на лондонской сцене возникало нечто экзотически-заморское, некий культурологический урод для ярмарочного балагана (скажем, израильская постановка о венском ев-

рее-антисемите и женоненавистнике-самоубийце Отто Вайнингере, авторе книги «Пол и характер», где главная идея: еврейство — это женственность человечества, а женщин он терпеть не мог), в строй рецензентов призывался я со своим российским прошлым и двойным, британо-израильским гражданством.

Так или иначе, со мной тут обращались как с примадонной, по своей изысканной экзотичности сравнимой разве что с самим предметом моих литературных экзерсисов. Быть приглашенным на этот ежегодный крикетный матч (редакция «The Browser» против команды издателей) было само по себе честью (присутствовали все пижоны литературного мира), а тут еще и бесконечное кружение вокруг меня, и каждый готов был с благожелательной улыбкой выслушивать мои каламбуры по-английски в духе Вайнингера про Россию (женского рода) в состоянии ложной беременности свободой, предменструальной депрессии из-за неминуемой эмиграции евреев и неизбежного литературного климакса. С каждым мгновением я все уверенней чувствовал себя полноправной частью общей картины, крикетной команды, с пониманием кивая головой, когда Артур, интимно склонив голову в мою сторону, остроумно обыгрывал, скажем, тот факт, что бэтсменом на «нашей» стороне выступал драматург Гарольд Пинтер, гений пауз в диалоге, как бы давая мне понять, что пауза в диалоге и есть ключевая метафора крикета.

«Со стороны, — продолжал Артур, не отрывая слезящегося взгляда от лужайки, — видимость легкости, неуловимости и изящества. На самом деле, когда ты на площадке лицом к лицу с противником, начинают дрожать коленки. Крикетный мяч — страшное оружие. На вид — маленький шарик. На ощупь он тяжел и тверд. Свистит, как пушечное ядро. Тебе кажется: тебе сейчас разmozжат череп на глазах у всех. И уже ничто не поможет. Все стоят и ждут, как тебя будут калечить. Жутко, милейший, жутко».

Я видел, как его желтые пальцы сжали ручку кресла. Артур Саймонс нравился мне еще и тем, что был одним из немногих англичан, кто общался со мной без той приклатности, с какой британский интеллектуал обращается с русским варваром, как бы подстраиваясь под его варварский взгляд, занижая и тон и речь беседы, клеветца, так сказать, на собственную страну ради продолжения разговора с любопытным, но безграмотным чужаком. Поэтому когда Артур говорил о скрытой английской агрессивности под маской остранинной доброжелательности, я ему верил: он говорил со мной на равных — как бы сам с собой в моем присутствии. Я чувствовал себя равным в кругу избранных. В этот момент на другом конце лужайки и появилась Джоан.

Я совершенно не ожидал, что она объявится здесь. Точнее, она явно не ожидала, что застанет меня на этом сборище, и ее удивление при виде меня передалось мне как ощущение моей собственной неуместности. Меня здесь не предполагалось с ее точки зрения, которая тут же стала моей точкой зрения на себя самого. Так происходило с самого начала нашего знакомства. Она была моей первой истинной лондонкой в том смысле, что входила в те круги, где не бывает людей вроде меня: русского еврея, попавшего в Лондон из Москвы через Иерусалим. Перевирая Граучо Маркса, я не мог не относиться без тайного трепета к кругам, где меня не принимали за своего. Если меня там не принимают за своего, значит там что-то есть (а именно то, за что меня туда не принимали). Короче: лучше там, где нас нет. Значит ли это, что хуже всего там, где мы есть?

С нее следует отсчитывать тот период моей лондонской жизни, когда я вообразил, что уже принадлежу иной жизни, что я уже не чужак-уродец, не мальчик с улицы, вжавшийся носом в стекло чужого окна, где идет праздник. Чужак — всегда по ту сторону стекла: глядит снаружи, расплющив нос; поэтому чужак всегда — уродец-монстр. Мне мерещилось в те дни, что я оторвался от российского прошлого,

не найдя еще, правда, словаря для нового быта моей души. Мне казалось, что я, по крайней мере, уже перестал переводить новую для себя жизнь на прежний язык. Перестал переводить, следовательно, перестал эту жизнь в уме пародировать. Мне казалось, что я мыслю на английском, но продолжаю изъясняться (как сейчас) на русском. Но не иллюзия ли подобное раздвоение — на мысль и слово? Возможно ли изъясняться на «английском» русском? Не испаряются ли все английские открытия, как симпатические чернила, в тот момент, как только перестал говорить на английском? Возможно ли перевести на родной язык то, что завораживает именно потому, что кажется непереводаемым на иной язык? Может ли стать родным — не свое? Как можно принять чуждость, если чуждость и есть то, что невозможно принять?

Джоан продвигалась по дальнему краю лужайки, различимая за три версты демонстративной нелепостью своих одеяний. Зонтик был, пожалуй, единственной деталью, украденной из классического антуража дамы на крикетном матче. Однако зонтик этот был черный. Не был ли этот зонтик обыкновенным дождевым зонтиком? То есть, наверное, шикарный зонтик, с костяной ручкой, шелковый и ажурный, но все же — дождевой и, главное, черный. Она вообще была во всем черном — как и полагалось в те годы среди тех, кто был в узком кругу тех, кто не считал того, кто не принадлежит к их узкому кругу, за истинного лондонца вообще. Черная юбка волочилась по траве, как бальное платье с треном, но черный пиджак был мужского покроя, с подбитыми плечами, нараспашку. Если добавить ко всему этому шляпку-котелок тридцатых годов с рыжей челкой на лоб, впечатление создавалось незабываемое. Довольно чудаковатое, нужно сказать. Она, как всегда, была выражена настолько не так, как полагается, что можно было подумать: именно так сейчас и полагается одеваться. В тот период у меня на этот счет не было никаких сомнений — она была образцом

английского совершенства и безупречности. The way she wears her hat, the way she sips her tea, the memory of all that...

Сейчас, когда я вспоминаю, с какой вызывающей эксцентричностью она продефилировала через всю лужайку в своем нелепом наряде, у меня закрадывается сомнение: а не выглядела ли она в глазах всей остальной публики как попавшая не по адресу, слегка трекнутая побродяжка? Не было ли то, что я воспринимал как шик и чудачество, просто-напросто легкой задвинутостью? Такое впечатление, что она подцепляла свои одеяния из кучи тряпья на мусорной свалке. С принципиальной неразборчивостью тут соединились старинные кружева и джинсы, бальный фрак и тишортка, котелок из кабаре и высокие ботинки викторианской гимназистки на шнурках. На фоне белоснежных крикетных регалий она в своих черных одеяниях смотрелась зимней мухой на простыне. Она продвигалась навстречу нам, сидящим в креслах, не по краю лужайки, а довольно нагло и бесцеремонно срезая угол крикетного поля, и я чувствовал, как начинают нервничать игроки и зрители. На нее того и гляди мог налететь игрок, перехватывающий мяч, или же мяч мог вот-вот врезаться ей прямо в шляпку или еще в какое-нибудь чувствительное место. Игра практически остановилась. Она умудрилась и тут стать центром внимания.

Я привстал с кресла и помахал приветственно рукой. Все на меня оглянулись. Даже со своего дальнего конца площадки мне было видно, как изменилось ее лицо. Глаза, за мгновение до этого с полным безразличием скользкие по лицам, блуждая где-то на уровне горизонта, остановились, расширились и в панике попытались выпрыгнуть из глазниц куда подальше, обратно за ворота крикетного поля. Но было поздно: на нас уже все смотрели. «Zinik, darling, откуда? какими судьбами? здесь? не ожидала!» Конечно, не ожидала. Еще утром я пробовал пригласить ее на крикет, но она даже не поинтересовалась, кто с кем играет, против кого.

Она спросонья пробормотала что-то насчет того, что у нее днем важное деловое свидание и что она в смысле спорта вообще не того как-то в общем. Звучало подозрительно при ее демонстративной англофилии. Я думаю, ей просто в голову не могло прийти, что я собираюсь именно на этот крикетный матч, который толком и крикетным матчем не назовешь — скорее, светским мероприятием лондонского масштаба, куда таким, как я, вообще говоря, и ходу нет. Так она полагала.

Джоан с первого же момента нашего знакомства держала меня за конфиденнта экзотического происхождения. Эксклюзивного. Я был ее русским для личного, исключительного и безраздельного пользования. «My Russian», говорила она, упоминая меня на светских сборищах. «My Russian, you know, мой русский Зиник из Москвы». Как будто я был ее дрессированным медведем, вывезенным из Сибири. Пуделем из Англицкого клуба. Как будто я никогда лондонцем и не был. Всем нам нужно чужое экзотическое прошлое, чтобы оттенить уникальность своего заурядного настоящего. Каждому нужен взгляд со стороны на самого себя. Я был ее «взглядом со стороны». Кроме всех прочих достоинств, мое российское происхождение гарантировало полную конфиденциальность ее припадков исповедальности: ей было совершенно очевидно, что эмигрантские маршруты моих разговоров не пересекаются с ее лондонскими. Она держала меня в запортом будуаре своей исповедальности. Вдруг дверь будуара распахнулась, и мы оба оказались перед крикетной публикой в полном неглиже. В различных, правда, позах.

Мое сближение с Джоан совпало с моим разрывом с Сильвой. Собственно говоря, Сильва нас и свела, когда пригласила Джоан на свою новогоднюю пьянку. Джоан возникла на ее горизонте в связи с шотландской теткой Сильвы. Джоан, как оказалось, снимала у некой мадам МакЛермонт дом прошлым летом в шотландском Аргайле, и та, есте-

ственно, наговорила ей с три короба про свою экстравагантную русскую родственницу. Сильва была ей седьмая вода на киселе, что-то вроде внучатой племянницы, но с помощью большого количества виски шотландская тетка в свое время поверила в нерушимую связь клана МакЛермонт и русских Лермонтовых (через предков из шотландских католиков, бежавших в Россию), что обеспечило Сильве британский паспорт и избавило ее от опереточного сочетания имени и фамилии. Поскольку в наше время каждый приличный человек должен иметь в своем кругу хотя бы одного русского, Джоан, возвратившись в Лондон, тут же позвонила Сильве под предлогом тетушкиных приветов и напросилась в гости. Обе они тут же стали уверять друг друга чуть ли не в сестринской любви. Но после этой новогодней пьянки ни разу не виделись: Лондон, скорее, разлучает близкие темпераменты — тут каждый ищет свое отличие от другого.

В тот вечер Сильва обхаживала чуть ли не как ближайшего друга полузабытого полужнакомого московских лет, бывшего диссидента и человека исторического момента. В связи с развалом советской империи Лондон был наводнен инакомыслящими, прошедшими в свое время советские лагеря и психбольницы; как будто у нас самих не хватает тут бывших уголовников и сумасшедших, ночующих под мостами и в подворотнях, поскольку у государства нет денег ни на тюрьмы, ни на психбольницы. Как только железный занавес приоткрылся, Сильва со своим британским паспортом зачастила в Москву, замечая за собой на обратном пути в Лондон, как мусор шлейфом бального платья эмиграции, самое несусветное отребье нынешней революционной интеллигенции. В ее лихорадочных налетах в Москву, в той одержимости, с какой она включалась в жизнь каждого советского человека, возникающего на ее горизонте в Лондоне, — во всем этом ажиотаже была неразборчивость изголовавшегося по общению одиночки на чужбине. Я же разы-

грывал из себя одиночку добровольного призыва, углублявшегося сознательно и по собственной воле в джунгли эмиграции и всяческой вообще иностранщины. Я, единственный для нее близкий человек здесь, вдруг перестал для нее существовать. Она стремилась влиться в избранное большинство — революционную толпу очнувшихся от советской власти россиян; я же искал избранное меньшинство, усугубляя свою британскую островную отделенность снобистски-узким кругом людей привилегированного класса, вроде Джоан.

Я оказался между ней и Джоан, когда мы устроились на ковре, распивая вино, и, помню, на вопрос Джоан, почему бы и мне не съездить в Москву, брякнул: «Все равно что возвращаться к разведенной жене», — следя при этом глазами за Сильвой, расположившейся рядом на подушках, по соседству с московским диссидентом на побывке. Я помню блуждающую на ее губах улыбку, улыбку победителя, школьника-отличника, скрывающего от соседа по парте разгадку арифметической задачи; блеск ее глаза, глаза хищника, уверенного, что жертва у нее в когтях, и звонкие агрессивные нотки в голосе, оповещающие, что приближаться опасно, могут и горло перегрызть. Как они быстро спелись с тем московским оборотом. Они были вместе и заодно, они в этой комнате были москвичами, а все остальные — олухами-иностранцами. Перехватив какие-то мои рассуждения про советское мышление, Сильва то и дело вскрикивала: «Что? Что за чушь! В Москве уже давно не...» И дальше следовало снисходительно-наставительное разъяснение для олухов-иностранцев — что, почему и как это делается в Москве. Весь вечер звучали рефреном эти ее «ничего ты не помнишь» или «там все уже давно не так».

При этом она еще успевала то и дело подливать вина своему новоявленному соотечественнику, всякий раз приподымаясь с ковра и перешагивая через меня, чтобы дотянуться до бутылки. Это была наглая провокация: юбка ее задра-

лась, и перед глазами мелькнул ее темный холмик, выбивающийся из-под трусиков. «Я забыл, как у тебя курчаво между ног», — сказал я, давая понять ее обожаемому ново-прибывшему, в каких я с ней отношениях. «Я же говорю: ты окончательно англазировался и все забыл», — сказала она. «А ноги у тебя все такие же курчавые?» — приставал я, нагло потянувшись к ее колготкам. Во-первых, мне важно было публично объявить о ее волосатых ногах, чтобы унижить ее в присутствии ее хахалы и поставить тем самым на место и ее и его. Во-вторых, проверить, а не побрила ли она ноги? Если побрила, значит, этот московский хмырь успел с ней переспать. Сильва брила ноги всякий раз, когда заводила себе нового любовника. Она покраснела — то ли от обиды и от бешенства, а может быть, угадав мою мысль. «Не курчавее твоей волосатой груди», — сказала она, закусив губу. «Может, сравним?» — сказал я, развязывая галстук. Она, не сводя с меня глаз, стала стягивать с себя колготки.

«Среди вас, русских, лишком много претендентов на первородство», — сказала в тот раз Джоан, глядя на этот стриптиз волосатых. Я сразу оценил эту фразу. Я был единственным, кто понял, что она намекает на Иакова, выдавшего себя за волосатого Исава. Никто поэтому, кроме нее, не понял и моей ответной реплики: «Я предпочитаю безродный космополитизм советской избранности». Мы переглянулись с Джоан понимающе. В этот момент Джоан поднялась, потому что приехало такси, и я воспользовался поводом ретироваться. С того прогона в такси через весь город и началось наше общение с Джоан. Я пытался объяснить ей свое отношение к Сильве. Что такое сплетня как не свидетельство человеческой скромности: человек стесняется говорить про себя и поэтому сплетничает про других. Если эта сплетня интригует собеседника, с его стороны — это проявление великодушия, сочувствия, готовности к сопереживанию, готовности принять чужую тему, сплет-

ню про полужнакомого человека как нечто, с чем можно отождествиться, сопереживая рассказчику, сплетнику. Собственно, когда герой сплетни едва известен слушателю, это уже не сплетня, а литература. Это как облатка, подменяющая тело Господне. «Transubstantiation», уточняла она, и наш разговор уходил в шарлатанскую метафизику подтекста, где моя советская власть и ее католицизм мешались во едино.

Одного, я по крайней мере, добился своей выходкой под Новый год. На следующий день Сильва устроила мне скандал по телефону — за то, что я ей устроил скандал на людях, ушел не попрощавшись, беспардонно хлопнув дверью, и вообще. Я сказал, что я дверью не хлопал. Последний раз я хлопнул дверью, уходя из России, и все равно моего ухода никто не заметил. «Мне просто противно было глядеть на твои любовные шашни с несостоявшимся российским прошлым», — сказал я, витиевато намекая на ее обожаемого московского визитера. «А мне, ты думаешь, не противно было глядеть на твои шашни с фиктивным английским настоящим в виде этой фальшивой мымры Джоан?» — сказала она, не прибегая к витиеватым эвфемизмам. «Задело-таки?» — злорадно подумал я. «Несостоявшееся прошлое, фиктивное настоящее — это все твои фальшивые новые идеи, ты заметил? — продолжала она. — Твои фикции. Ты придумываешь мысли и мотивировки совершенно на самом деле нереальным, несуществующим словам и событиям. У тебя не слова расходятся с делом, а мысли со словами». Поразительно, как можно манипулировать такого рода категориями в подобных диалогах: что ни скажешь — все правда. «Короче, у тебя комплекс Отелло. Твоя ревность питается твоими собственными досужими вымыслами. Да, меня тянет к лицам из моего прошлого, к прежним лицам, — призналась она совершенно невозмутимо. — Его лицо не изменилось, и мне было приятно. То есть, наверное, он тоже изменился, но я его не видела десять лет и уже забыла, как

он выглядит, с кем и когда он мне изменял. А ты постоянно торчишь у меня перед носом, и все твои измены до сих пор у меня перед глазами. Но главная измена в том, что ты сам изменился». Это она изменилась, но не хочет этого признать. Изменившись, чувствует вину по отношению к тем, кто остался тем же — самим собой. Поэтому обвиняет их в переменах и изменах. «Ты изменился, — настаивал в трубке ее голос, — ты лишился внутренней трагедии и стал просто обидчивым. Ты у меня на глазах из Отелло перерождешься в Яго». — «В таком случае тебе крупно повезло: тебя задушу не я, а кто-то другой».

«Сильва у нас — как советская власть: у нее незаменимых нет», — говорил я Джоан, излагая духовную биографию Сильвы как яркий пример хамелеонства и интеллигентского конформизма, воспринимавшегося со стороны как инакомыслие. Она стала диссиденткой, когда московская элита диссидентствовала, она крестилась, когда православие стало интеллигентским шиком, она уехала, когда разочарованная элита обратила свое лицо к Западу, а сейчас со страшной силой стала перестраиваться в обратном направлении — в сторону России. Она, бросаясь в объятия Москвы, отталкивала меня от себя. Москва в ее лице снова выталкивала меня за рубеж, к Джоан. На ходу она перестраивала свою духовную биографию. В Москве мы крутились в одной компании. Причины и сроки нашей эмиграции были, в сущности, одинаковы; она возвращалась, однако, из каждого московского заезда со слегка подновленным прошлым в чемодане. Интересные идеи она стала выдавать на публику. Получалось, что, в отличие от меня, у нее были разногласия лишь с политическим режимом, а не со страной как таковой, и поэтому в связи с либерализацией режима она без особых предубеждений относится, в принципе, к идее возвращения в Москву. Она вообще, получалось, уехала не по собственной воле: ее если не выдворили, то уж во всяком случае выжили с любимой родины. Я же, укативший за гра-

ницу по собственной вздорной воле, не мог позволить себе возвращения без признания собственного морального банкротства. Она, таким образом, получалась исконно русской патриоткой, я же выходил безродным космополитом. И, главное, все эти революционные трансформации и душевные откровения возникали, как это всегда бывало у Сильвы, необычайно вовремя: именно тогда, когда Россия стала в Англии такой модной страной.

Я рассуждал о Сильве с такой одержимостью и фанатизмом, что наэлектризовывал атмосферу вокруг себя, намагничивая ее так, что Джоан в тот вечер придвигалась ко мне все ближе и ближе. Возможно, я на самом деле защищался излишней разговорчивостью от ее агрессивных расспросов, выясняющих почти в открытую мое московское прошлое и лондонскую репутацию. Но этот светский допрос и скрытая в нем бессознательная подозрительность ложно воспринимались мной как попытка сближения, чуть ли не как влюбленность — если не любовь — с первого взгляда. Кроме того, в самом пьяном идиотизме нашего первого интимного разговора было некое ощущение душевного риска, тот адреналин откровенности перед незнакомцем, что легко путается с взаимной очарованностью. Взаимность была в обоюдном ощущении отверженности.

Главным сюжетом ее исповедальных монологов была неразделенная любовь. То есть с его стороны любовь как раз и разделялась: на семью и страсть. И страсть, как я понимаю, воплощалась в Джоан, а все остальное — в безумной жене, вздорных избалованных детях, огромном доме под закладную в далеком и шикарном пригороде Лондона, что, естественно, крайне усложняло географию любовной интриги. Поразительно, с каким упорством англичанин полжизни тратит на то, чтобы ни от кого не зависеть и жить в отдалении от вульгарной толпы, опостылевших друзей и надоедливых родственников; чтобы вторую половину жизни сходить с ума от одиночества и клаустрофобии семейно-

го быта. Имя ее рокового любовника не называлось по соображениям семейной безопасности, что было несколько абсурдно, поскольку его супруга, как я понял, была прекрасно осведомлена о его перипетиях с Джоан. Такое впечатление, что и супруга, и Джоан — обе пытались оградить обожаемое верховное существо «от светских пересудов», эти пересуды всеми возможными способами при этом подогревая. Вот уже год происходил некий фатальный пересмотр отношений в их треугольнике — загадочный, по-моему, и для самой Джоан.

Незадолго перед крикетной встречей я присутствовал при ее очередном «экстренном» телефонном совещании с законной супругой, когда Джоан, бледнея на глазах и кусая губы, повторяла, вжимаясь в трубку, одно слово: «Катастрофа. Катастрофа». А потом, плюхнувшись в кресло, после долгой паузы (которую я не знал, как нарушить, а она нарушать не желала — в несколько бессмысленном выжидании моих нетерпеливых расспросов), раскрыла мне, наконец, суть телефонного звонка: «Между нами возник третий лишний», — сообщила ей, как оказалось, сама супруга обожаемого существа, вроде вестника, предупреждающего союзника о появлении вражеских войск на дальних рубежах. Речь шла, как я понял, о появлении на горизонте у обожаемого существа еще одной любовницы. Эту «катастрофу» и загадочность личности «третьего лишнего» в этой мыльной опере я и воспринял как истинную причину ее отказа присоединиться ко мне на крикетном матче.

Чем запутанней в ее исповедальных монологах становилась паутина препятствий, мешавшая любовникам превратиться в животное о двух спинах, тем настойчивей становились мои поползновения подменить под простыней героя ее треволнений. Мелодраматическая достоевщина нагромождалась с каждой нашей встречей: угроза самоубийства жены перемежалась остракизмом детей; он географически уходил от Джоан, чтобы быть ближе к ней духовно; он по-

являлся у Джоан, чтобы вновь ощутить жалость к несчастным, убогим и некрасивым (имелась в виду супруга — окольный комплимент Джоан). Он намеренно оскорблял Джоан, чтобы вызвать в ней чувство ненависти к себе и тем самым раскрепостить и освободить ее от себя. Но как только окончательный разрыв казался неминуемым, он вновь возникал на ее горизонте, чтобы заново разбередить «незаживающую рану секса», как она выражалась. При этом она быстрым движением дотягивалась до моей руки и на мгновение сжимала мою ладонь в своих длинных пальцах — в некоем проникновенном масонском рукопожатии: как бы в жесте признательности за интим наших разговоров, за душевную щедрость, способность понять и простить ее любовную интригу, как будто не он, а я был ее любовником, которому она изменяла с ним. У нее вообще была такая привычка: по-сестрински, по-родственному коснуться как бы невзначай локтя или колена или взять в руки твой указательный палец и весь разговор крутить его, как пуговицу. Она не отталкивала от себя с безоговорочной окончательностью, но выскальзывала, уклоняясь от каждой моей попытки перейти от касания к соприкосновению. «Не-а, — говорила она, в последний момент выпутываясь из моих рук, — начинается с поцелуев, а кончается чем?» И она употребляла свое лично-жаргонное словечко на этот случай: *insertion*. То есть: вложение. Или еще лучше: вставка. Она против неожиданных вставок в привычный текст нашего интима.

Эти фальшивые жесты задушевной интимности, дружеской близости и сестринской доверчивости доводили меня до умопомрачения. У нее были замашки гимназистки-динамистки. Однажды, под всю ту же тягомотину о запутанности отношений с обожаемым существом, она стала переодеваться, собираясь в очередные гости на светское сборище, party (куда ей в голову не приходило взять и меня за компанию: там была другая зона интима, другой клуб, с иными

конфидентами). Она все еще делала вид, что я ее бескорыстный поклонник, добрый друг и верный рыцарь, и не более того, чуть ли не родственник. Вытащив из шкафа очередное платье, она раздевалась, чтобы примерить его у меня прямо на глазах. Расстегнув лифчик, повернулась ради формального приличия ко мне спиной. Стояла она, однако, перед зеркалом в дверце шкафа, распахнутой в мою сторону. Раздеваясь и натягивая на себя платье, она продолжала свое вдохновенное чириканье про амурные перипетии с женатым монстром, глядя мне прямо в глаза сквозь зеркало. Значит, она знала, что я вижу ее тело в зеркале. Пока мои уста отзывались усложненным эхом на ее метания в опереточном либретто (отбила мужа у глупой жены), мои глаза не могли оторваться от ее игрушечного бюста, расходящегося в смелость ее щедрых бедер. Созерцая этот наивный стриптиз, я должен был делать вид, что в зеркальном отражении вижу лишь ее губы и глаза. Но она снова и снова призывала без обвиняков оценить очередной вариант своего вечернего одеяния, еле прикрывавшего в этот момент ее голизу и путающегося в нашем абсурдистском обмене репликами с очередным иезуитским ходом ее неутомимого в изощренности любовника, уклонявшегося от амурной повинности ссылками на фатальные семейные обстоятельства.

«Семейная жизнь — как советская власть: в своей фатальной неизменности приучает к тому, что слова важнее поступков, — выдавал я, отводя глаза от зеркала, очередной изощренный комментарий к беспросветной путанице ее банальной любовной интрижки. — Боясь претворить слово в дело, она имеет в виду одно, а подразумевает другое, — продолжал я, уставившись в восхитительный изгиб спины, переходящий в ложбинку ягодиц, виднеющихся из-под трусиков. — Сталин, между прочим, считал, что не существует мыслей без слов, и поэтому каждое намерение словесно формулируется. Великому лингвисту всех времен и народов важно было доказать, что антисоветские мысли есть автоматически антисоветская пропаганда». Я наводил

словесный туман, чтобы скрыть похотливый блеск в глазах, и подсовывал ей как подачку задушевную концепцию российской двойственности и двоемыслия, прикрывая этой концепцией пресловутое до зевотной скуки английское лицемерие ее банального адюльтера. Ей это льстило: заурядная афера с женатым мужчиной превращалась в метафизику раздвоенного сознания. Мне же льстило сознание того, что через интимничанье с ней я приобщаюсь, пускай заочно, к тому избранному меньшинству из тех, кого и следовало считать истинными англичанами.

Это была небольшая клика снобов, воображающих, что они живут в эдвардианской эпохе — до всяческих распадов империи, иммиграции пакистанцев, феминизма и запретов на курение в общественных местах. Они толпились одной кодлой в двух-трех частных клубах и пабах Сохо, и к ним было не подступиться. Они здоровались со мной сквозь зубы, скорее кивком головы, чем взглядом — только потому, что пару раз при мне, под экзальтированное «дарлинг», Джоан перечмокалась чуть ли не с каждым из них, взмахом руки представляя меня: «My Russian confident, Zinik, you know... from Moscow». Опять Зиник из Москвы. Последний раз я был в Москве лет пятнадцать назад. Я стоял поодаль и завидовал фонетике их английского — отчетливой и скользкой, не разжимая рта, запутанной скороговорке.

Я порой дурно говорю по-английски не потому, что я плохо знаю этот язык, а потому, что не могу до конца представить себя англичанином, говорящим по-английски. Как не могу, скажем, переспать с женщиной, пока не представлю себе до конца, что я уже с ней переспал. Сама же попытка вообразить этот акт — ментальный онанизм. Язык — это оральный секс. То есть с языком, как с любовницей: или ты с ней спишь, или она не любовница. С женой же можно сохранять близость, не общаясь с ней постельно. С английским языком у меня в тот период были супружеские отношения. Это было непривычно. До приезда в Англию я не пред-

ставлял себе разницу между супругой и любовницей, когда речь идет о близости. Дразнящая недоступность Джоан явно ощущалась и лингвистически в нашем общении, лишенном тех самых незначущих невнятных и полубесмысленных разговорных полухмыков, что и отделяет родной язык от идеально выученного, старых знакомых от близких друзей, друзей — от любовников. Всего этого не понимая, я изгибался в словесном нагромождении, усложняя мысль, надеясь, что через эту сложность и заумь я проберусь извилистым путем к ее дрожащей, горячей и влажной сути, ее «незаживающей ране», к ее беззащитности под сухой дубленой кожей сорокалетней светскости. В бесконечном выматывающем разговоре я пил все больше и больше от нервозности (она приучила меня пить виски, разводя, по-английски, водой), и каждую нашу встречу мы усиживали чуть ли не литровую бутылку «Famous Grouse». Моя рука блуждала от плеча к ее коленям, но когда нужно было преодолеть еще одну решающую ступень интимности в позе и позиции, она выдавала свою классическую фразу про «вставки» и выставляла меня аккуратно за дверь. Я уходил под утро измотанный и оглохший от собственных слов, с гудящей головой и тоскливой пустотой в сердце, ощущая свое тройное предательство: по отношению и к собственным мыслям, и словам, и поступкам.

2

По ее уклончивому взгляду я чувствовал, что мое присутствие на крикетном сборище было чем-то вроде той самой «вставки». Я был из другого текста. Из другого теста. Она закрутилась на месте, подхватив меня под руку, и стала разбрасывать свое стилизованное «darling» направо и налево без разбора, представляя меня с плохо скрытой нервозностью своим знакомым, всякий раз с паническим удивлением обнаруживая, что меня здесь так или иначе знает (как автора) почти каждый, и в светских рекомендациях я не ну-

ждуясь. Как будто пытаюсь скрыться за кулисы после провального эстрадного номера, она потянула меня в бар под тентом на задах лужайки за зрительскими креслами. Впрочем, дело было, конечно же, не только в замешательстве при виде меня: если судить по ее бегающему взгляду и безостановочному кружению на месте, она явно кого-то разыскивала. Нетрудно было догадаться — кого.

«Darling» рванулась она к незнакомой мне персоне у барной стойки. При всей аффектации этого приветствия в голосе ее была преувеличенная небрежность, чуть ли не ирония, однако при этом пальцы ее вцепились мертвой хваткой, судорогой утопающего в мою ладонь. Именно так я его себе и представлял. Разве что при его детях и с безумной супругой он мог бы выглядеть и постарше. Впрочем, при всей молоджавости и спортивной отточенности его черт легкая алкогольная одутловатость и мешки под глазами, при ранней седине, придавали расплывчатость его возрастному статусу, но отнюдь не его классовому ранжиру в этом маленьком мирке. Он был почти пародийным воплощением всего того, что мне казалось легендарно-английским — со слов Джоан: эти седоватые виски и портвейные колера в сеточке кровеносных сосудов на щеках, подсвеченных пестротой галстука, — вся его внешность была как будто специально подобрана в рифму к его летней полосатой тройке с зеленой уайльдовской гвоздикой в петлице, а не наоборот — костюм к его лицу. Внешность тут была важнее самого человека, слова важнее мыслей. Я предугадывал неподражаемую скороговорку, оскорбительную в своей непонятности постороннему. Но на этой территории я не считал себя посторонним и разглядывал его с любопытством.

«Pimm's?» — обратился он к Джоан, демонстративно не обращая на меня никакого внимания и одновременно скопив на меня глаз так, что в слове «pimm's» мне послышалось «pimp's»: сутенер. Он, видимо, сразу зачислил меня в

катеорию светских прихлебателей Джоан. Развернувшись ко мне спиной, он, когда протягивал ей наполненный до краев бокал, слегка качнулся и чуть не выплеснул напиток мне на рукав. Он был, судя по всему, изрядно нетрезв. Джоан попыталась замять бестактность, подталкивая меня вперед, как маленького ребенка:

«Zinik, my Russian, you know», — начала она опостылевшую мне чечетку, представляя меня. Его звали Рикетсом. Я тут же взбесился.

«Я уже давно не русский», — пробормотал я с ребячливой раздражительностью, как на мамашу, расхваливающую перед гостями таланты своего малолетнего выкормыша. Этот взрослый меня игнорировал. Он лишь изогнул бровь и, потянувшись через стойку за своим виски с водой, отеснил меня локтем. Famous Grouse, естественно. Мне ничего не оставалось, как заказать самому Pimm's. — «С огурцом», — громко уточнил я заказ, дав ему понять, что я тоже разбираюсь, что с чем пьют в Англии. Но огурцы, как выяснилось, кончились. «Тогда апельсин», — сказал я, а потом заволновался: огурцы огурцами, но полагается ли класть в Pimm's апельсин? Следя за официантом, ловко разрезающим апельсин на разные секторы-дольки, я отметил про себя, что апельсин, судя по рекламной яффской наклейке, был израильский. «У меня британский паспорт. Я давал присягу королеве». Я все еще пытался объяснить и завязать разговор с этим ее обожаемым монстром — исключительно ради Джоан: она явно нуждалась то ли в посреднике, то ли в свидетеле — в третьем лишнем — для продолжения разговора с ним.

«Почему у тебя все любовники — врунишки?» — процедил этот роковой мужчина, как будто не слыша моих слов или оспаривая искренность моей королевской присяги.

«Он не мой любовник», — сказала Джоан.

«Но он — врунишка». Они уже переругивались между собой, как будто меня не существовало. Рикетс качнулся на каблуках и, не поворачивая головы, как будто у него прост-

рел или перелом шейных позвонков, развернулся всем туловищем в мою сторону. «Кто вы такой? Откуда? Зачем? К чему вы здесь?!» Он вдруг затрясся от гнева и пятна проступили на его портвейных щечках. Он был намного выше меня, и толстый узел пестрого галстука перед моими глазами подпирал его как будто задравшийся подбородок, усиливая высокомерную гримасу. «К чему вам крикет? Вы иностранец, что вы здесь делаете? Нелепая английская игра. Не игра — пытка. Нас наказывали за непосещение. Пропустил крикетный матч — тростью тебя, розгами по заду, по голому заду, слышали? Крикет! Зачем вам — крикет? Ничего не понимаю? Кто вас сюда привел?»

«Тебе прекрасно известно, кто его сюда привел», — вмешалась Джоан.

«Наш Артур отличается редкостной склонностью к вшивым интеллектуалам сомнительных политических убеждений из занюханых стран. Его патологическая одержимость этнической экзотикой, не так ли? Или же это чувство вины имперского человека перед бывшими колониями и малыми народами?»

«Это русские — малый народ? Россия — бывшая колония? Чья бывшая колония? Что ты несешь? Пошли отсюда!» — потянула его за рукав Джоан.

«Он — из России? Причем тут Россия? Мы все всё про вас теперь знаем, — обращался он уже ко мне, игнорируя Джоан. — Я читал ваши опусы про железный занавес и так далее. Прячась за этим дырявым занавесом, вы, дорогуша, могли выдавать себя перед нами за кого угодно. Русского. Татарина. Но железный занавес рухнул. Вы, дорогуша, разоблачены. Весь ваш шарлатанский маскарад!» Его резкий истеричный баритон притягивал взгляды со всех сторон. Я вдруг ощутил, как раскалился воздух под парусиной тента. Ослепительное солнце просачивалось сквозь парусину, как будто раскаляя зловещую алхимию разноцветных жидкостей в бутылках бара, бросавших, в свою очередь, блестящие отблески на его лоснящееся лицо. Его влажные

губы подрагивали, как у лошади, отмахивающейся хвостом от мух. «Ты его, Джони, держишь за русского, — обратился он к Джоан с кривой улыбкой, называя ее по-братски уменьшительно-мужским Джони. — Но он, Джони, врунишка. Он никакой не русский. И не британец. Потому что он, Джони, еврей. Вы ведь еврей?» — повторял Рикетс с еле заметной улыбкой, и слово «еврей» вылезло из его искривленного рта, как толстый и скользкий червяк. Я заметил, что вокруг нас образовалась некая мертвая зона: толпившиеся рядом у стойки джентльмены стали осторожно разбредаться по дальним углам. «Никакой вы не русский, дорогуша, со своими еврейскими идеями, и никакой вы не британец со своими российскими замашками. Кого вы представляете? Вы никого не представляете!»

«У меня еще израильский паспорт есть, — стал заходить я в шутовской саморекламе. Я, как дурак, надеялся свести этот оскорбительный и нелепый диалог к пьяной, пускай дурной, но все же шутке. — Я не только российский еврей. Я еще британский израильтянин. Переиначивая Набокова, Посейдона всех волн российской эмиграции, могу утверждать, что мой ум изъясняется по-русски, мое сердце — по-английски, а моя душа — по-еврейски».

«Голова, сердце... печенка. На каком языке изъясняется ваша печенка? Или гениталии? Чем вы, интересно, ломаете кости палестинским подросткам на территориях, оккупированных вашей обрезанной душой, присягнувшей царю Давиду?» Он снова вытер ладонью бедро у колена: так боулер то и дело трет о штанину крикетный мяч, перед тем как разбежаться и запустить его в противника.

«Я не живу на оккупированных территориях. И никому кости не ломал. По крайней мере до этого момента». Я отводил взгляд, чтобы не выдать собственного страха и ненависти, сосредоточившись на дольке израильского апельсина, которую я пытался вытащить пальцем из английского компота в узком стакане. «А вы где живете?» У меня дрожали руки. Долька не вынималась.

«Я живу на конечной остановке. Дальше ехать некуда. И эмигрировать тоже. Некуда. Везде еврейские интеллектуалы вроде вас. Не люблю еврейских интеллектуалов». Он резко развернулся, слегка двинув меня плечом, и профланировал к выходу, утаскивая за собой Джоан. В этот момент долька апельсина в стакане выскользнула из моих пальцев и плюхнулась под ноги на ковер. Я тут же наклонился, подбирая ее с пола, в смущении за свою непростительную оплошность, но со стороны можно было подумать, что я на прощанье отдал поклон этому наглецу, скрывшемуся в солнечной дыре выхода. Оттуда, после паузы, как будто с опозданием, раздался разочарованный вздох — то ли batsмен не отбил мяч достаточно далеко, то ли мяч был перехвачен противником в воздухе и не было никаких шансов на пробежку между воротцами. Через мгновение сухое цоканье мяча о лапту возобновилось: как будто открыли бутылку шампанского на празднике, куда нас не пригласили.

На выходе из тента меня встретили жидкие хлопья зрителей. Так позвякивают ложкой в стакане чая или похлопывают лошадь по крупу, разговаривая при этом со своим приятелем. Эти снисходительные, почти вымученные хлопья относились не ко мне, но смысл их был приложим и к моей ситуации: такими аплодисментами награждают выбитого из игры batsмена, и ирония этих аплодисментов заключалась явно в том, что чем хуже он проявил себя на поле, тем громче аплодисменты. Этот не слишком неудачливый неудачник двигался навстречу мне в своих белых одеждах со щитками-наколенниками, похожий на ангела или средневекового рыцаря с битой-лаптой вместо копья. Вся правая сторона его тела была обрызгана комьями грязи; а я думал — там, на лужайке, сплошной шелк травы.

После сумеречной подсветки у стойки бара под тентом от слепящего солнца снаружи мутило мозги. Я, как долго плутовавший за кулисами и случайно вытолкнутый на сцену актер, искал глазами своего напарника по этому светско-

му мероприятию. Артур как раз подымался с кресла, продолжая сморкаться в платок, похожий на вдову на похоронах, пытающуюся сдержать слезы. Но он разрушал собственный печальный образ тем, что, привстав с кресла, суетливо оглядывался по сторонам. Когда мы встретились глазами и я шагнул было к нему навстречу, он с неожиданной беспардонностью отмахнулся от меня рукой, чуть ли не как от надоедливой мухи, и засеменял к воротам крикетного клуба, где Джоан, придерживая на ветру свою шляпку-котелок, тащила под руку своего нетрезвого Рикетса. Их, судя по всему, и пытался нагнать Артур. Неясно зачем. Я польстил себя мыслью о том, что он, вполне возможно, хочет проучить Рикетса за хамские обращение со мной. Его торчащие лопатки под белым чесучевым пиджаком ходили ходуном.

Я плюхнулся в его кресло. Возобновившееся журчание болтовни вокруг не могло заглушить крикетного цоканья оскорбительных реплик у меня в голове. Разбирается, гад, кто еврей, а кто татарин, и кто есть никто. «Кого ты представляешь? Ты никого не представляешь!» Извините. Я может быть, просто перевожу с одного языка на другой, но я делаю это артистически. Я человек искусства. Я никого не представляю, кроме как самого себя. Это первое условие для артиста: быть никем. Свою страну я уже продал. Остается продавать самого себя. Только вот никто не покупает. Одиночество и мастерство. И еще что-то третье, сейчас неважно, согласно Джеймсу Джойсу. Вот именно. Ирландец Джеймс Джойс имеет право справлять поминки по Финнегану среди швейцарских коров, а шотландской полуеврейке католической веры Мюриэл Спарк дозволено намеренно слоняться без дела среди французских пейзажников. Но московский комсомолец Зиник должен сидеть в СССР и не чирикать, чтобы преподать моральный урок гордого терпенья во глубине сибирских руд перед лицом растленного Запада. Россия для таких — зоопарк, где каждому подвигу полагается торчать до скончания дней в своей клетке.

Все еще замутненный бешенством ум перебирал неосуществленные альтернативы скандала. Это надменное ничтожество Рикетс. Я же знал про него все. Я бы мог пырнуть его в поддых унизительными намеками на его жену-истеричку и стервозных дочерей. Или взять и выплеснуть ему стакан с английской окрошкой прямо в лицо и с наслаждением наблюдать, как он пытается стряхнуть платком запутавшуюся в волосах израильскую апельсиновую корку. С какой стати, собственно, оставлять оскорбление неотвеченным? Дуэль! К штыку слова приравнять перо мысли. Как остроумно, хладнокровно и убийственно точно я мог бы ответить этому избалованному негодяю. Когда он сказал, что терпеть не может еврейских интеллектуалов, мне нужно было ответить: «К сожалению, ничем не могу помочь». Он, конечно же, не понял бы, к чему я это сказал, как я вообще в принципе мог бы ему помочь, с какой стати? Тогда бы я выдержал соответствующую паузу и сказал: «Вы не любите евреев? Это ваша личная проблема. Психическое заболевание. Вы больны. Вы страдаете тяжелым психическим недугом. Обратитесь к своему доктору. К психоаналитику. Вам надо лечиться. Я вам ничем не могу помочь». И потом повернуться и элегантно удалиться. Досматривать крикет. Мастерство и одиночество. И крикет. Cricket. Но крикет этот был уже мне не нужен.

Лужайка и белые контуры игроков на плоском зеленом фоне, как из-под ножниц аппликации, разморенные от жары зрители в креслах, — все это гляделось как бы не в фокусе. Все представилось мне в некой временной и пространственной разноголосице и разное повторя: тот, кто бросал мяч, совершал бесконечное круговое движение рукой, защитник ворот с лаптой-битой постоянно выбрасывал ногу, согнутую в колене, вперед, в повторяющемся движении отбивая невидимый мяч в воздухе. Эмпайр, третейский судья в белом халате и белом же картузе, гляделся как санитар психушки, с надменной снисходительностью при-

сматривающий за душевнобольными. С психиатрическим фанатизмом эти маньяки собирались в группки и снова рассыпались, бросались резко в сторону или застывали совершенно неподвижно, чтобы вновь броситься с разбега друг навстречу другу. Иногда, явно предотвращая агрессивные тенденции этих шизофреников на прогулке, эмпайр вдруг делал взмах рукой, предупреждая и угрожая понятной лишь им, душевнобольным, жестикуляцией. Это было загадочное и сложное действие, еще минуту назад казавшееся мне ясным и близким, но сейчас представшее перед моими глазами с клинической отчужденностью миража в пустыне. Только вместо пустынных дюн поблескивал потной чешуей монстра подстриженный бобрлик лужайки. Блаженный в своей неестественной зелени травяной матрас был перед глазами, здесь, на расстоянии протянутой руки, и одновременно недостижимым. Я с таким душевным трудом добрался до этого оазиса в пустыне английской отчужденности. Я уже считал эту крикетную лужайку своей. Это было мое небо, моя лужайка. Это был мой крикет. Я разгадал загадку его красоты, я понял его и потому считал своим. Но мне дали понять, что одного понимания недостаточно. Ощущение понимания и ощущение родственности — не тождественны. Родство не дается осознанием свойскости. Мысли не надиктовываются словами. Ты еще должен принадлежать. Принадлежать нашему клубу. Крикетному клубу. И в этот клуб тебя никто никогда не возьмет. В одно мгновение, за несколько реплик полупьяного диалога, я потерял временно обретенное ощущение новой родины. Я твердо знал, что это ощущение больше никогда не вернется. Что же касается прежней родины, я помнил лишь, что у меня было желание обрести там свое место, но само желание не возвращалось. Это было как мгновенное осознание старости: когда помнишь прекрасное состояние влюбленности, но знаешь, что оно уже больше не повторится — когда еще помнишь, что тебе хочется, чтобы тебе хотелось. Я направился к клубным воротам.

За тяжелой чугунной дверью алой, как пионерский галстук, старой телефонной будки, как будто скрывающей какой-то страшный секрет — то ли от человечества, то ли от самого себя, — я набрал телефонный номер Сильвы. Но лишь услышав ее знакомое хриповатое «але», вспомнил, что я с ней больше не общаюсь, и повесил трубку, закачавшуюся на рычаге, как повешенный. Больше звонить было некому. Из всего разудалого и галдящего Лондона моих бесконечных знакомств у меня не осталось ни одного конфидента, кроме Сильвы. Только с Сильвой я мог бы обговорить ту странную и мгновенную метаморфозу, происшедшую со мной за эти четверть часа. В каком-то смысле только с Сильвой я мог бы по настоящему обсудить, как мне не хватало в этот момент Сильвы, но именно Сильвы рядом не было, и это было с ее стороны страшное предательство. «Сделай что-нибудь, чтобы я перестал тебя ненавидеть, потому что я тебя люблю», — твердил я сквозь зубы самому себе. Меня качало. Огромное количество выпитой крикетной дряни с огурцом и апельсином давало о себе знать — если не в мыслях, то в ногах.

Но я на самом деле прекрасно сознавал, куда несет меня неверной походкой рок событий. В Сохо, в одно из тех заведений, где я могу встретить Джоан. Этот наглец Рикетс увел у меня Джоан — единственную собеседницу, способную обсудить со мной роль Сильвы в моей попытке найти иную экзистенцию — вне Сильвы: с Джоан, скажем. Джоан и Сильва начинали восприниматься мной в некоем диалектическом единстве двойственности. В глазах у меня-таки двоилось. Однако третьему лишнему, вроде зловредного Рикетса, в этом раздвоении места не было, хотя я поймал себя на том, что выискиваю в толпе именно его лицо — в надежде, что рядом с ним окажется Джоан. В этих заведениях вокруг Олд Комптон Стрит взгляд путался, то и дело натываясь на ее двойников, с теми же, что и у нее, густо накрашенными ресницами и выщипанными бровями,

с кровавой помадой губ и мертвенно-белой кожей, оттененной рыжей челкой под зеленой шляпкой-котелком, в черных чулках рыболовной сетки при абсурдистском декадансе кружева и плюша оборок. Эти девицы размножались, как головастики в пруду, от паба к пабу с приближением к Дин Стрит, путая своей манерностью и эклектикой своих одеяний все эпохи, превращая этот кусок Лондона в жужжащую и приплясывающую на месте машину времени: тридцатые годы? пятидесятые? начало века? какого века?

Одна из них, с утра нетрезвая, прицепилась ко мне, когда я добрел до паба под названием «Французский». Это было еще одно пижонское пристанище, демонстративно низкого пошиба, где периодически ошивалась Джоан. До этого я помаячил в клубе литературной богемы «Граучо», куда меня не пускали дальше фойе («Мое достоинство исключает принадлежность к клубу, готовому принять такого типа, как я, в свои члены» — Граучо Маркс); потолкался в «Карете и Лошади» на углу Грик Стрит, где все делают вид, что пьют, но на самом деле ждут шанса поглазеть и подслушать жизнерадостную в своей окончательной пессимистичности алкоголическую философию обитателя сточной канавы из «Спектейтора», Джеффри Бернарда; я даже обнаглел и заглянул в зеленую комнату «Колони», где все делают вид, что разговаривают, а на самом деле толкутся, выжидая, не заявится ли туда сам Фрэнсис Бэкон. Еще утром я воображал себя почти своим среди этих невероятных рож, каких не увидишь ни в каком другом лондонском заведении. Все они были закадычными друзьями Джоан, и опосредованно я ощущал свою принадлежность к этой коллекции человеческих курьезов, этих изломанных жестов и фальшивых интонаций, физиогномических вывихов и алкогольных загибов; я ощущал в них некую аристократическую привилегированность эксцентриков на цирковой арене, и, поскольку сам я был инопланетным монстром, это окружение из воплощенной неестественности и осознанного уродства создавало, по контрасту с внешним миром благопристойности,

ощущение чуть ли не домашнего уюта. Мне мерещилось, что я вот-вот стану одним из них. В тот день мне дали понять, что тут своя паспортная система и в это государство мне путь заказан — можно рассчитывать лишь на краткосрочную туристскую визу.

Завсегдатаи этих мест, смерив меня взглядом, отмечали мое появление еле заметным кивком головы, а когда я называл имя Джоан, выдавливали из себя неопределенно-вежливое «О yes, yes»; или же в ответ раздавалось экзальтированное и претенциозное, как будто мы на светском рауте: «Джоан? Ну конечно, Джоан! Вы приятель Джоан, как же, как же, милейший, из Московии, если не ошибаюсь? Московит? Московит, не так ли? Надолго, дорогуша, к нам на Альбион?» — «Я здесь живу. Уже пятнадцатый год», — рявкнул я в очередной раз, в бешенстве отрывая себя от крашеной дебилки с лиловыми ногтями, вцепившейся в мой пиджак у стойки «Французского» паба.

Мой окрик разрушил послеполуденную замороженность этого места. В этот час полупустое, припорошенное солнечным светом заведение как будто возвращалось в пятидесятые годы — эпоху, когда в последний раз тут делали ремонт. В интерьере не было ничего конкретно примечательного. Для этого стиля, точнее, намеренной бесстильности, у меня не было словаря, потому что этот стиль был личным словарем той группы посетителей, что посещала это заведение в определенную эпоху, и не более. Всякий предмет, застывший во времени и тем самым из машины времени выпавший, теряет свое имя, потому что мы называем, описывая, вещи не именами собственными, а, в отличие от имен человеческих, по каким-то вздорным ассоциациям, аллюзиям и реминисценциям с современной эпохой. Эта комната в пабе, этот душноватый зальчик выпал в настоящее из своей эпохи и гляделся как странный археологический курьез. Мрачноватый, чуть ли не рембрандтовский замес

колеров из темно-зеленого и коричневого в покраске стен нелепо сочетался с фривольными афишками варьете неведомых годов и клоунскими фотографиями знаменитостей из числа клиентов-приятелей хозяина заведения. Это было беспардонное сопоставление несопоставимого, сближение далековатостей в самом дурном ломоносовском смысле; и тем не менее, эта незамысловатая эклектика и придавала обаяние этому месту. Это был не стиль, а запечатленное мышление, образ жизни. Этот образ жизни был не моим, словарем этим я не пользовался. Я никогда не принадлежал ни той эпохе, ни нынешней ностальгии по эпохе ушедшей. Пахло кислым вином, грязным линолеумом и сигарным дымком. Лениво прислонившись к барной стойке, редкие в этот час клиенты заведения гляделись в послеполуденной подсветке как бы в картинной раме, а я, в двух шагах от них, был лишь посетителем музея. Я здесь немел, и мой собственный окрик лишь усугубил мою немоту в этом окружении. И тут из-за столика, зажатого в дальнем углу, кто-то взмахнул в ответ приветственно рукой, как будто вызываясь подтвердить мое право на пребывание на этих островах.

«Не желаете ли присоединиться?» — кивал мне из угла Артур Саймонс, пододвигая свободный стул. Ясно, почему я не сразу узнал его на расстоянии: галстук был приспущен, как национальный флаг во время траура, плечи ссутулились, и мне даже показалось, что на щеках, всегда столь тщательно выбритых, выступила суточная щетина. «Я подозреваю, мы находимся в поисках одних и тех же персонажей», — он поднял на меня глаза, побелевшие, как напиток в узком стакане перед ним. Он добавил, что пытался позвонить до Джоан, но безрезультатно: телефон молчит, как мертвый. Потом, сморкаясь, снова окунул лицо в платок, как будто в плаче, но слезливость сенной лихорадки перешла в некую лихорадочную иссушенность с покрасневшими, как после бессонницы, веками.

«Как закончился крикет?» — спросил он, вертя в руках стакан. Я сказал, что крикета не досмотрел из-за одного наглеца, с которым у меня свой крикетный счет. «Вы не должны, милейший, серьезно относиться к выходкам Рикетса, — сказал он с гримасой усталости, как будто был заранее прекрасно осведомлен о том, что произошло под тентом у барной стойки. — Он был мертвецки пьян. В нормальном состоянии мухи не обидит. Нежнейшая душа, поверьте мне». Его явно интересовало нечто иное. Когда я пересказал хамские выпады этой «нежнейшей души», Артур оживился: «Видите ли, его антисемитские выпады — чисто лингвистическое, поверьте мне, упражнение. Я ему показывал вашу статью про Отто Вайнингера. Он вам же в а с и цитировал. Собственные мысли со стороны, в чужих устах, всегда, милейший, звучат оскорбительно. Он себя считает своего рода Отто Вайнингером. Он ведь у нас католик только во втором поколении: из крещеных немецких евреев. Как всякий скрытый, латентный еврей он не любит собственного прошлого. Впрочем, в одном вы правы: он действительно пытался найти повод, чтобы вас оскорбить. Он выбрал болезненное место, знакомое ему самому».

«Как я понял, у него, в отличие от Вайнингера, география до боли знакомых мест крайне обширна. Он блестяще умеет передать чувство самоотвращения своим родным и близким: свою жену довел чуть ли не до самоубийства, своих детей вот-вот превратит в отцеубийц, если только Джоан не прикончит его перед тем, как оказаться по его милости в психбольнице».

«Стало быть, вот как Джоан излагает мою семейную ситуацию? И все, стало быть, мои семейные передрыги из-за нее?»

«При чем тут ваша семейная ситуация? Я говорю про Рикетса».

«Это у меня, милейший, жена с суицидальным комплексом. И дети. Но Джоан тут ни причем. То есть у нас была когда-то кратковременная интрижка, еще в ту эпоху, когда

я еще старался интересоваться женщинами. — Он посмотрел на меня пристально, как бы проверяя реакцию. — Моя жена до последнего момента была убеждена, что наш любовный треугольник с Джоан нестигаем и нерушим. Я ее не переубеждал. Треугольник был, но в несколько другом составе. — Он помедлил. — Насчет латентности. В своем эссе про Вайнингера вы почему-то решили не упоминать того факта, что он ко всему прочему был еще и латентным гомосексуалистом. Так вот, могу сказать, что Рикетс — не латентный. Отнюдь».

«Вы хотите сказать, что он и был — третий лишний?» Я скривился в глупой и беспомощной улыбке.

«Неужели вы не поняли? Ревновал он вас не к Джоан, — продолжал он после паузы. — Он ревновал вас ко мне. Я видел его лицо, милейший, когда мы с вами беседовали о крикете на лужайке. Он, вы знаете, уже второй месяц в жутком состоянии после смерти нашего общего... друга, — он снова скорбно уткнулся в платок, как будто скрывая лицо от слишком настырных взоров. — Все вокруг мрут как мухи. Это его еврейская жилка срабатывает: соблюдение траура до полного омерзения. В его, конечно, специфическом варианте: ничего не ест, каждый день напивается до полусмерти. Звонит посреди ночи. Оскорбляет совершенно посторонних людей. Вы знаете, как легко быть апокалиптически настроенным: доказательства собственной правоты на каждом шагу. Я обещал ему провести весь день с ним, собирался смыться из клуба сразу после начала крикетного матча. Но он начал пить с утра и безобразничать. Кроме того, моя сенная лихорадка, я хандрю и ворчу. Мы рассорились из-за его мелких пьяных истерик. Она воспользовалась его ревностью, уведя его от меня. Чтобы отомстить мне. Вас она вообще не имела в виду. Она не предполагала, что вы появитесь на крикетном матче».

Лучше бы мне там и не появляться, и не выслушивать все эти сенсационные разоблачения; и главное из них, что я — придурок-иностранец, которым манипулирует каждый кому не лень.

«Что будем пить?» — спросил он, похлопав меня по колену успокаивающе, и поманил пальцем владельца заведения, престарелого шармера по имени Гастон, назвав его с нетрезвой беспардонностью «гарсон»; тот, с пышными кошачьими усами, переходящими в бакенбарды, целовал в этот момент ручку химической блондинке, по виду как будто из Мулен Руж с карикатуры Лотрека проездом случайно в Сохо. «Вы думаете, наш Гастон целует ручку? Он в действительности вытирает об нее свои пушистые усы. Так кошки, между прочим, чистят шкуру. Изображает из себя француза. Он вообще родом не француз. Он — фламандец. Фламандцы знамениты своей скупостью. За двадцать лет нашего знакомства он ни разу в жизни не поставил мне ни рюмки», — и Артур со стуком поставил на стол опустошенный стакан. Я это понял как намек, и спросил, что он будет пить. «То же самое, мой милый. Picard. Он же — пастис, вроде перно, анисовая, короче. Это Джоан, между прочим, приучила меня к этой анисовой дряни. Поразительно, что француз может отказаться от всего на свете, кроме своего любимого напитка и сигарет. Ее вонючий «Галуаз». Ее Picard. Garçon, deux pastis s'il vous plaît. Picard, deux Picards, vous comprenez?» Гастон улыбался в свои усы с идиотической доброжелательностью, явно плохо понимая, что от него хотят. Артур снова перешел на английский. «Его фальшивый французский, — пробормотал он, глядя на удаляющуюся спину с усами, — как псевдоаристократическая скороговорка нашей Джоан. Вы знаете, французы не могут не выпячивать губ, и от этого у нее всегда эдакое детское сюсюканье, когда она переходит на английский».

«Переходит? С какого языка?» — не понял я.

«Как с какого? С родного. С французского милейший. А вы не знали?» Он впервые за весь разговор улыбнулся. И чем дольше я слушал Артура, тем веселее я себя чувствовал: как муж, которому наставили рога, но при этом никто вокруг не догадывается, что он чуть ли не сам нашел жене любовника, потому что искал в действительности повода

для развода. С неким странным облегчением, с каким признают окончательное поражение в опустылевшей борьбе, я слушал суховатую, почти протокольную речь Артура, извещавшего меня о том, что мой идеал англичанки оказался родом из французской провинции, из полупригородов между Амьеном и Парижем, из тех омерзительно добропорядочных городишек, откуда порядочный человек должен бежать, как от советской власти; что она и сделала в 60-е годы, едва окончив школу. Она, собственно, и обольстила своих лондонских снобов, по словам Артура, этой своей французистостью, незаметным для моего «необрезанного» уха сюсюканьем, с оттопыриванием губ, всем тем, что я считал чисто английским шиком. «Джоан. Жанна. Наша Жанна Д'Арк. Эта ее нелепая манера одеваться — под проститутку викторианской эпохи в наивном убеждении, что так одевалась Вирджиния Вульф. Ее мелкая, чисто снобистская ложь, когда она свой привокзальный район Кингс Кросс причисляет к Блумсбери. Так заморочивать голову самой себе и другим способен только иностранец, пытающийся забыть собственное происхождение. Вы знаете, милейший, что она, как и семья Гастона, из французских гугенотов? Бежали в Англию от католиков. Но английские католики бежали во Францию от протестантов. Быть католиком в Англии поэтому более модно — они у нас эдакие диссиденты-инакомыслящие. Поэтому Джоан тут же стала изображать из себя католичку. Знаете, как если бы приехал в Москву англичанин, и стал бы одеваться в еврейский кафтан с ермолкой, носить свиток Торы под мышкой и скрипку в другой руке. Неудивительно, что Рикетс, с его еврейскими предками воображающий себя истинным католиком, считает ее духовной шарлатанкой. Не понимаю, как он позволил ей увести себя с крикета: он ее штучки на дух не выносит. Но взаимное чувство мести, милейший, сильнее обоюдной чуждости, не правда ли?»

С каждым его словом во мне росло чуть ли не родственное чувство к Джоан. Я не был, в конце концов, одиноким монстром этого мира. Я был не один. Я мог бы, если надо, затеряться в толпе себе подобных. Все то, что я воспринимал как ее дразнящую недоступность было, кроме всего прочего, еще и обоюдной чуждостью по отношению к языку нашего общения. «Нежели ваше русское ухо не улавливало этих гортанно-картавых галльских запевов в ее английском? — усмехнулся Артур. — Вы знаете, она путала невинное ругательство *bigger*, связанное, как вы понимаете, милейший, с содомским грехом, и слово «*beggar* — нищий», и была совершенно убеждена, что англичане ненавидят бедных. Герцен, если не ошибаюсь, был убежден в том же. Есть некое сходство, милейший, в бесцеремонном отношении к английской фонетике у вас, русских, и у французов». Я хотел уточнить, что я не русский, но, наученный опытом, промолчал. Мы с Джоан были одного поля ягода. Все мы здесь были подпорченными яблоками в одной тележке. «Эта русско-французская, вы знаете, убежденность, что все англичане — педерасты. Я, милейший, почти уверен, кстати: она вполне серьезно подозревала, что мы с вами любовники. А может быть, ей подсказала эту идею моя супруга. Возможно, в таком случае, что она играла не только на ревности Рикетса ко мне из-за вас, но и на ревности моей к вам из-за Рикетса. Впрочем, это было бы слишком сложным расчетом для ее галльского темперамента, не так ли?» На мгновение мне померещилось, что в этом переспросе было еще и подмигивание: а не соглашусь ли я и впрямь на роль третьего лишнего?

В этот момент в распахнутых дверях в роковой позе театрального героя возник Рикетс. Вид, однако, у него был довольно-таки жалкий и истерзанный. Неясно, где он провел все эти часы, но годами ухоженная седоватость пробора превратилась в панковую клочковатость дикобраза. Галстук съехал на сторону, свисала на нитке оторвавшаяся пуго-

вица расстегнутого ворота рубашки, и я отметил с невольным сожалением, что в петлице отпоровшегося, как будто во время потасовки, лацкана не было пресловутой уайльдовской гвоздики зеленого цвета. С гортанным рыдающим «*darling*» он бросился, опрокинув стул, навстречу Артуру, поймавшему его в свои объятия, как мячик на лету. Я видел, как вздрогнули его лопатки под пиджаком.

«*Welcome to the club*», подмигнул мне Артур, отделившись, наконец, от Рикетса, поднимая свой стакан с разведенным добела пастисом, как флажок перемирия. Бзикнутый Рикетс (он уже не вызывал во мне никаких чувств, кроме жалости), стоявший ко мне спиной, так и не заметил, как я понимаю, моего присутствия. Немногие соседи по пабу тоже подняли свои стаканы, присоединяясь. Присоединялись они, конечно же, к его приветствию — он здесь явно был своим человеком. Но я в тот момент воспринял этот жест как приглашение вступить в их союз — в клуб тех, кто, как выясняется, не принадлежит ни к какому клубу. На мгновение мне показалось, что я был одним из них. И поэтому мог спокойно отказаться и от этого приглашения и от этой избранности. Я мог существовать сам по себе. Мне было важно в принципе. То есть важнее было слово, чем дело. Важней была мысль, чем слово.

Сохо в полуденном свете избавилось в моих глазах от той иссушенной и аляповатой, как кожа старой стрекозы, резкости, той смеси крикливости и ажиотажа, горячечного желания завлечь и одновременно презрения, с каким встречал меня еще час назад каждый бар, паб и кафе. Сейчас улица превратилась в уютную гостиную: портьеры ресторанов как будто занавешивали окна этой комнаты-улицы, и жизнь внутри этих заведений казалась жизнью снаружи. А афиши и витрины гляделись картинками на стенах с пестрыми обоями из штукатурки и кирпича фасадов. Июньский свет исходил, казалось, от фонарных торшеров, а первые желтые листья и мусор на мостовой превращали ее в домашний ко-

вер. Обитатели этой гостиной — от сутенеров, лениво засывших в дверях, до концертных антрепренеров и еврейских фотографов — провожали меня приветливым взглядом и дружелюбным кивком, ненавязчиво, как старого знакомого, возвращающегося к своему креслу в привычном углу. Улица была безымянная: вы знаете эту английскую привычку вешать табличку с названием лишь в конце и в начале улиц так, что никогда не знаешь, где находишься. Но я больше не нуждался в названиях. Я возвращался к себе домой.

Путь домой был, однако, предсказуемо запутанным. Предсказуемо потому, что я, естественно, не мог позволить себе закончить этот день, не увидев Джоан. В своих манипуляциях она так долго и упорно отодвигала меня на задний план, в арьергард своих личных отношений, что я, получается, остался единственным уцелевшим вратарем — батсменом ее ворот. Прихватив по дороге бутылку виски, я двинулся в направлении ее дома, представляя себе заранее нашу встречу и примирение до малейших деталей: ее нахмуренное от удивления лицо, постепенно преображающееся в едва скрытой улыбке, когда я, усадив ее рядом с собой на кушетку перед окном, выходящим в сад, изложу ей в вечерних сумерках все, что я думаю об Альбионе, любовных треугольниках и крикете. Разливая виски, я стану говорить о том, что даже окончательное понимание прежде чуждого недостаточно для ощущения общности, принадлежности клубу и клану. Но, осознав несовпадение этих двух чувств, понимаешь вдруг, что ощущения истинной принадлежности клубу нет на Альбионе не только у тебя, но и, собственно, ни у кого. И что в действительности она, Джоан, и никто другой оказалась в этой истории третьим лишним. Таким же третьим лишним, каковым в другой истории оказался я. И что два третьих лишних могут составить прекрасную пару, если только отвлекутся от своих старых сюжетов. Руки мои при этом будут заниматься совсем иной интригой

в наших отношениях, и постепенно этот новый для нее сюжет подхватит и ее тело, и в апогее фабулы мы оба придем к окончательному выводу, что нет на свете такой отчужденности и разобщенности, какую не способна преодолеть любовь.

Отбив без всякого результата положенное число ударов дверным молотком (Джоан, естественно, презирала дверные звонки), я расплющил нос об оконное стекло первого этажа, однако никаких признаков жизни в темном аквариуме квартиры не обнаружил. Но когда я снова взялся за дверной молоток, дверь неожиданно сама приоткрылась: Джоан, скорее всего, оставила дверь открытой, выйдя за сигаретами. Пробираясь по коридору, я позвал ее, не слишком надеясь на ответ. Я обнаружил ее в гостиной: она просто-напросто задремала на ковре у камина, забыв, как видно, про все на свете. Нависающий в окне расплавленный шар заката высвечивал ее лицо багровым отблеском каминного жара, хотя, впрочем, камин был миниатюрным, чисто декоративного назначения, и казался, скорее, крикетными воротцами, где она полулежала, откинув голову, как будто на лужайке. Но чем ближе я подступал к ней, тем неестественней казалась мне ее поза. Я наконец сообразил зажечь торшер в углу, затушив тем самым вспышкой искусственного света багровый пожар в небе за окном.

То, что казалось отблесками заката на ее лице, оказалось багровыми, как Pimm's, ссадинами и кровоподтеками. Она лежала, как будто скрючившись от боли, полубоком, раскинув ноги; ее платье было разодрано от горла до лобка, и распоротое черное кружево оборок казалось разводами грязи на крикетной белизне бедра. Воровато выглядывал сосок, но уже не было нужды делать вид, что замечаешь лишь глаза и губы. Я приник к ее груди ухом, в первый и, возможно, последний раз в жизни стараясь угадать, пытается ли кто-то или что-то в ней достучаться оттуда, изнутри, до меня снаружи. Я ничего не услышал, но это еще не означало, что

внутри ее ничего не билось. Ничто в ней уже не нуждалось в переводе на другой язык. Когда я стал подкладывать ей под голову подушку, пальцы мои перемазались в той самой липкой жидкости, что смазывает самые скрипучие сюжетные ходы: рыжие локоны у виска сбились в клубок кровавой грубой шерсти. Только тут я заметил в крикетных воротах миниатюрного камина натуральную здоровенную кочергу. Я вспомнил слова Артура про обоюдную месть, что сильнее взаимной чуждости. Он наговорил мне достаточно слов, чтобы убедить меня в своем безразличии к ней. Но насколько ему верили другие участники истории? Да был ли он ее центром? И кто в действительности оказался третьим лишним и главным ревнивцем? Адреналин общения друг с другом через разговоры о других. Она все еще жила в мире слов и поступков. Ей было не до мыслей. Существо с пробитым черепом на зеленом ковре пыталось преодолеть собственную неприкаянность, провоцируя у других чувство ревности друг к другу, не учтя при этом, что жертвой ревности может стать и она сама, что могут ревновать еще и ее к другим или других к ней. Отчужденность успешно преодолевается не только любовью, но еще и ненавистью. За окном завывала и заулюлюкала то ли полицейская сирена, то ли скорая помощь — я так и не научился их толком различать за все эти годы — и завизжали тормоза. Как будто разбуженная этими воплями ненависти и отчаяния, Джоан застонала, все еще не приходя в сознание. Поколебавшись, я осторожно разжал ее пальцы, извлекая из них слишком очевидную и потому обманчивую улику происшедшего: уайльдовскую гвоздику ядовито-зеленого цвета.

В этот момент из соседней комнаты крадучись вышла Сильва. «Мы тут немножко из-за тебя поцапались», — сказала она, озираясь.

Нас продержали в полицейском участке далеко полночь, и в такси полусонная Сильва, выпущенная под залог, промолчав всю дорогу, сообщила наконец, что ей отказали

во въездной визе в Москву. Я сказал, что это ничего не значит: сегодня отказали — завтра снова дадут. «Дело не в том, — сказала она, — ты знаешь, у меня такое ощущение, что прошла целая эпоха. Как будто после нашей последней встречи я жила в другой стране, в другом городе, вроде Москвы». И, войдя в квартиру, сразу, без перехода: «Я побрила ноги».

«В честь кого, интересно?»

«Догадайся сам», — сказала она и стала снимать колготки. Дидактичность крикета в том, подумал я, что после каждой пробежки надо возвращаться к своим воротам: ты обязан дотронуться лаптой до своей территории — иначе пробежка не засчитывается. Впрочем, все это слова. Или мысли без слов. Но мне было не до слов, не до мыслей.

Через мгновение я уже видел перед собой влажный на солнце ворс крикетной лужайки, чья блаженная зелень стала на глазах сгущаться до такой бархатной черноты, что я боялся пропустить мяч. Но я сжал зубы, сосредоточившись на белом, растущем перед глазами шарике. Он коснулся моей лапты-биты с глуховатым чмокающим звуком, и тогда точным и мощным взмахом я запулил его прямо в небо, где он брызнул в голубизне, как будто расколов яйцо солнца разлетевшимися в стороны лучами. Я знал, что теперь могу сделать столько пробежек, сколько душе угодно.



Сергей ПУЗЕР

НА ЮГО-ЗАПАДЕ

28 ноября 1986 года

Как быстро плесневевает хлеб. Последнее время Старик реже выбирается в город, а то непременно заглянет в филипповскую булочную. Длинные батоны, паляница, лаваш грузинский. А здесь у них что... Потячешь вилкой, выберешь вроде посвежее, а назавтра уже белый налет. Старик каждый раз заново сомневается, подносит б у л к у к свету, щурится, может, показалось? Куренец из пятидесят второй квартиры говорит: пенициллин. Мол, даже полезно, а его тошнит. Куренец — весельчак, морда здоровая, несет пивом, в гости зазывает. В кооперативе недавно; и хам первостатейный — это видно. Тянет нараспев: «А, уважаемый Моисей Велвелевич!» Интересно, откуда узнал-то имя-отчество, вроде и не знакомились никогда. Не зря, видно, с бухгалтером у подъезда торчит — одна шайка. Эх, будь это лет пять назад, Старик срезал бы хохла. Моисей Велвелевич тогда еще работал, домой на казенной «Волге» привозили. Выйти, хлопнуть дверцей и пока Куренец пялится на Мос-

ковский номер — обронить: «А это, значит, наш новый сосед...» Но Куренец позже появился. После того, как Соня умерла.

Надо было купить по дороге свежего. Рассеянный сегодня. Придется теперь корку обрезать, еще раз выходить нет сил, с утра на ногах. Старик вообще-то в форме. Жена покойница та действительно, всегда на здоровье жаловалась, а он и сейчас... Ежедневно зарядка, обязательно прогулка — часа полтора, а то и больше. Это помимо магазинов. Благо, роща березовая у них прямо против дома. Недавно дорожки заасфальтировали, скамейки поставили — когда устанешь. Но он не садится. По большому кругу, если не торопясь, это минут сорок. Постоянный маршрут. В хорошую погоду два круга вполне можно сделать. Только, не дай Бог, прицепится кто с дурацкими разговорами — в роще всегда полно пенсионеров. Тогда приходится раньше времени возвращаться. Можно, конечно, в подъезде переждать — отсюда обзор хороший. Но рискованно — того и гляди опять наткнешься.

Да и все равно настроение уже испорчено. Главное, разговаривать-то не о чем, а бубнят, бубнят... Пустые люди, за собой не следят. Из носа течет, рукой вытираются, будто платка нет, а одеты... Зачем, скажите на милость, так опускаться? Старик — фронт: ботинки начищены, брюки со стрелкой, галстук неприменный. В свои семьдесят шесть, слава Богу, видный еще мужчина. А уж каким он был во времена ГОСЕТа! Соня — красавица, совсем еще юная, она тогда только из Куйбышева приехала, в звезды выходила, как вокруг нее все в театре... даже сам Мэтр, а она его предпочла. И это при том, что Моисей Велвелевич положение в те дни занимал самое прозаическое — учителем в школе. Но театрал был фанатичный, что правда, то правда.

Как они гуляли по бульварам. После спектакля. Шампанское пили. За газетный стенд заходили и прямо из горлышка, смеясь. Да... И все разом оборвалось после Минска. Вообще, они зря раздули. Сами же распускали эти слухи —

вот и разозлили. Понять, конечно, можно — ведь какое горе свалилось. Но все равно, зачем? Странно получилось, что Соня первая ушла — на пятнадцать лет его моложе. Женщины вообще живут дольше. Жалко, что детей от нее не осталось.

Вспомнил про Любку и сразу разозлился. Это от первого брака. После войны голодный дурак женился, и вот родили. Мать ее он, слава Богу, уже лет двадцать как не видел и не слышал — помотала ему в свое время нервы, пока развода добился. А эта приходит, навещает отца. Начинается мирно, а потом обязательно доведет. Бабе сорок лет, а нескладная какая-то. Вот и с Германом своим разошлась, да и не уверен, что расписывались — у того в Харькове семья. Темнила, темнила — не в бумажке, мол, дело. Конечно, не в бумажке. Старик сам с Соней зарегистрировался только в шестьдесят первом, но факт остается фактом: растит теперь Любка Алика одна. Внука Моисей Велвелевич любил, но баловать не собирался. И так вокруг слишком много охов да ахов. Изнеженный, типичный киндер. Восемь лет, а уже очки носит. И спортом совершенно не занимается.

В свое время буквально взбешен был, когда узнал, что эта идиотка вместе со своим харьковским полумужем задумала. И как они думали от него скрыть? Это головы надо совсем не иметь. Ну, хорошо, первые пару недель прятали младенца от деда, но потом-то все равно увидел. Орала друг на друга с Любкой так, что еще месяц после того не разговаривали. Даже по телефону. Соня окольными путями разузнала детали. Оказывается, пригласили какую-то личность из синагоги, и тот прямо дома, на столе, неизвестно, кипятил ли и инструменты, сделал ребенку б р и с.

Ну ладно, сейчас-то чего нервничать, обошлось ведь все. Но сам факт! Любка завелась, характер такой, что не может не перечить. Кричала ему: «Тебя самого небось папаша не обидел, обслужил на восьмой день без опоздания». Дура и есть дура. Какое может быть сравнение. Да он ведь родился в десятом году, есть разница или нет? И

отец его, если она хочет знать, был просвещенный человек, четыре языка знал, печатался в петербургских журналах, про свои одесские и говорить нечего. А на это пошел — он сам не раз говорил — только ради родственников матери. Маме с ее легкими дополнительные волнения были вовсе ни к чему. Да и материально зависели — квартиру-то на деньги дяди Арона снимали. А у Любки что за нужда? Сокровище свое харьковское удержать хотела? Так все равно не удержала. Тот теперь в Москву только в командировки. Сыночка, конечно, навещает. Лучше бы и не навещал — она потом целый месяц как бешеная на всех бросается.

На него, на Старика, наплевать. Это уж само собой. Он преподает в таком чувствительном месте, его уважают, вызвали, между прочим, с пенсии, и пожалуйста: дома религиозные обряды. Просто чудо, что до кафедры тогда не дошло. Главное, амбиция такая: наше, дескать, дело и больше ничье, ты, мол, живешь отдельно и вообще никакого отношения не имеешь. А что ребенок его фамилию носит, это, значит, неважно. И Герман тоже фрукт, имел наглость поддакивать, а небось уже готовил пути к отступлению, названивал своей в Харьков, наверняка названивал. Один раз столкнулись случайно у Телеграфа, так тот прямо заалел весь.

Хотя как раз тут его Старик понимает — сам пометался, когда началось у него с Соней. После уроков каждый день мчался в театр, просиживал на репетициях. Не мальчишка вроде, все-таки капитаном демобилизовался, а закрутило. Вера, математичка, с которой он до того, истерики закатывала. Прямо в учительской.

Ну и Любкина мать свое вносила, тем более, что ночевать он хочешь не хочешь к ней приходил — больше некуда было.

Но твердо знал, чего хочет, и добился. Казалось, вот теперь жизнь и начинается, а через год пошло одно за другим... Театр закрыли, Соня осталась без работы. Никуда не брали. Место в общежитии она потеряла, приходилось углы снимать. Он сам на волоске висел: нашлись сволочи, воспользовались моментом, преподавание истории, дескать,

такое дело. Подкапывались. И тут еще аборт этот неудачный — чуть не загубил коновал Соню. Моисей Велвелевич тогда до точки дошел. Если бы не Сашка Климов, замполит бывший, неизвестно как бы все кончилось.

Заявился прямо в школу, в штатском — как в гости. Сидел в директорском кресле, а Марьяна-сука шестерила вокруг. Я вас, верещит, оставлю Михаил Владимирович с товарищем одних, товарищ с вами побеседовать хочет. Сашка сладко улыбался, но ситуацию оценил правильно, а может, успела уже нашипеть. Когда вышла, скривился. Ох, говорит, чую, Мойша, съедят тебя здесь, как пить дать съедят, сожрут дорогого нашего капитана как последнего космополита. Про жизнь расспросил, посочувствовал, друзей вспомнили, все вокруг да около. Около часа, пожалуй, прошло. Как раз окно было, целых два урока, тоже, между прочим, Марьянина работа, специально изуродовала ему расписание, забыл когда засветло домой попадал.

Но ясно, что не для того Климов на Стромынку тащился — тут догадаться большого ума не требовалось. Хорошего не ждал. Друзья не друзья, а как в первый момент похолодело внутри, так уже не отпускало. Сашка актерами интересовался: куда этот делся, что тот поделывает? Всех по именам помнил. И надо было ему водить Климова за кулисы! Это осенью сорок седьмого они как-то на Страстном встретились, и Моисей Велвелевич зазвал его на «Вениамина». Похвастаться, видите ли, захотелось. Оттуда и пошло... А теперь... Они хоть последнее время практически ни с кем не виделись, да поди докажи. Но повернулось совершенно неожиданно, новый старт, можно сказать, жизни дало...

* * *

Старик стоял у окна, так и не сняв пальто. Только зонтик и калоши оставил в прихожей. На улице дождь, а он еще в глину влез. Почему они боковые дорожки на кладбище не

асфальтируют? Уж на те деньги, что дерут, могли бы. Надо, пожалуй, раздеться и выпить чаю, а то продрог. День тот запомнил. Тоже осень была. За окном темнело, а они все без света сидели. Климов включить не просил, а ему вылезать не хотелось — не он в кабинете начальство. В темноте, пожалуй, даже спокойней. Сашка не торопился, резину тянул. Про евреев, про историю расспрашивал (ты ведь Мойша историю преподаешь, значит, должен знать). Да правда ли, что у них два разных языка? А тот, на котором в театре играли, это какой? На нервах играл. Увильнуть бы, да не увильнешь — Сашка с упорством все к одному и тому же возвращается. И надымил — не продохнуть. В шестьдесят восьмом, когда хоронили, совсем желтое лицо было. Рак доконал. Пачки две у него уходило в день, не меньше. А может, и не от этого — кто знает? В сорок девятом-то совсем молодой был. И уже подполковник.

Сейчас Старик сердился на себя тогдашнего: как сразу не дошло? Словно слепой кутенок, право, даром что офицер. Никакого кругозора. Метался как зверь загнанный между школой вонючей и Сониными ночными кошмарами. Все в мрачном свете виделось, даже Марьяны ничтожной стал бояться. Противная еврейская черта — заранее «караул» кричать. Да погромче. Если задуматься, хорош он был: разговаривает с боевым товарищем, тот доброжелательно интересуется, не как х а з е р какой-нибудь, а его трясет всего. Хотя, с другой стороны, немудрено растеряться — вроде и не допрос, а все же... И про отца допытывался. Где, значит, он до революции печатался? Что же, значит, в газете призывал к ассимиляции, а сам сыну учителя нанимал по древнееврейскому? Просто хочется логику понять.

Логика, конечно, была, у отца Моисея Велвелевича имела целая теория насчет образования. Начинать предполагалось с «классики» — тут и древнееврейский, разумеется — а потом переходить к европейским языкам. Но как это Сашке растолкуешь?

...Планы-то отцовские неосуществленными остались.

Хотя до двадцать пятого, пожалуй, года продолжал ходить к ним домой в Одессе учитель Самульчик. Так и не разобрался, что это — имя? фамилия? Мамы уже не было. Отец в газету устроился, вел колонку книжного обозрения. В выходной садился с Мишкой разбирать Ибн-Эзру, потом журналы у него сохранились старые, дореволюционные, издательства «Мория» — у Старика и сейчас лежит несколько выпусков девятьсот шестого года, но они к нему другим путем попали, гораздо позже. В том же двадцать пятом отца убили, совершенно глупый случай. Возвращался вечером из Аркадии. Двое грабителей в трамвае стали трясти пассажиров: деньги, часы, кольца. Он на задней площадке стоял, к нему последнему подошли. Почему получилось — никто не знает. Он вообще-то резок был, а может, так, без причины. Пырнули ножом и спрыгнули в темноту. Тогда Миша в Москву и подался. Насовсем.

Но что интересно. В конце войны, в Будапеште, квартировали они в одном доме. С Панковым и еще одним латышом целых двое суток прохлаждались. Ванна была огромная. Так вот, наткнулся там на целую еврейскую библиотеку и обнаружил, что науку отцовскую не забыл. Кто-то из них, видно, и стукнул замполиту. Скорее всего, Панок. Не со зла, а просто, вот, дескать, какой у нас капитан образованный.

Старик вдруг засомневался — точно ли они тогда все это у директрисы в кабинете обсуждали? Ведь была и еще одна встреча — Климов его к себе вызывал. Нет, все-таки в школе. Сашка специально на его территории хотел. Чтобы не пугать до смерти — он сам потом говорил. Психолог. Вот как психолог и тянул жилы — лишь в самом конце к делу перешел. И отлегло сразу, хотя осознать, конечно, еще целиком не мог. Так и так, нужен человек, ты понимаешь, такой, на которого можно положиться, которого я бы лично мог рекомендовать. Для подготовки кадров со знанием языка. С опозданием начинаем, времени в обрез. Конечно, нетрудно было бы стариков найти, но то-то и оно, что нужен молодой. Ты мужик умный, подстроись легко, а что подзабыл — на-

гонишь. Книги какие надо — достанем, тут проблем не будет. И главное, подходишь ты мне. Я ж тебя в разных переплетах видал. Нет в тебе этих обычных еврейских... как сказать... задних мыслей, что ли... Не сердись, я по-дружески. Согласен даже, что в нынешней кампании случаются перегибы — не любят вас многие, вот и спешат воспользоваться, но ведь правда, есть в ваших что-то такое неуловимое, даже у членов партии. Ну ладно, я так, к слову. Ты подумай, посоветуйся с Соней, но не затягивай. До вторника хватит времени? И давай, в пятнадцать тридцать приходи ко мне. Седьмой подъезд, пропуск я закажу. Место-то знаешь? Это он уже шутил.

Соня испугалась, не верила поначалу, подвох подозревала. Чую, говорит, беда будет, Мишенька. Ей после закрытия театра мысль запала, что не без Климовского, мол, участия. Мол, зачем он последний год все ходил и ходил, тем более все равно ничего не понимал. Моисей Велвелевич сердился: ну разве можно так — собственной тени бояться? Но женщине, что ей логика, заладила: не нравится мне твой Сашка, ох как не нравится. Вылитый сосед куйбышевский. Тоже все улыбался. Когда в третьем классе была, их как раз в пионеры приняли, за кончик галстука схватил в коридоре и давай на палец наматывать. К морде своей толстой подтягивать. В комнату зазывал, собака, аквариумом приманивал. Ну, мать ему устроила промывку...

Успокоилась Соня, только когда он месяца два уже как перешел на работу в Институт, и Климовы пригласили их на Новый год. Заодно и новоселье отмечали — те в декабре получили двухкомнатную на Садово-Кудринской. Настроение у всех было приподнятое — круглая цифра. Сашка анекдот рассказал про полтинник неразменный. Сейчас совершенно выпало, в чем там суть была, но помнит, что ужасно смеялись. Под утро шли домой пешком. Выпал снег, и так хорошо было на душе, так безмятежно. Хотя, если объективно по-

смотреть, сложностей хватало. Нагрузка большая, ответственность. Со студентами-то проблем не возникало, но вот еженедельный обзор израильской печати или еще что — тут приходилось попотеть. И все же освоился, освоился. Даже удивительно, как быстро. Повезло, что отец был фанатиком нового палестинского произношения. Не совсем, конечно, как они теперь на радио говорят, но близко. Сбивался Моисей Велвелевич редко. Разве когда забудется.

Коллектив оказался замечательный. Несколько бывших фронтовиков, с завкафедрой сдружились. Они тогда раз в месяц по меньшей мере вместе в Большой ходили. Поначалу немного неловко получалось — тот явно Соней увлекся. И немудрено — у самого-то жена обычная толстая тетка. Но потом улеглось. На похоронах он, конечно, тоже был. Старик там с трудом от отпевал отбился. Настырные, особенно один, с палкой, чуть ли не в лицо тыкал. Из Института целый автобус сотрудников приехал, а тут эти — хорошенькое зрелище.

А тогда, эх... Соня в самом расцвете, шубку ей каракулевою купили — на улице все оборачивались. И на ребенка еще надежда оставалась. С жилплощадью только затянулось — в комнате жили. Но уже в своей, по ордеру.

* * *

Эту квартиру в шестьдесят шестом построили. Просторная, коридор большой и до Института удобно — прямая линия. Чай он так и не поставил. До кухни дошел, на холодильник облокотился — и задумался. С ним бывает. А то начнет брюки снимать, с кальсонами вместе до колен дотянет и застынет. Уже без десяти пять. Теперь, пожалуй, не чай, а пора поесть как следует. Любка позавчера сварила бульон. Потом рис, белое мясо от курицы еще осталось. Сегодня он коньяку выпьет, помянет Соню. Ровно три года.

Даже хорошо одному побыть. Валерий Николаевич теперь не зайдет небось. Хотя обижаться совершенно не на

что. Солидный, вроде, человек, а не понимает, в какое положение ставит Старика. Тоже в доме недавно появились. Не так, конечно, как Куренцы — лет десять уже, но все равно не из исконных. Жена у него чешка, через нее, наверное, и попали. А он — переводчик. Скоро, говорит, книга должна выйти. Если задуматься — странный тип. Агоише мишигинер. Пристал как банный лист. Вы, дескать, Моисей Велвелевич, обязательно должны меня научить по-древнееврейски. Хочу Библию в подлиннике прочесть. Устроим с вами уроки раз в неделю. По всей форме. Я — старательный, да и платить буду аккуратно. Нет, нет — это обязательно. Я сам за преподавание беру деньги, вы мне одолжение делаете, мечта, знаете ли, всей жизни — древние языки. Да и вам к пенсии какая-никакая, а прибавка. Латынью владею, а тут ... такая удача, что в одном доме мы с вами оказались. Свыше, можно сказать, предопределено.

И так, и эдак отговаривался, а тот свое. Пенсии, кстати, Старика вполне хватало — военная, двести чистыми. Да и трат особых... Вот памятник только Соне поставил, а кроме этого что? Кооператив выплачен давно. Они вдвоем укладывались, не то что один. Когда приглашали прийти на семестр в Институт, не из-за денег соглашался, просто дело свое любил, да и веселее, чем дома сидеть. И сейчас мог бы — ему звонил Поскакухин, предлагал даже курс, но это сразу после Сонечкиной смерти было, побоялся, что не вытянет. Пришлось отказаться — они тогда еще взяли этого молодого парня из Ленинграда.

Старик не скопидом какой, ни в чем себе не отказывает. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, у него твердо заведено обедать в ресторане. Так и что? Четыре рубля вместе с чаевыми — это максимум. Ну, еще две бутылки коньяка обязательно покупает как пенсию приносят. В тот же день идет в магазин. Не любит откладывать. На случай, если зайдет кто — Валерий Николаевич или с работы. Старик тогда отпирает специальным ключиком бар и сам разливает понемножку. Вот и все расходы. Любка как-

то принесла куртку японскую, дутую, говорит, от знакомых. Коротка оказалась. И то хорошо — триста рублей сэкономила. Она, кстати, если не контролировать, способна бутылку коньяка враз ополовинить. Только злее становится.

В общем, нужды в приработке никакой не было. А хоть бы и была! Не такой он наивный человек, чтобы влезать в аферу. Валерию что — возьмет и растреплет знакомым, а ему потом объясняйся. Тем более на партийном учете до сих пор в Институте. Странно, есть люди, которые не понимают элементарных вещей. Или вид делают. К концу того разговора Старик даже взмок. Главное, уверенности нет, что не поддавливает. Времена непростые, ох какие непростые, и действительно, как евреям доверять, когда... Любкины разговоры об антисемитизме просто смешно слушать — в штат ее, видите ли не берут. Да скажи спасибо. Он тогда Валерию Николаевичу достаточно четко все изложил: в деньгах, слава Богу, не нуждаюсь, а вот просто так, по соседски, мог бы вас проконсультировать. Но поскольку дело деликатное, то чтобы нам обоим не попасть в двусмысленное положение, хорошо бы принести какую-нибудь справку, что, дескать, это вам необходимо по работе — ну, как переводчику. Ничего страшного. Дернуло его добавить: из госбезопасности.

На самом деле ведь совершенно необязательно — в конце концов какая разница откуда справка. Да по правде говоря, и не думал Старик, что сосед будет всем этим всерьез заниматься — просто открутиться хотел. А тот как вскинется, аж перекосило всего. Вы что, шипит, это серьезно? При чем здесь... И враждебность такая сразу. Ну, знаете, говорит, не ожидал. Мы с вами вроде давно приятельствуем, Софью Ильиничну и я, и Анна всегда с большой теплотой вспоминаем. Обращаться, значит, с провокационными предложениями это ничего, а его, видишь ли, не тронь. Между прочим, полгода обхаживал Куровских, чтобы обменялись. Еще и доплатил, наверняка. Не посмотрел, что дом комитетский. А тут, видишь ли, сразу в позу встал. Ну, точно как

Илюшка, племянник. Особенно после того, как Роза уехала. Запросто позволяет себе обличать Старика. Дескать, как ты мог на «них» работать. На врагов наших. Надо же какие слова выбирает — специально, чтобы позлить.

Врагов! Глупость несусветная! Знал бы он, как со Стариком разговаривали в семьдесят девятом. Моисей Велвелевич переволновался тогда. Роза — хоть и двоюродная, а все же сестра. Обязан был на работе сообщить. Опасался худшего, но парторг все правильно понял. Вообще-то, Разуваев был человек на кафедре новый, а вот разобрался в ситуации. В конце концов, взрослые люди, сами за себя отвечают, да и за мужем едет — что тут поделаешь? Переписка, конечно, нежелательна, а так — пусть работает спокойно. И специально подчеркнул, что ценят его очень.

Вот что значит нормальный человек, пусть и не шибко интеллигентный. Но не рассказывать же про это Илюшке. Зачем? Опять ухмылку его кривую наблюдать. Всепонимающую. Это, между прочим, у них, у Хагеров, семейная черта. Отец такой же. Этакий неподкупный ученый, других судит. А сам как засуетился, когда в Америку пригласили преподавать — в борцы записался, за свободу эмиграции. Свобода... Про зарплату обещанную рассказывал, аж глаза сверкали. Тьфу! Подсылал к Старику провентилировать, не будет ли с его стороны каких препятствий. Как будто он в жизни вредил кому. А ведь если на то пошло, то благодаря ему только и уехали. Судьбу, как говорится, в руках держал. Парторг прямо так и спросил: «Может у вас, Моисей Велвелевич, есть возражения против отъезда сестры? Тогда — другое дело». Стоило тогда только слово сказать.

Теперь Илья приходит, выдержки из писем зачитывает. Вот оно, мол, как здорово, дядя Миша. Моисей Велвелевич молчит, иногда только переспросит, любопытствует. В дискуссию не вступает. Розе он всегда добра желал, сам же после войны в Москву перетащил, родители ее как в Свердловске оказались в эвакуации, так там и осели. Ладно, пусть у них все будет хорошо. Спорить не спорит. Но

мнение свое имеет. Сам-то Илюшка даром, что-ли, не едет? Ходит квелый да усмешается. Усмешка эта, кстати... так можно всю жизнь проходить, ничего не достигнув. Старик иногда даже начинает сомневаться: не лучше ли было бы парню к родителям — там по крайней мере шевелиться заставят. Сколько уже племянничку? Тридцать пять? Или больше? Моисей Велвелевич в его годы гораздо динамичнее был, сравнить нельзя. И настроен оптимистически.

Суп никак не закипал. Эти плиты электрические. Для одного не имеет смысла в комнате накрывать, можно и на кухне. Но тарелки достал парадные, с золотым ободком. Аккуратно разложил приборы, салфетку достал выглаженную. Не любит наспех, как некоторые: схватят кусок и ходят по квартире, крошки потом повсюду. Любка бывает такая неопрятная: волосы распущены — того и гляди в тарелку влезут. Передернуло. И ведь не все еще скажешь. Хоть и отец. Вот в последнее время... С зубами у нее что-ли не в порядке... Старик вообще очень чувствителен к запахам. Иной раз не уверен, может, показалось? Тогда замирает и ждет напряженно следующего раза, когда поблизости окажется. Убедиться. Неужели даже не позвонит сегодня? Соня всегда ее очень хорошо принимала, только не выносила, когда та начинала хамить отцу. Уходила к себе в комнату.

Валерий Николаевич вчера в подъезде отвернулся, сделал вид, будто не заметил. Его дело. Умный человек без слов поймет, а тут, видно, объясняй — не объясняй. Стоит, бороду оглаживает. Что ж, навязываться Моисей Велвелевич не собирается. Не в первый раз. Он хорошо помнит, как после перевода в Институт некоторые госетовские перестали их в гости приглашать. Идиотизм. Радоваться надо, что пробудился интерес, ведь язык — это основа всякой культуры. Он не противник жаргона, ни в коем случае, это отец — тот воевал, отстаивал приоритет, а он не стал бы противопоставлять. Главное, Зиглер разорался тогда: «Гоев лойшн койдешу учить будешь?» Шовинизма этого Старик вообще терпеть не мог, а тут еще на тебе! Зиглер, который на все

даты распинался со сцены о братстве народов. И актер-то никакой.

И другие тоже, не только Зиглер. Но через несколько лет поняли и начали снова их привечать, загладить хотели. Соня долго простить не могла, ему в этом смысле удивлялась. А Моисей Велвелевич действительно злобы не держал. Климаат менялся, люди выравнивались, мягчели как-то. Все понемногу устраивались. И слава Богу. А что до гоев, то он наоборот считает, что очень полезное дело делал в смысле взаимопонимания. Принимая во внимание темноту массы русского населения в отношении еврейского вопроса. Там столько предрассудков, даже у людей с образованием. А кто с языком по роду службы соприкасается, тот так или иначе... И надо сказать, что такого чувства товарищества, как в первые годы, когда кафедра только создавалась, такого общего подъема нигде и никогда больше не встречал. Разве что на войне, но там другое...

Ребят своих выпуска 52-го, «ускоренных», всех, как одного, помнит. Много лет у него девятнадцатого июня собирались, в годовщину экзамена. Как Стасик погиб, так рассыпалось — душой компании был. Он же и прозвище придумал: Мойше Рабейну. Моисей Велвелевич не знал поначалу, как и воспринять. Даже сердился. А потом привык, понял, что от хорошего отношения это. В последний раз Стасик прямо с аэродрома позвонил — из Египта прилетел. Мойше Рабейну, говорит, дорогой, повязывайте галстук прямо на пижаму, сейчас появлюсь. На минутку, на минутку — только подарочек забросить. Но обратите внимание: сначала к вам, а потом уже домой, к чадам. Чтоб не говорили, что я гад пропащий.

Влетел загорелый, такси у подъезда оставил ждать, в руках — огромный пакет из плотной бумаги. На кресло положил, обнялись и умчался — все равно, дескать, скоро свидимся, а то Галка внизу нервничает. Как раз конец мая был. Развернули, а там — менора старинная. Серебро, чеканка — бесценная вещь. Сейчас вон на серванте в комнате, при-

вык уже. Когда Сонечка была жива, на дни рождения и вообще если гости, зажигали все семь свечей, она следила, чтобы запас не иссякал, специально в хозяйственный ездила. Верхний свет выключали, тени-тени — как в средневековом замке. И фотография Майи Михайловны на стене: перед выходом на сцену в «Кармен». Сама надписала внизу: «Дорогим друзьям моим Мише и Соне». Нет, что ни говорите, она фантастическая женщина.

Стасика живым больше не видел — через неделю он разбился на машине, на Минском шоссе. А так... Валя Кротов до сих пор звонит на 9 Мая, в МИДе за отдела. Игорь Шацкий за границей, корреспондентом — его часто по телевизору показывают. Тоже уже немолодой.

А становиться в позу... Местечковость какая-то, право слово. Недаром секретарь израильского посольства предпочитал его общество этим вечно напуганным идишистам. И, между прочим, начальство никогда не возражало. Наоборот, всячески приветствовали. Даже предложили пригласить его на семинар Моисея Велвелевича в МИМО, в группу второго года обучения. Очень хвалил и без всяких дурацких претензий — не выяснял: гои — не гои. Симпатичный парень, Ури звали. Сам лингвист, кажется. С пособиями вызвался помочь и все выполнил, прислал потом на адрес Института. Официальным образом — вот что значит дипломат, понимает ситуацию. Они их на ротапринте размножили, до самого последнего времени пользовались.

На Песах его с Соней домой пригласили, вот уж не думал, что в сорок лет придется ермолку надеть. Ури-то нерелигиозный, в кибуце вырос, но все сделали по чести. Чтоб от свечей не угореть, окно открыли, а там весна, запахи... Советским гостям — кроме них была еще одна пара, русские — сделали подарки. Ему две бутылки вина «Кармель», а Соне — серебряный магендавид на длинной цепочке. Вообще вечер удался. Было много песен. Соня один раз спела на идиш, и потом уж от нее не отставали — всех буквально покорила. Открылось, что актриса, начали расспраши-

вать. Тут могло неудобно получиться с театром, но Ури — молодец, перевел разговор на другую тему, предложил тост, проскочило. Этот тип, с женой который, ничего и не понял. Знай себе пил да закусывал. Обычный чинуша, курировал их, наверное, по линии МИДа, из вежливости пригласил.

Одну бутылку он потом Сашке отдал. Тот дурака валял: дескать, тяжело нам, бойцам невидимого фронта, а вот некоторые у иностранцев вина коллекционные хлещут, надо за ними присмотреть, как бы не развратились. А магендавид, увы, Сонечке поносить не привелось. Ну куда в нем? Слишком вызывающе. Так и провалялся в шкатулочке. Она вообще украшениями не злоупотребляла — нитку жемчуга наденет и все. И не потому что не было — любила строгость. Как ей черное шло! Сегодня на кладбище опять прицепился один. Дал ему трешку, так нет, не отстаёт, тащится рядом и нудит: вынь да положь, надо ему знать, как покойницу звали.

Однажды рассказал племяннику про тот Сейдер. Сам не понимает, что его дернуло. Так Илья попер: с тобой, дескать, все ясно, поел-попил у добрых иностранцев, а потом старшему товарищу подробно отчитался. И как всегда со своим догматизмом диссидентским пальцем в небо попал. Он даже представить себе не может, насколько Моисею Велвелевичу доверяли, не понимает сути их отношений с Климовым. Всюду ему чудятся заговоры КГБ, «донесения», «допросы»... А Сашка, между прочим, никогда слежкой не занимался, тут просто полное непонимание структуры.

И странно думать, что Моисей Велвелевич, который прежде всего филолог-профессионал, то есть историк по образованию, но фактически... Конечно, не такая крупная фигура, как покойный Феликс Львович, скорее педагог, нежели ученый, но все же по его методическим разработкам... Их даже в Израиле издавали в начале шестидесятых. Илья, главное, единственный из родственников, кто тоже пошел по гуманитарной линии, кому, вроде бы, как не ему и по-нять-то Старика. Сашка Климов, если уж на то пошло, сде-

лал для их семьи гораздо больше, чем все «порядочные» вместе взятые. Про работу нечего и говорить, но ведь и той же Розе он комнату нашел, как приехала. Да и потом... Пенсия тоже во многом его стараниями — перед самой смертью успел. Так что прямолинейность Плюшкина совершенно здесь не к месту, Моисей Велвелевич ему это много раз говорил.

Вообще, если брать Комитет в целом, то среди сотрудников немало было дельных да и просто приятных людей. Конечно, попадалось и быдло, но где его нет? А встречался Старик вплоть до самого высокого уровня, до Юрия Владимировича. Вот кто был человек исключительного ума, это даже при самом беглом знакомстве чувствовалось. Редкая способность буквально в нескольких словах наметить проблематику, сразу схватить самую суть. Некоторые жаловались: сухарь. Глупости, как раз наоборот — отточенный интеллект сочетался у него со вниманием к конкретному человеку. Взять его случай. Буквально через пару дней после той их памятной беседы позвонили в Институт и передали, что есть две путевки в санаторий под Москвой. Генеральский. Прямо-таки настояли, чтобы поехал, отдохнул — Юрий Владимирович заметил, что у него вид утомленный. С тех пор как часы: два раза в год. После смерти Сони стал зимнюю смену пропускать — комнаты на двоих, неизвестно с кем окажешься в мороз запертым в четырех стенах. Летом нестрашно — все лучше, чем в городе. Выйдешь к реке, погуляешь. А ближе к вечеру можно подняться наверх, к усадьбе. У него за эти годы появились друзья среди молодых экскурсоводов — пускают побродить даже после закрытия музея. Или наоборот: придет пораньше и пристанет к какой-нибудь группе. Хоть и десять раз уже слышал, а все равно всегда что-то новое. Больше всех ему Олег нравится — высокий, кудрявый, настоящий красавец. Когда говорит, глаза полужакрыты. Фанатик своего дела. Старик таких уважает. На вечернем в инъязе учится, на французском отделении. Жалко, что гроши им платят, да и ездить далеко

приходится. Кормить в санатории в последнее время хуже стали, наверняка воруют, как везде. Но все-таки овощей много дают.

К Юрию Владимировичу Старика по поводу сына Хаскелей вызывали. Когда Шимон и Рина вернулись из Израиля, Довчику лет тринадцать было, не больше. Хороший парень, комсомолец, родители коммунисты со стажем. Но не сложилось. Отбилась от рук, в институт поступать не стал, чуть в армию не загремел. Наконец, устроили на радио. Иврит у него родной, английским свободно владеет, ну, русский — само собой. Если интервью, переводить может в обе стороны, одним словом, данные прекрасные. Лет семь или даже восемь проработал, нареканий не было. Женился, двое детишек. И внешне изменился: космы длинные остриг, посолиднел. Вроде бы живи, все у тебя есть, но тут опять срыв. Появилась у него какая-то лимитчица из Подмоскovie, загулял, пропадал у нее за городом, говорят, пьянствовали вместе. Пока не достукался: сорвал передачу. Старик все это уже знал от самих Хаскепей, а в кабинете у Юрия Владимировича услышал о вещах куда более неприятных.

Имелся сигнал, что Дов в последней передаче на Израиль то ли что-то перевел намеренно неточно или акценты сместил, в общем весь текст приобрел двусмысленное звучание. Моисея Велвелевича просили прослушать записи. Работа важная и срочная — к субботе надо закончить. Тут нет задачи собирать на парня материал — Юрий Владимирович говорил по своему обыкновению медленно, тщательно подбирая слова, — вполне возможно, что злого умысла не было. Все-таки вырос за границей, привык к вольностям, надо войти в положение — все засмеялись. А может, и просто наговор. Позавидовали: дескать, молодой, нахальный, в эфир выходит, да еще двух жен имеет. Почему, мол, ему все, а мне ничего. Засмеялись опять. Но как бы то ни было, проверить мы обязаны, риск, сами понимаете, тут нешуточный. И очень желательно, чтобы именно вы, Моисей Велвелевич, этим занялись. Специалист вы первоклассный, и я рад случаю лично с вами познакомиться. К тому же вы знаете Хас-

келей много лет, а в таких делах, когда речь идет о нюансах, понимание личных каких-то особенностей характера просто незаменимо. Так что мы на вас надеемся. Единственная просьба: пока проверка не закончена, самому засранцу говорить ничего не надо. Да и родителям, пожалуй, тоже — зачем будоражить понапрасну?

Ситуация достаточно щекотливая, все-таки с Хаскелями они давно в приятелях. Важно было здесь так поставить вопрос, чтобы по возможности сгладить. Юрий Владимирович сделал это очень тактично. Подчеркнул, что ни о каких «крайних мерах» по отношению к Дову речи не идет, да и действительно, не те сейчас времена. Работы на радио, конечно, вполне может лишиться, но тут пусть на себя пеняет. Находишься на идеологическом участке, так понимать должен. Это же не шутки.

Проверка ничего криминального не обнаружила, и Старик, разумеется, рад был ужасно. Гора с плеч свалилась. Запись оказалась отвратительного качества, местами почти полностью затертой, но именно там-то исходный русский текст никаких подводных камней не содержал, нечего там было исказить. Так и написал в отчете — к пятнице уже закончил. Отметил попадающиеся иногда неточности перевода, чисто профессионально не мог пропустить, но подчеркнул, что они не несут никакой специфической идеологической нагрузки. Хаскели, кстати, когда узнали задним числом о его участии, прекрасно все поняли и только благодарны были. Другое дело, что Дов все-таки места потом лишился, но это уж потому, что совсем развинулся, неделями на работе не появлялся. Он в Мытищах осел — женила его на себе лимитчица. Чуть ли не слесарем устроился. Упрям ужасно, а ведь предлагал Моисей Велвелевич похлопотать.

Ну, наконец-то, закипело! Снял кастрюльку — у него особая перчаточка для горячего приспособлена — и два половника с гущей налил себе. Аппетита не чувствовал, но знал, что если начать, тут сразу и появится. Поговорка известная, но ему раньше как-то в голову не приходило, что она и впрямь про еду, а не в переносном смысле. Илюшка

мог бы вспомнить, какой сегодня день. В прошлом году он приезжал, но раз до сих пор не позвонил, значит — все. Уже небось зарядился куда-нибудь на выходные. У него, вроде, у кого-то из знакомых теплая дача, по Рижской дороге, кажется. Ничего страшного, не обязан парень все даты в голове держать. Старик и сам бы мог позвонить, напомнить, не такой он человек, чтобы затаивать, но сейчас все равно уже поздно. Пятница, короткий день, с работы Илья ушел, а дома телефон у него так и не поставили. Подстанцию никак в строй не введут, сколько уже тянут? Или, может, правда Розин отъезд повлиял, и просто не хотят? Вмешиваться Моисею Велвелевичу тут не слишком удобно, хотя связи кое-какие остались.

Да, с другой стороны, племянника одного звать — это себе дороже. Только нервы трепать — спорщик, потом сердце после него болит. И нахальство не хуже Любкиного: «Ну, если я должен соглашаться с этими оригинальными аргументами в честь йорцайта тети Сони, то тогда конечно...» Смысл-то был их с Валерием Николаевичем свести, тогда другое дело. Представилось, как они сидят втроем в большой комнате. Разносолов хоть особых нет, но накормить смог бы. Да и коньяк по нынешним временам не такая уж малость.

Вот-вот, интересно было бы сравнить молодых людей — пусть поговорят. Пусть понападает Илюшка на кого-нибудь другого, не все же ему дядю Моисея клевать. К чему придраться найдет, тут можно не сомневаться. Как-то упомянул при нем о соседе, так племянничек с ходу разразился: знает он, дескать, этих переводчиков. Днем небось в своем ТАССе херню всяческую перетолмачивает, а по вечерам дома подавай что-нибудь мистическое. Старик пытался втолковать ему, что Валерий как раз ни в какой «тасс» не ходит, спокойно говорил, просто факт сообщал, не хотелось заводиться. Так тот разве слушает.

В присутствии Валерия Николаевича он, конечно, скандалить бы не стал. Наоборот, мог бы получиться интересный разговор, даже если спор. Моисею Велвелевичу приятно

представить: свежая скатерть, отмытые содой бокалы и трое мужчин за столом. На секунду даже забыл о поводе, и правда, если бы они собрались, отсутствие Сони уже не так бы ощущалось. В сущности, и Илья и Валерий хорошие интеллигентные ребята. К отцу по воскресеньям приходил ближе к вечеру их сосед Гойхман. «Подышать либеральным воздухом» — вот ведь запало выражение. И с порога уже осведомлялся: «А батюшка будет?» «Батюшка» или «отец Алексей» был довольно молодой еще человек и вправду похожий на священника. Уж там вправду служил или только вид имел, но картинка запечатлелась. Старик любил про это вспоминать в качестве примера подлинной просвещенности. Вы представьте себе, нажимал он, люди совершенно разных убеждений собираются за столом, обсуждают проблемы религии, философии, нравственности. Миша тогда еще слишком молод был, и хоть отец его специально из просветительских целей не гнал спать, в содержание бесед вникнуть как следует не мог. Но именно так теперь представлялось: о религии, философии и нравственности...

Это год 22-й или 23-й. Ему, значит, двенадцать лет. Да, не меньше двенадцати... У Валерия Николаевича на шее, когда воротник рубашки расстегнут — все говорит, что у Старика слишком жарко, — цепочка видна. Они еще с Соней решили, что наверняка крестик. Сейчас среди молодежи много... Верующий, точно верующий. Если бы сегодня действительно можно было так посидеть. Правда у него тоже, после того как Валерий надулся, особого настроения нет. Это он просто так представил, в смысле, если бы ничего не случилось.

Ладно, Бог с ними. Старик налил себе коньяка и, подняв рюмку, устремил неподвижный взгляд вверх наклеенных на кухонный кафель переводных картинок с Микки-Маусом, туда, где начиналась уже гладкая, недавно наново покрытая масляной краской стена. Как это там говорится: за упокой души!



Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

ЭММА БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Девочка-подросток в пестром макияже, узких джинсиках и красном трикотажном свитере с условным контуром Эмпайр Стейт Билдинга и надписью «Хэппи маркетинг» появляется в Одессе в первых числах июня восемьдесят первого или восемьдесят второго года. Она выходит на шумный и потный перрон из электрички, прибывшей из Измаила. В ее руках нейлоновая сумка-баллон, где помимо небогатого гардероба — большая коробка посылочной косметики и почти целый флакон «Сикима» франко-арабского разлива — ее самое большое достояние. Девочку зовут Эмма Белоцерковская. Эммочка.

Несколько часов назад она, как ей кажется, навсегда покинула родной Измаил, почти убедив мать в том, что в Одессе ей удастся поступить в какой-нибудь техникум, а то и институт, выйти замуж за моряка заграничавания с шикарнейшей квартирой и интеллигентными родителями и показать ей, матери, как надо жить.

События уже клонящегося к закату, до предела напряженного дня со слезами, истериками и молчаливыми проклятиями, все еще перед ее глазами. Отец, который категорически против ее отъезда, но бессильный помешать ему, давно махнувший рукой на дочь, — а, пусть делает, что хочет... — укрылся за газетой. В маленькой, заставленной громоздкой мебелью кухне мать торопливо заворачивает на дорогу бутерброды с еще горячими домашними котлетами. Культ сытости превыше обид. Они переговариваются короткими фразами, вполголоса, чтобы отец не услышал их. Уже в прихожей мать сует ей десятку. У обеих мелькает почти инстинктивное желание обняться на прощанье, но оно остается нереализованным. В этом доме, где каждый живет сам по себе, стремясь единственно к тому, чтобы не допустить ближайших по паспортным данным людей к своим планам и переживаниям, такие проявления родственности непривычны. Мать еще просит Эммочку попрощаться с отцом — «Может, ты все-таки попрощаешься с ним?» — и та, остановившись на пороге комнаты и чуть наклонившись вперед, говорит игрушечным голоском: «Папа, пока!» Отец с хрустом откладывает газету и хочет подняться, чтобы проводить дочь до дверей.

В это же время за углом дома ее ждет один из близких друзей, чье имя впоследствии стирается из памяти Эммочки. Этот вечер и ночь они должны провести у него, а утром он отвезет ее на вокзал. Приоткрыв дверцу своей лимонной «восьмерки», он курит, нетерпеливо поглядывая то на черную кварцевую «сейку», то на узкую асфальтированную дорожку между цветущими кустами сирени, где должна появиться его подружка. Он ждет напрасно. Сейчас Эммочка пробирается между железными гофрированными стенками гаражей с другой стороны дома на соседнюю улицу и здесь, поймав такси, мчится на вокзал. Каждая минута в Измаиле кажется ей губительной. Сердце ее сдавливает, она задыхается, ноги немеют. Часы на Покровском соборе, главной достопримечательности города, семью тяжелыми ударами словно вгоняют ее прошлое в густую тьму небытия.

В Одессе она останавливается у своей дальней родственницы и почти ровесницы С. Поплавской. Поплавская в глазах своей подруги — счастливая обладательница собственной одиннадцатиметровой комнатки с покосившимся полом в районе Молдаванки. В ней расшатанный диванчик с залоснившейся зеленой обивкой, доедаемый шашелем фанерный шкаф, трельяж с ржавыми зеркалами и допотопный «Рекорд» с экраном двадцать четыре сантиметра по диагонали. К комнате примыкает размещившаяся на застекленной веранде кухня, единственным украшением которой служит настенный календарь с портретом Никиты Михалкова. Сюда же прибавим совмещенный санузел площадью семьдесят квадратных сантиметров, где душ находится непосредственно над унитазом. Благодаря всем этим жилищным благам, а также объему груди, в глубине которой постоянно тлеет неугасимая тяга к самым неистовым наслаждениям, Поплавская вхожа в многочисленные компании, и Эммочка постоянно сопутствует ей.

Дискотеки, пляжи, езда на автомобилях на фонтанские дачи, двухдневные круизы по Черному морю до Ялты и обратно, перепродажа посылочных вещей — вот тот фон, на котором протекает жизнь подруг. Все их связи с мужчинами, мало отличающимися друг от друга, скоро начинают перепутываться, распадаться и, возобновившись, пересекаться в новых комбинациях.

Эти счастливые годы впоследствии становятся для Поплавской далекой и с течением времени все более сказочной историей ее скоротечной молодости. По свойственному ей жизнерадостному легкомыслию она не успевает вовремя прервать очередную беременность, и на шестом месяце ей делают искусственные роды. Молодой врач извлекает из нее три сморщенных тельца, после чего с Поплавской происходят катастрофические изменения. С какой-то неестественной скоростью она начинает набирать вес и терять форму. Спрос на нее падает до нуля. Очень быстро она превращается из «клевых чувишек» в наперсниц «клевых чувишек» и перемещается из эпицентра развлечений на их

периферию. Ее уделом становятся доверительные, хмельные беседы и выяснения отношений на неприбранных кухнях, ночных балконах и прокуренных лестничных площадках.

— Нет, скажи мне, почему я всегда должна делать, как он хочет?

— Хорошо, пусть он неправ, но на фига тебе были нужны эти арабы?

В дневное время она работает продавцом в каком-то кооперативе. Лоток, валенки, ватник поверх нескольких старых свитеров и покачивающиеся на промозглом ветерке недорогие джинсы становятся такими же постоянными атрибутами ее жизни, как когда-то шампанское, модная музыка и роскошь чужих квартир.

Но пока она с Эммочкой, ее еще зовут «мамкой», ее щедрым и неутомимым телом еще стремятся обладать и обладают.

Первым долгим увлечением Эммочки становится Алик Нахов, гитарист из «Красной», за которого по своей провинциальной наивности она некоторое время намеревается выйти замуж. У Нахова машина, собственный дом за парком Ильича с коврами, огромными мягкими креслами, видеомагнитофоном и белой арабской кроватью на гнутых, собачьих ножках.

Весь этот шик, а также возможность ходить с Аликом по дорогим ресторанам, где его знают и при его появлении кто-то всегда поднимается, чтобы пожать ему руку или пригласить к своему столу, заставляет Эммочку держаться за него на протяжении нескольких лет, даже тогда, когда иллюзии о замужестве окончательно рассеиваются.

Мы упустили портрет Нахова. Это невысокого роста плотный молодой человек лет тридцати трех с черной курчавой бородой, всегда готовый присоединиться к любой компании со спиртным и девушками.

Проходит немного времени, и Эммочка начинает видеть разницу между своим веселым и напропалую пошлящим

Аликом и, скажем, сдержанными и знающими себе цену дискжокеями из модных кафе «Вечерки» или «У Дюка». которые расплачиваются за чашку кофе с большим эффектом, нежели Нахов за обильное застолье с коньяком и черной икрой.

Это также является одной из причин, по которым Эммочка не хранит ему верности. Впрочем, и Алик в постоянном поиске новых впечатлений, и когда в доме у парка Ильича появляется новая женщина, Эммочке приходится собирать свои вещи и, глотая слезы обиды и давая себе кровавые клятвы никогда больше не переступить этого порога, закрывать за собой дверь. В эти дни ее можно увидеть стоящей в смятении с потемневшим лицом на грязном перекрестке улиц Советской Армии и Чижикова, где обрывки газет и луковая шелуха ползают по пыльному асфальту с черными пузырящимися потеками, тянущимися от квасных бочек. Над ее головой, над ломаным контуром крыш небо неутомимо наливается болезненно-лиловым вечерним светом. Наконец, вздохнув глубоко и в очередной раз положившись на случай, она медленно направляется к центру города.

Бывает, безуспешно покрутившись в районе Дерibasовской и Приморского бульвара или просидев вечер за стаканом сока и бутербродом с колбасой в «Вечерке» или «У Дюка», она направляется к Дане Цацу.

Даня Цац, мальчикового сложения очкарик с рыжими усами, не выговаривающий буквы «р» и «л» и вместо них пользующийся буквами «е», «ё», «я», «ю» и «й». Он работает сотрудником многотиражной газеты судоремонтного завода, которая за размер зовется «горчичником», и пишет безумные стихи, пытаясь пристроить их во все существующие в стране издания, начиная с газеты «Правда» и заканчивая журналом «Службное собаководство». Признавая то, что он далеко не талант — да, и я не таянт, я — способный. То же, между пьечим, немаё. А печатают и похуже... — он считает себя человеком с искаленной собственным увлечением судьбой и понемногу спивается в своей полуподваль-

ной квартирке в доме с роковым номером «13» по спуску Жанны Лябурб.

Именно в этой захламленной полутемной квартире Эммочка проводит самые несчастливые свои дни. Здесь она подолгу лежит в постели, витая в однообразных и трудно-осуществимых мечтах, и, соскучившись, может подмести пол, разложить по полкам разбросанные повсюду книги и папки с рукописями, вытереть пыль с открывшейся мебели. В эти дни Даня долго ходит по магазинам и пытается купить на обед что-то попримечнее. Если ему удастся это, то Эммочка в растоптанных тапочках со сбитыми задниками и клетчатой рубашке хозяина стоит у черной от жира и копоти плиты и варит незамысловатый супчик и жарит картошку с колбасой.

После сытного обеда они забираются в постель, и Эммочка с долей снисходительной терпимости удовлетворяет неприхотливые Данечкины запросы. Потом они грызут овсяное печенье, запивают его недорогим портвейном и ведут долгие беседы. Эммочка жалуется на свою неустроенность, а Даня, в котором она пробуждает мужественную мудрость, поучает ее неторопливо и жалеет, а она, глядя в потолок, чувствует такую смертную тоску, такую жалость к себе самой, что слезы наполняют глаза и, сбегав по щекам солеными струйками, жгут губы...

— Ядость моя, почему же ты пьешь?

Он наклоняется, чтобы слизнуть эти соленые дорожки, и тянет к ним свой широкий и такой неумелый с точки зрения фонетики язык, но она отворачивается к стене.

— Ой, Даня, не надо сейчас.

Ночью в одних трусах и майке, подвернув под себя тощую ногу, Даня сидит за своим столом и, грызя ногти и поглощая воспаленными глазами черную пустоту окна, пишет стихи. От напряжения у него ломит виски и пространство вокруг него плывет. То выскакивая на передний план, то скрываясь за огневными рифмами, его не оставляет мысль, что именно сейчас он пишет лучшее из всего, что писал, что

именно эти строки навсегда войдут в сокровищницу литературы, вобрав в себя всю энергию бушующей в нем поэтической страсти.

Когда на следующий день Даня возвращается с работы, Эммочка еще в постели. Откинув одеяло, сладко потягиваясь и прогибаясь в пыльных столбах солнечных прожекторов, она говорит:

— Привет, масик, ты уже поработал?

Он накидывается на нее, горячую от сна и солнца, мягкую, белую, и, преодолевая ее слабое сопротивление и притворное недовольство, норовит поцеловать каждый уголок ее сладкого тела. Потом, отпустив ее, он, заложив руки за голову и откинувшись на подушку, читает свои ночные стихи: «Я — бог-спейматозоид! Я — гений-чеёвек! Я буду дьяться с всеми, чтоб быть счастьйивей всех!»

В такие моменты Эммочка старается не смотреть на него и невольно сжимается от одолевающей ее неловкости. Слова, неожиданно выстраивающиеся в рифмы, пугают ее и заставляют, как удара, ждать и даже пытаться предугадать какое-то бранное выражение, которое согласно ей самой непонятной логике, должно обязательно вырваться из этого силлаботонического наводнения.

— Я не мысьи твои хочу, а губы! — обращается с протянутой к потолку рукой Даня, — Не сейдце твое, а гьюди! Давай же будем весёлы и гьюбы, как пейвобытны юди!

Долго здесь Эммочка не задерживается. Очень скоро ее начинает разыскивать Нахов. Он прочесывает город, как охотник лес. За спиной у него несколько дней обладания новым, взбудоражившим его телом, несколько все возрастающих по силе скандалов с обвинениями в хамстве, скупоности и при этом неумными требованиями в постели и неделя вынужденного воздержания, вследствие чего все его мысли и устремления, естественно, обращаются к Эммочке. В дни их встреч одна белая арабская кровать, умеи она говорить, могла бы передать, что ей доводится перенести на себе. На долю автора остается лишь унылое описание сле-

дующего утра, когда Алик уезжает на музыкальную биржу, толкующуюся на Соборке, а Эммочка, надев свой голубой махровый халат и позевывая, направляется в ванную разбирать скопившееся за ее отсутствие грязное белье.

И наконец мы подходим к Вадику Сафиру — последнему в этой стране увлечению Эммочки. Он по-юношески худощав, строен и на голову выше Алика. Он только что вернулся из армии, где, благодаря связям родителей, на протяжении двух лет дремал в пыльной каптерке окружного военного госпиталя в должности писаря интендантского взвода. После демобилизации он работает техником в «Вечерке», ожидая разрешения на выезд к родственникам в Лос-Анджелес.

Они встречаются в сауне стадиона ЧМП. В солнечный и ветреный апрельский день три автомобиля останавливаются возле чугунных решеток стадиона. В багажниках сумки со спиртным, сухой колбасой, сыром, конфетами. Эммочка приезжает с Поплавской в машине Нахова. Вадик в другой, с совсем еще молоденькой, неоформившейся девочкой, в глазах которой испуг мешается с пороком.

Эммочка и Вадик незнакомы, но уже виделись, и здесь сразу замечают друг друга.

Еще через час-полтора, когда Поплавская и Нахов обливаются друг у друга в объятиях стоградусным потом, Эмма и Вадик оказываются рядом в небольшом бассейне. Они, кажется, не замечают происходящего вокруг, их глаза говорят им о взаимном влечении, и это нечто большее, чем желание, которое можно удовлетворить здесь же, без лишних хлопот и каких бы то ни было осложнений.

Они покидают сауну вдвоем, ни с кем не прощаясь. Выходя, они видят спящую на диванчике в фойе маленькую спутницу Сафира. Она лежит со спутанными мокрыми волосами, зажав между худых коленок бутылку от шампанского и держась за ее горлышко обеими руками, отчего напоминает летящую на метле молоденькую ведьму.

Что заставляет Эммочку на протяжении долгих недель, держась за руки, ходить с Вадиком по ставшему чужим и не-

уютным городу или обниматься на скрытых глубокой тенью скамейках Приморского бульвара? Может быть, слепой инстинкт подсказывает ей, что пора замуж? И по-настоящему, то есть со штампом в паспорте? Или само замужество видится ей таким же престижным делом, как приобретение кожаного плаща с маркой «Нина Риччи» или бриллиантовых серег? Или же чувство, которое возникает в ней при знакомстве с самим Вадиком и заочном представлении о жизни его здешних и зарубежных родственников: прикидываешь, она выходит после дождя на улицу, а там на деревьях сидят колибри! Она чисто выпала в осадок! — это чувство нищего, стоящего перед богатым особняком, в высоких окнах которого горит яркий свет, и даже сюда, за ограду со львами и швейцаром в ливрее, долетает музыка и шум недоступного праздника.

Она держится за Вадика изо всех сил. Обжигая его влажным дыханием, она шепчет ему такие слова, которых он не читал ни в каких книгах, не слышал ни в каких фильмах и от которых у него тихо кружится голова. Когда его родители уходят на вечер к друзьям или на какой-нибудь концерт, они врываются в пустую квартиру и удовлетворяют сжигающую их страсть без особой выдумки, но с молодым азартом и до полного изнеможения. Когда Эммочка приходит в себя и ее взгляд способен выхватить из роения огненных зерен бронзовую отделку дорогой мебели, плотные ряды книг, блики света, вспыхивающие на гранях хрустала, ковры, она издает глубокий и мучительный стон.

Скорее всего именно эта неустроенность интимных отношений, а не прозрачные намеки и клятвы Эммочки, именно этот невыносимый разрыв между их редким постельным счастьем и бестолковым хождением по улицам и сиденьем на бульваре, заставляют Вадика завести с родителями разговор о женитьбе.

Татьяна Михайловна Сафир, сорокалетняя брюнетка, преподающая английский язык в художественном училище, уже побывавшая «там» по приглашению двоюродного брата и теперь свое пребывание «здесь» воспринимающая как

временное недоразумение, выслушивает сына с нарастающим недоумением, переходящим в возмущение:

— Не понимаю! Какая сейчас может быть женитьба! Это же значит, что надо будет переделывать все документы или вообще прислать новый вызов. Нет, извини меня, но я не собираюсь сидеть здесь еще неизвестно сколько!

Михаил Лазаревич Сафир, судья международной категории по волейболу, двадцать лет назад выходявший, выбивший и выкупивший свою супругу у более молодых соперников и навсегда влюбленный в ее худощавые ноги, полную грудь и прозрачной голубизны глаза, в ее глубокий голос и смех, которые и сейчас заставляют его сердце сжиматься от тревоги, внешне, как всегда, невозмутим и рассудителен:

— А зачем тебе жениться на ней? — в одних спортивных брюках он полулежит на диване с сигаретой в одной руке и пепельницей в другой. — Что, так нельзя?

— Судя по бижутерии, которую я постоянно нахожу в своей постели, «так» они уже давно и вполне успешно, — замечает мать.

Кровь приливает к лицу Вадика.

— А кто она? — щурясь, отец выпускает дым, сбивает пепел.

— Человек, — более толкового ответа Вадик не может дать при всем желании.

— Мне кажется, что человека можно найти и там.

С досадой Вадик думает, что отец и на этот раз прав.

Но Эммочка не прекращает своих атак, своих обжигающих слух признаний, своих любовных восторгов и обмороков, и в середине июня, когда старшие Сафиры перебираются на дачу, они тайно расписываются. За скромную взятку в размере пятидесяти рублей их с заговорщицкой скоростью пропускают между двумя пышными, в белом газе и черном габардине, шестивиями, и большая мечта Эммочки сбывается — в ее паспорте появляется большой квадратный штамп и в нем ее новая фамилия — Сафир.

Свидетелями на этом событии выступает, как нетрудно догадаться, Поплавская и Нахов.

— Все, — устало говорит Эммочка своей уже толстой и некрасивой подруге, с ногами забравшись на ее замусоленный диванчик. — Я думала, что этого уже никогда не будет. — Она выпускает струю дыма, отпивает из чашки шампанское. — Теперь отвалю вместе с ними. Никуда не денутся.

— А если они тебя не впишут в вызов? Это же зависит от его мамы?

— Так он пришлет новый сам. Мы же теперь прямые родственники. Имеет полное право.

Вадик с Аликом пьют на застекленной веранде.

— Чувачок, — говорит Алик, — она клевая чувишка, я тебе отвечаю. Ты не пожалейшь.

Вадик улыбается счастливо и глупо.

В начале сентября Сафиры получают разрешение на выезд и в доме начинается нехарактерная для него суэта. Распродаются мебель, книги, ковры, хрусталь. Часто хлопает дверь, впуская и выпуская покупателей и друзей, тех, кто еще только ждет своего разрешения на выезд, и тех, кто остается здесь навсегда. Эммочку как бы не замечают, и открытие того, что они с Вадиком расписались, кажется, никого не трогает. Она чувствует себя, как кошка, которую в связи с переездом решено оставить на старом месте, ибо дорога слишком длинная.

Ночами она терзает Вадика слезами, душераздирающими вздохами и бесконечно повторяющимися вопросами:

— Вадюня, золото мое, мой самый родной в мире, скажи мне, ты пришлешь мне вызов, а? Я не хочу здесь оставаться, слышишь, я умру здесь. Ты слышишь, что я говорю?

— Ой, какая же ты нудная, — говорит Вадик, уже насытившийся за летние месяцы своим законным владением и теперь на глазах становящийся все ленивее и раздражительней, — я же сказал — пришлю. Спи.

Сафиры уезжают на Октябрьские, и в их опустевшей квартире в последний раз собираются друзья. Они сидят среди голых стен на одолженных у соседей стульях и табуретах и поднимают тосты за праздник, который, слава

Богу, им больше никогда, разве что ради смеха, не придется праздновать. Они пьют за любовь, за молодость, за дружбу и, утирая слезы, добавляют, мол, ничего, не страшно, Бог даст, они еще встретятся и, как раньше, посидят за столом с Танюхиными салатами, холодцом, кроликом в сметане и «так это будет в Калифорнии, ты же понимаешь!»

Бедная наша Эммочка! Как сказано известным персонажем, она чувствует себя чужой на этом празднике жизни. И она умереть готова, когда румяный и лысеющий толстячок с лоснящимися от жира губами, кивнув на нее, спрашивает у хозяйки: «Таня, а это кто, а?», и та, уже захмелевшая, счастливая и несчастная одновременно, пожав плечами и промокая уголком салфетки потекшую с глаз тушь, отвечает, не заботясь о том, услышат ее или нет: «Леня, кто это? Спроси меня что-то полегче!»

Из белой наховской кровати Эммочка разговаривает по телефону с Веной, потом с Римом. Что-то не ладится там у ее Вадика, на что-то не хватает денег, какие-то непонятные бумаги нужно дооформить, и Алик, стригущий рядом ногти в позе мальчика, вынимающего из ноги занозу, и от усердия показывающий кончик языка, замечает:

— Мамка, ну подумай сама, зачем ты ему там нужна, когда там есть абсолютно все и недорого?

Нет, еще до Нового года приблизительно, она не может поверить, что ее самый родной в мире Вадик, на которого она поставила все, что у нее было, даже, можно сказать, — всю себя, так низко, так пошло, так дешево провел ее.

Отъездная эпидемия восемьдесят седьмого охватывает город с губительной скоростью. Едут все или почти все, кого она знает. Те, кто не едет, ждут вызова или случая переправить на Запад свои данные. Совершенно не поддающееся счету количество людей, как одна затосковавшая от небогатой и затхлой провинциальной жизни девочка, бросает все с трудом нажитое и двигается туда, где кипит неведомая, но обязательно прекрасная и счастливая, как сон, жизнь.

Еще один дом пустеет на ее глазах. Из него выносят боль-

шие и мягкие кресла, японский телевизор, видеомэгафон и наконец белую арабскую кровать, которая в порыве отчаяния цепляется своими собачьими ножками за дверь и долго не отпускает ее. Около месяца Эммочка спит с Наховым на сложенных на полу одеялах, и вид обнажившихся стен и близость ничем не прикрытого пола заставляют ее сердце сжиматься от тоски. Ей кажется уже, что не Сафир и не Нахов, не множество других ее знакомых уезжает от нее, а сама жизнь тронулась с насиженного места и перебирается на новое, лучшее.

— Господи, — говорит она, сидя на полу и держась руками за голову, — это кошмар, эти подонки уезжают один за другим и оставляют меня здесь одну! Нет, это просто какой-то маразм, они наверное думают, что как только они прилетят туда, все американки им тут же раздвинут ноги!

— Мамка, — говорит Нахов, сидящий за кухонным столом и заполняющий какие-то бумаги, — если это будет не сильно дорого, я пришлю тебе этот вызов.

— Забожись.

— Божусь.

— Да, один уже божился...

Проводив Нахова, она снова перебирается к Поплавской. Иногда ей кажется, что у нее начинается или уже началось какое-то помешательство. Она подолгу не может собраться с силами и выбраться из постели. Часами она неподвижно сидит на кухне, наблюдая через пыльные стекла бессмысленное течение жизни в маленьком, мощном булыжником дворике с водопроводной колонкой в центре. Потом приходит с работы Поплавская. Закидывая толстые руки, стаскивает с себя один за другим свитера, достает из сумки продукты, готовит ужин. Поев, она устраивается боком у подоконника и, достав из лифчика целлофановый пакет с деньгами, аккуратно раскладывает их кучками. Подсчитывая что-то на клочке бумаги, она беззвучно шевелит губами. Закончив подсчеты, поворачивается к подруге.

— Дура, иди работать. Бабки будут. Жить будешь как человек.

Когда Эммочка выходит на улицу, по тротуарам метет поземка и она чувствует себя легкой и слабой, как после долгой болезни. Она пытается найти знакомых, но новые жильцы открывают ей старые двери. Когда уже темнеет, она заходит к Гаррику Мельману, игравшему в одном оркестре с Наховым. Полутемным коридором бесконечной коммунальной квартиры, в дальнем конце которого брезжит двадцатипятисвечовая, засиженная мухами лампочка, он проводит ее в комнату. Знакомая картина встречает Эммочку. Стопка чемоданов у стены, стол, два стула, детская кровать, матрас. С кухни возвращается новая жена Мельмана, полнотелая, с холеным лицом и нервными манерами.

— Гарричек, а зачем столько чемоданов? Или золото-бриллианты паковать?

Мельманша только вздергивает плечами.

— Я взял четыре костюма себе, — меланхолично объясняет худой, в бледно-салатовой майке с огромными проймами и спортивных шароварах с выдавленными коленями, Гаррик, — потом взяли Миле шубу, белье, посуду югославскую, казанки, там же у них нет казанков, ты знаешь? Что там еще? Детские вещи, икры черной, фоторужье, короче, все на первое время. Да, звонил Нахов, сказал, имеет смысл взять пятисоткратный бинокль. Мила, ты слышишь?

— Гарричек, а еще что он говорил?

— Сказал, чтобы все валили отсюда пока не поздно. Что он еще мог сказать?

— А для меня он ничего не передавал?

— Для тебя? Мила, он что-то передавал для нее?

— Что ты меня спрашиваешь? Ты же с ним говорил.

Эммочка поднимается, чтобы уходить.

— Эмка, выпей же хотя бы чаю. Мила, почему ты не поставила чай?

— А я знала, что ты будешь его пить?

Стоя в приоткрытых дверях, Гаррик наблюдает, как Эмма поступательно погружается в темноту узкой железной лестницы. Сердце его дает болезненный сбой.

— Так ты зайди еще, пока мы здесь. Эмка, ты слышишь?

— Да, обязательно.

Она даже не оборачивается.

— Знаешь, — говорит она Дане, с которым случайно сталкивается на улице и который приводит ее к себе, — у меня такое ощущение, что я скоро должна умереть... честно... будто жизнь уже подошла к концу...

— Это возьястное, Эмка, — успокаивает он ее, — когда мне быё двадцать, я тоже думай, что в тьидцать умью. С годами это пьёходит. Ты не думай, что есьи ты сваишь, так тебе это сийно поможет. И потом, кем ты там будешь, ты подумая?

— Проституткой я там буду! — как бы шутит Эммочка, попадая в десятку пугливых Данечкиных догадок.

— Сумасшедшая! — отмахивается он, изображая полную уверенность в том, что она шутит.

— Ой, Даня, мне бы только вырваться отсюда.

— Может ты и пьява. Еще фьяея своего маёетнего там встьетишь. Съязу в суд подавай. Я, кстати, узнавай, по их законам он тепей тебе всю жизнь аименты пьятить дойжен.

— А, брось! Зачем мне его деньги? Лучше бы жила с ним.

— С ним! Жия! Ну, я не знаю...

Спустя некоторое время, когда Данино возмущение Эммочкиной беспринципностью понемногу утихает, он делает робкую попытку направить ход их встречи в горизонтальную плоскость, но Эммочка только отмахивается:

— Ты что, я даже думать об этом не могу!

Через минуту она уже собирается.

— Все, Данечка, я побежала, а то Поплавская рассветится снова.

И действительно, очень скоро и по вполне понятным причинам Поплавская становится раздражительной, и дело заканчивается оглушительным скандалом.

— Прошмандовка! — кричит Поплавская хорошо натренированным голосом. — Ты думаешь, нашла дурную, которая будет кормить тебя на шару?

Привычно собрав вещи все в ту же нейлоновую сумку-баллон Эммочка хлопает дверью так, что безучастный к человеческим страданиям и уже несколько поблекший артист Михалков облетает с нее, как закончивший свою жизнь осенний лист. Эммочка уезжает в Измаил, где находит уже не первую неделю ожидающийся ее, присланный Наховым вызов. Настоящий израильский вызов в длинном и узком белом конверте с пергаментным окошком, где латинскими буквами написана ее новая, принесшая ей так мало удачи, фамилия — «Safir».

— Эмма! Ты можешь объяснить, что это такое?! Мы с папой должны знать!

— Мама... господи, почему же вы не сообщили мне сразу?

— Эмма! Неужели ты сделаешь это?!

— А я так и знал, что этим кончится, — отбросив газету, отец выходит на кухню и здесь окутывается клубами едкого дыма, — с-сука малая, туда тебе и дорога! С-сука, негры тебя еще не пилили!

Далее следуют скандалы разной степени накала, проклятия, униженные просьбы денег на билет, попытки одолжить нужную сумму у почти забытых друзей, собирание документов, питье корвалола всей семьей, тайные слезы в трех разных углах квартиры и изматывающе-тягучие монотонные дни в ожидании отъезда.

В эти весенние вечера мы можем заглянуть к двум навсегда остающимся в своем городе нашим персонажам: Дане и Поплавской. Первый, закрывшись в редакции, отмечает с шефом аванс. Здесь всегда отмечаются дни получения денег, календарные праздники и события личной жизни. Скинувшись по десятке, два журналиста любят пооткровенничать за бутылкой водки. С годами, правда, темы для откровений иссякают и остается только формальная сторона традиции. Данин шеф — грузный мужчина лет сорока по фамилии Созлов, добившийся в жизни всего, чего мог, и больше ничего не хочет (хотя, возможно, и наоборот: добился всего, что хотел, и больше ничего не может). На рас-

стеленной между Созловым и Цацем газетке остатки купленного в заводском буфете цыпленка, хлебные корки, пустая банка от кабачковой икры и приконченная поллитровка. В кабинете темно, но обоим лень подниматься, чтобы включить свет. Время от времени вспышки газосварки за окном (работает ночная смена) освещают комнату белыми сполохами, и тогда на потолке отпечатываются два черных силуэта с прозрачно-полосатой тенью бутылки посередине. От выпитого Данины чувства обострены и сердце сладко побаливает.

— В пьинципе я даже хотел на ней жениться, — продолжает он после паузы давно начатый разговор, — но, стаик, посуди, что у меня? Сто тьидцать и съей поюподвай — несейезно... — он вздыхает, — а она пьесто и очень центъёвая, стаик...

Очередная вспышка вырывает из мрака Созлова, глядящего на Даню мутными неподвижными глазами.

— Все очень пьесто, девчонка помыкаясь здесь два ии тьи года, не нашъя себе ноймайного чеёвека и вот езуйтат — она сваивает.

— Так ты спал с ней? — интересуется Созлов.

— Ну что ты, стаик, я же говою тебе, мы жи и как муж и жена. Не все вьемя, конечно. С пееывами... — Дане становится тяжело говорить, ком распирает горло. — Стаик, знаешь, это быя ючшая женщина в моей жизни... точно... может быть, есьи бы тогда я пьедъёжий ей ясписаться... да, да, ясписаться, все как-то поменяёсь бы и у нее и, может быть, у меня... — он шумно тянет носом прокуренный воздух, — никогда себе этого не пьещу, никогда... — голос его срывается на шепот.

— Сваливай тоже. Догонишь ее там.

— Поздно, стаик. Как говоится — поезд ушей, — Даня глубоко и прерывисто вздыхает. Достав из кармана брюкскомканый платок, чистит нос. — И потом, понимаешь, есьии бы я еще не писай... Не хочется употребьять высоких сьйов, стаик, но твойчество, — он складывает платок

и прячет его, — да, да, вот эти самые, никому не нужные стишата — это стьяшная штука, самоубийство в своем ёде. От них никуда не уедешь, никуда...

Скоро они покидают редакцию. Созлов, зажав между колен портфель, долго скребет ключом по двери, пытаясь найти замочную скважину. Даня невдалеке, пользуясь темнотой, мочится в урну. Потом, придерживаясь за стены, они идут долгим черным коридором, спускаются по невидимой лестнице и, стараясь держаться поровнее и с достоинством, минуют вертушку проходной, не замечая насмешливых взглядов вахтеров. На улице Созлов достает папиросы, а Даня, прикрыв огонек ладошкой, дает подкурить.

— Ну, бывай, стаичок.

— Давай. До завтра.

Приблизительно в это же время в другом конце города Поплавская, уже разложив аккуратными кучками банкноты на подоконнике, ужинает. В одной руке у нее большая чашка кофе, в другой — длинная шестикопеечная булочка, равномерно покрытая творогом. На Поплавской одна ночная рубашка с многочисленными прорехами на швах. Откусив от булки большой кусок и запив, она неотрывно наблюдает за происходящим на подрагивающем экране телевизора, где футболисты беззвучно гоняют мяч. Гол. Футболисты, сбившись в кружок, обнимаются. Момент гола повторяется. Вратарь, вытянувшись в струнку, пересекает строго по диагонали прямоугольник ворот, но мяч, опередив его, проскальзывает в незащищенный уголок. Повтор. Вратарь снова отправляется в свой геометрический полет. Поплавская откусывает, запивает, пережевывает... Доев, ставит чашку на телевизор. Веки наливаются тяжестью, в глазах появляется резь. Надо протянуть руку, чтобы выключить телевизор и перебраться на диван, но сил нет оторваться от табурета. Глаза закрываются, и тяжелое тело опасно накрывается, грозя выйти из состояния равновесия. Вздрогнув, она открывает глаза и выпрямляется — диктор у карты тщится сообщить последние новости — веки тяжелеют, закрываются...

Ночь. Волшебная майская ночь накрыла землю. Ночь, когда ностальгия по безвозвратной юности разрывает сердца безразличных супругов в холодных постелях. В эту ночь Эммочка в своем старом домашнем халате, с сигаретой в руке сидит на балконе. Родители уже закрыли дверь своей комнаты. В небольшом дворике бродит сирень. Неясные образы сменяют один другой в бессонном сознании Эммочки. Далекий летний вечер встает перед ней. Они с Поплавской в машине Нахова ждут прогулочный катер. Они пьют из горлышка обжигающий рот коньяк, заедают шоколадом и покачивают ногами в такт музыке. «Кис-сез ин зе мунлайт...» — сладким, томящим соловьем разливается по ночи Бенсон. Светящиеся дорожки дробятся в густой, черной воде. Она видит белую, бурлящую пену, которая выбивается из-под кормы катера, толкая его мелковибрирующее огромное железное тело в сырой и теплый мрак и ощущает неопрятные от жадности губы Нахова. Она вспоминает свое первое головокружительное знакомство с арабской кроватью и утро в новой квартире: покрытое каплями воды тело Поплавской, прогнувшейся так, чтобы волосы свисали мимо плеч, махровым полотенцем сушащей их.

— Нахов, так кто лучше — я или она?

— Мамка, — отвечает, потягиваясь и хрустя суставами, Нахов, — вы чисто два сапога пара. Поставь кофе.

И первый острый укол ревности.

Тихие утренние завтраки и зной аркадийских пляжей, грязный перекресток Советской Армии, и тусклый свет Даниного полуподвала, упорное неприятие ее старшими Сафирами, и их первая ночь с Вадиком на верхней площадке мраморной лестницы спящего дома, когда она, вцепившись побелевшими пальцами в перила, тяжело выдыхает в такт пульсирующей в ней злой радости: «Нахов! Нахов! Нахов! Нахов! Козел! Козел! Козел! Козел!!!»

Сидя на своем балконе и глядя в пустоту, она улыбается. Вся ее мгновенная жизнь в Одессе, где в меньшей или в большей степени многократно пережиты порочная страсть, ревность, любовь, обман, разлука, практически все, чем

дано человеку насладиться и измучиться, — перед ее глазами впереди только чистый горизонт, на котором нет больше открытий и есть лишь огни повторения. Впрочем, именно к этому она и стремится. Равно, как друзья Танюхи Сафир, надеются еще раз поесть в Калифорнии ее салаты, холодец и кролика в сметане, так и Эммочка надеется пережить там все пережитое здесь, и все это, она уверена, будет еще ярче, еще глубже и еще прекраснее, как и все, имеющее место там.



Лия ВЛАДИМИРОВА

ЯВЬ И СНЫ АЛЕКСЕЯ ТЫБАШЕВА

«Паук — членистоногое животное, плетущее паутину», — прочитал Алексей Тыбашев в словаре Ожегова. «Пауки в банке, — читал он дальше, — о хищных злых и т.п. людях, борющихся друг с другом»... «Паутина — сеть из тонких нитей, получающаяся от выделения пауком клейкого сока. Опутать паутиной лжи»...

Алексей и без словаря, сам часто говорил, что в его прошлой жизни, в Москве, у него на работе — люди точно в паутине. Да и здесь (он работал инженером на одном из израильских заводов) почти то же самое. Да и не только на работе, а вообще вокруг. Когда он бывал в подпитии, то говорил, что и дом, в котором его квартира, и район, где он живет, и город, и страна, и весь мир, и все люди — от маленьких детей до дряхлых стариков — все опутано паутиной лжи. Паутиной... Когда он дома замечал на столе, на стене, на полу какое-нибудь насекомое (хотя про паука ска-

зано в словаре, что он «членистоногое животное»), Алексей вздрагивал: не паук ли? И звал на помощь жену:

— Леночка, тут ползает что-то паукообразное!...

Жена кидалась на зов, поспешно выбрасывала насекомое: иногда это бывала гусеница, а чаще — мотылек, бывший о зажженную лампу. «Экое паскудство, мерзость», — бормотал Алексей. У него было отвращение к любым насекомым, даже и к муравьям, и к майским жукам, но паук вызывал уже не только отвращение, а прямо-таки ужас, почти мистический. Так было с тех пор, как Алексей себя помнил, а почему — он не знал.

Была у Алексея и еще одна стойкая неприязнь: старость, старики. С детства. Оно прошло в коммунальной квартире, переполненной древними старухами, которые шепелявили что-то, мигали слезящимися глазами, дребезжали крышками кастрюль.

Он боялся состариться, часто и придирчиво смотрел на себя в зеркало. Годы шли, но еще не давали о себе знать, а здесь, в Израиле, вдоволь напиваясь фруктами и овощами, почти круглый год купаясь в море, он даже как будто помолодел, посвежел, постройнел. Слегка лысеющий, светловолосый, с голубыми морозными, как небо в марте, глазами — его взгляд слепил, когда он смотрел в упор, с молодыми не по возрасту лицом и крепким телом — он всем видом обещал долгую энергичную жизнь и старость, если она когда-нибудь придет, то свежую, бодрящую, без одряхления.

По поводу старости и стариков он часто говорил с женой и всегда — тоном осуждения, будто старые люди были виноваты в том, что с годами не молодели. Жена несколько лет проработала в Израиле врачом-терапевтом в доме для престарелых, а теперь она работала в месте, тоже для Алексея крайне неприятном: в психиатрической больнице.

По поводу стариков жена говорила:

— Я их люблю даже больше, чем детей. У детей — все еще в будущем, а тут — все позади. Люблю снимать напряжение, помогать...

Слова жены ничего не изменяли: Алексея угнетал самый вид старости.

— Экий, Леночка, хрыч, — говорил он жене, встречая на улице какого-нибудь старика. — И как семенит, будто ноги у него связаны.

— Очень милый дедушка, — отвечала она. — Дедуся...

— Это старичье, Леночка, мне с детства по ночам снится. И в тюрьмах, и в лагерях за проволокой я их навиделся вдоволь. И до чего же много кругом этого старья! Сидели бы у себя по домам. Нет, красуются. Вот погляди, опять идет старая перечница...

— Старушка, — кивала жена.

— Старуха... — бормотал он едко. — Развалина... Рухлядь...

— Не надо так говорить, Алеша. И мы такими будем...

— Т а к и м и мы не будем. Ты только посмотри на эту старую ведьму, на эту хрычовку, — показывал он на проходившую мимо старуху. — А еще и вырядилась в пух и прах!

— Очень милая бабуся, — отвечала жена.

— Район, что ли, у нас такой? Куда ни глянь, куда ни плюнь, шагу не ступишь, чтобы не наткнуться на старикашку или на какую-нибудь старую каргу. Везде они... Погляди-ка вот на эту: песок сыплется, а туда же — брючки надела, губы нарасила...

— Надо, Алеша, уважать преклонный возраст, — говорила жена. — Когда я работала в доме для престарелых...

— Об этом лучше не будем. Я был там, видел, когда заходил за тобой. С меня, Леночка, достаточно.

— Может, и мы с тобой когда-нибудь там окажемся. А что? Детей у нас нет, да если бы и были... Многим детям родители только в тягость, вот и уходят старички и старушечки в дом престарелых. И им там совсем не так уж плохо. Уход, хорошее питание... Постоянно медицинское наблюдение... Только вот душевного ухода маловато, надо прямо сказать. И это очень грустно. А все же там лучше многим из них, чем было бы у себя дома — в полной беспомощнос-

ти, в полном одиночестве. Они бы просто не выжили... А так — все таки живут, доживают свой век... Может, и нам так придется...

— У меня есть ты, — говорил он и под слепящим его взглядом она опускала глаза. — Так что мне это не грозит. Ведь ты никогда меня туда не засунешь? Даже когда я, допустим, постарею? — он старался говорить шутливо, но в голосе его было непонятное для него самого затаенное беспокойство.

— Нет, конечно! А ты меня? — она брала его под руку, притягивала к себе.

— Ну, ты-то моложе. Но, конечно, даже если бы ты превратилась в милый божий одуванчик или в славную божью коровку, я бы тебя любил так же, как сейчас.

— Но вообще-то, Алеша, мне твое отношение к старости очень не нравится. А ведь мы с тобой оба любим все старинное, прадедовское, многовековое... Помнишь, как мы ездили в Загорск? И в Суздаль, и во Владимир... Такая старина, благолепие, красота...

— Согласен. Но я не виноват... это у меня, видимо, физиологическое... я не виноват, что не люблю старость и стариков.

— На Руси были да, верно, и сейчас есть старцы... Святые старцы. К ним за советом ходят, за помощью...

— Знаю, — с досадой говорил он. — Я — не о них. В тех старцах — свет. А эти старикашки и старушонки пронырливы, в суету погружены. А другие — из тех, которые, как говорится, мышей не топчут, впали в слабоумие, в полный марзм. Был я там у вас, в этом самом доме, видел.

— Алеша, ты говоришь, как недобрый человек. И мне очень, очень жаль, что ты — именно ты! — так говоришь.

— Ну, а как твоя теперешняя работа? — со странной скрытой тревогой спрашивал он.

— Больница как больница...

— Не больница, а психушка. Давай называть вещи своими именами. Там ведь помешанные. Они ничего не сообщают.

— Как знать, может, они, Алеша, страдают больше нас. Они живут в своей замкнутой системе. Каждый из них в своей собственной, отличной от всех других, замкнутой системе. Что они и как думают, как воспринимают мир? Мы не знаем. Это меня очень огорчает. Очень. Мы не можем пробиться к ним, а они — к нам.

— Некоммуникабельность, — кивал он. — Но, может, так и лучше. Только еще не хватало заглядывать в их кошмары... Я бы там работать не мог, хоть озолоти. Может, у них перед глазами — в виде навязчивой идеи, навязчивых образов — трясущиеся старики, вцепляющиеся в них мертвой хваткой, и еще — искаженные в гримасах лица... Лица таких же сумасшедших, как они сами, и еще, может, пауки... Перевернутый мир. Мир абсурда и притом — зловещего абсурда. Помешанных вполне можно бояться. Мало ли что им на ум придет?

— Их можно и нужно жалеть...

— А я бы боялся...

Алексей и в самом деле боялся. Но не помешанных в психиатрической больнице, — к ним он не имел никакого касательства. Боялся в глубине души себя: вполне ли он здоров? «Трудно, — думал он, — пройдя сталинские тюрьмы и лагеря, — а он отбыл срок от звонка до звонка, и ссылка должна была быть вечной, — трудно выйти оттуда с абсолютно неповрежденной, ненадломленной психикой. Выйти душевно и духовно здоровым...» Может, он болен? Конечно, не в такой степени, чтобы его скрутить и изолировать, но все-таки... Ведь есть аномалии, незаметные для постороннего глаза. Его страх перед пауками, например... Его страх перед человеческим дряхлением... Страх перед состоянием собственной психики... Ведь ему иногда кажется, что за ним следят. Конечно, он старается отбросить эту мысль: «Служка за мной? Здесь, в Израиле? Какая нелепость...» А иногда подступает подозрение, что к нему домой кто-нибудь нарочно подбросит пауков. Или — вдруг подумается ему — вдруг к нам вселят какую-нибудь бездомную

старую каргу, страшную, как смерть, или какого-то уже потустороннего трясущегося старичишку. Этими страхами, сознавая их необоснованность, он с женой не депипся. Иногда ночи напролет он лежал без сна, и у него от необъяснимого страха, от каких-то тяжелых, казалось бы, ничем не вызванных предчувствий начинали стучать зубы, как в ознобе. Его и в самом деле начинало знобить. Его натруженная, иссеченная ветрами и снегами крайнего Севера память вызывала картины прошлого. Лагерь — с номерами на спине, для особо опасных политических преступников. И — долагерные события тоже перед ним раскручивались. Тюрмы, тюрьмы, допросы... И еще было там, в глубинах памяти, лицо его школьного друга Ильи — юное, детски-открытое, доверчивое: не Илью даже, а Илюша... Илюша, как и он, Алексей, юнцом пошел на фронт. Был тяжело ранен, пролежал много месяцев в госпиталях. Когда Алексей вернулся с войны, они с Илюшей встретились и как-то сизнова, накрепко сошлись. Поступили в один и тот же институт, оба были вырваны из института внезапным арестом. А до ареста оба влюбились в одну и ту же девушку. Признались в этом друг другу. Решили: пусть выбор будет за ней. Она отвергла и того, и другого. Оба друга вздохнули с горечью, но и с облегчением. А потом... потом... вызовы на Лубянку и вскоре — арест.

Вот этого отдела памяти, связанного с Илюшей, он предпочитал не касаться, не беречь. Даже когда ночью лежал без сна и у него от непонятного страха, как в ознобе, стучали зубы.

Как его угнетал, давил страх, что он болен! Помешанные для него были все на одно лицо, все — отторгнуты обществом, заперты на семь замков, выкинуты из жизни. А что... а что если его страхи будут прогрессировать? Так трудно сдерживать себя, а надо: и на работе, и дома, при жене. Столько лет пережитое не давало о себе знать, а все же он получил сполна тюремно-лагерное наследство: страхи, подозрительность... Словно взорвалась бомба замедленного

действия. И такое чувство, будто опять надо оправдываться в чем-то, надо кого-то опасаться. «Столько во мне чего-то нездорового, да, да... болезненно-едкого. И страхи... Такие непонятные, иррациональные, — думал он. — Чувство, будто за мной следят... Патологическая неприязнь к старости... Назойливые мысли о пауках... А может, я уже — полумный, чокнутый, тронутый?..»

Алексей встречал людей, которые вышли из лагеря с поврежденным рассудком. «Вот и я... Просто это не сразу произошло, а вот так, постепенно, постепенно болезнь, гнездившаяся во мне и не дававшая о себе знать столько лет, теперь вдруг подняла голову...» Ему казалось, что он идет к распаду личности. Он весь холодел. Твердил себе: «Не дай мне Бог сойти с ума»...

Ему снились кошмары. Он видел себя в своих снах всегда в каком-нибудь безобразном, отталкивающем облике. Часто он видел дряхлого, изношенного старика, и стариком этим был он. «Бывает, — думал Алексей, проснувшись, — плодородная старость. Мудрая. С острой разбуженной мыслью в глазах, с растревоженной совестью, со светом. А бывает... гнилая, с погасшими глазами, когда остается только истертая оболочка, а души совсем не видно. Не человек, а какой-то призрак мгlistый, тень бывшего человека. Но ведь я совсем не такой. Почему же я вижу себя таким во сне? И этот сон повторяется. Там, во сне, я как будто гляжу на этого старика со стороны, но при этом знаю: старик — вот такой, самый старый из всех, которых я встречал в жизни, это — я... Иногда мне снится, что старик этот (то-есть я!) улыбается, и обнажаются пустые десны и редкие зубы-гнилушки, но дело даже не в этом... Дело в том, что улыбка очень уж едкая, ядовитая даже. Мертвящее злорадство какое-то в этой улыбке и какой-то особенный, вредоносный сарказм озлобленного бывшего человека. Будто старик — то есть я! — этой своей гнилой улыбкой брюзгливо и язвительно говорит: «Улыбайтесь, улыбайтесь, кхе-кхе, придет и ваше время»... И все лицо этого старика — то есть мое ли-

цо! — там, во сне, точно гриб-поганка. Нет, поганка и та лучше: она живая, лесная...»

А иногда он видел себя во сне с пустыми, но исступленными, большими глазами невменяемого человека. Этот сон тоже повторялся часто. И голос слышал — свой голос:

— Меня все предали, все предают. За мной круглосуточно следят. Жена хочет запереть меня в сумасшедший дом...

А то он видел во сне огромного паука, и пауком этим был почему-то он, Алексей.

Снился ему и темный подвал, куда он попадал вместе с женой, и она находила наконец какой-то пролом в стене, и они чудом выбирались на волю... Снилось длинная, знойная, пустая улица с домами без окон — безглазые серые стены, — по которой он бесконечно долго шел вместе с женой, и улица под конец всегда упиралась в тупик. И жена находила какой-то проем в стене, откуда блестело небо, и они с трудом протискивались в этот проем и оказывались на выжженной земле, и шли по ней, и лютое солнце на глазах сжигало уцелевшие кое-где редкие травинки. А жена видела впереди оазис, и хотя он уверял, что это всего лишь мираж, настойчиво звала его туда и говорила, что впереди — чудесный сад, и свежие струи, и цветы, и апельсиновые, и лимонные деревья. А он отказывался туда идти, считал, что не заслужил такого полного счастья, которое перед ним разворачивала жена, садился на выжженную землю, и тогда жена тоже садилась рядом с ним. Прильнув к нему плечом, она говорила, что ей без него этого сада не нужно, что и от цикламенов, и от нарциссов — а они и без того какие-то морозные, — потянет ледяным холодом, если она останется в этом саду одна, без него, и на что ей — без него — все эти райские кущи?

И просыпался... А когда засыпал, то опять видел кошмары.

«А может, — подумал он в одну из бессонных ночей, — все, что со мной творится, это мне наказание за Илюшу? Я ведь выдал его, я назвал его фамилию, когда следователь

начал на меня наседать. Правда, следователь пообещал, что я и он — оба пройдем только свидетелями по делу об «антисоветской организации», но все равно, ведь я его называл... И Илюшу арестовали. Как и меня. Но я вышел из лагеря, а он нет. Он там умер...»

Он продолжал думать: «Если бы Илюша меня простил, то эта рана, которая болит более сорока лет, закрылась бы, зарубцевалась. Но Илюши нет...» Алексей повернулся на бок, обнял спящую жену и постарался ни о чем не думать. Но одна мысль все-таки была: кончена его жизнь или еще продолжается, еще есть у него будущее?..

И однажды Алексей не выдержал. В одну из таких своих ночей (которые он мысленно называл «пыточными»), когда кошмары-сны перемежались с бессонницей, он разбудил жену.

Она открыла глаза. Алексей, сидя на кровати, смотрел на нее торжественно-мрачно.

— Прости, что не дал тебе выспаться перед работой. Нам надо поговорить.

— А что такое, Алеша? — из ее глаз глянуло беспокойство, которое она не успела скрыть, и робкий вопрос, и еще что-то... будто какая-то невысказанная просьба — как бы он не сказал чего-нибудь непоправимого, что должно будет их друг от друга отсечь: например, что он встретил и полюбил другую женщину.

— Нам надо поговорить, — повторил Алексей.

И он рассказал ей обо всем, что его терзало. И о ночных кошмарах. И о страхах. И об Илье.

— Я совершил предательство, — закончил он угрюмо. — И, вероятно, все, что сейчас со мной творится — запоздалая расплата.

Она как могла его утешала.

— Конечно, — говорила она, — назвав Илью, ты сделал очень плохой поступок, но ведь следователь обещал, что вы оба пройдете только свидетелями по делу. И ты попался на его удочку, поверил ему. У него свои способы, они

и не таких обламывали, а ты ведь был совсем мальчишка, тебе был только двадцать один год.

— У меня уже позади был фронт...

— На войне — как на войне. Там все взаправду. А к такой игре ты не был готов.

Она старалась рассеять все его страхи. Уверяла его, что люди, по-настоящему большие психически, совсем на него не похожи, она-то знает... Пыталась шутить: если он снится себе в виде паука, то почему заодно не снится в виде жабы, крысы, крокодила?

— Паук плетет паутину... — объяснил он.

— Да, ты иногда говоришь спьяну, будто весь мир опутан паутиной лжи. Хватит, Алешка, не дури... Пора вставать, уже утро.

— Ладно, — сказал он обреченно, — поговорили и хватит...

— Обещай, что будешь по-другому относиться к старикам. Если любишь меня. Когда я вижу совсем старенькую бабуся, я говорю себе: «Вот мое будущее. Если, конечно, доживу».

— Да... Если доживем. А как ты думаешь, Илья, будь он жив, простил бы меня?

— Ведь он был твой друг?

— Да.

— Я думаю, что друг бы простил. Он бы все понял. Я бы простила...

Как могла, она старалась ему помочь, и он это понимал. И в то же время понимал, что помощь ее далеко не всесильна. Она, жена, может на время успокоить его, смягчить боль, а исцелить — это уже не в ее возможностях.

Время подходило к семи утра.

Надо было вставать, завтракать и ехать на работу.



Феликс РОЗИНЕР

ВСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ «LA VITA NUOVA»

Послушай, милая моя,
Моих соблазнов бредни,
Мы едем в дальние края
До станции последней,
Соблазны освежают кровь,
Поездка остужает нервы,
Ты у меня последняя любовь,
Я у тебя, конечно, первый.

За окнами проплыл Париж
Паучьим Нотр-Дамом,
Спасибо, милая, что не винишь
За то, что улыбаюсь дамам,
А вот мелькнул уже Ла-Манш
Чешуйкой серебристой рыбки,
И взоры молодых мамаш
Вернули мне улыбки.

И Ледовитый океан
 Нам распахнул воротца,
 Я то ли счастлив, то ли пьян,
 С дремотой незачем бороться,
 Когда мы едем далеко,
 В купе тепло, уютно, тесно.
 И где могила Сулико,
 Доселе неизвестно.

А соловей поет в саду,
 В бокале винном тает роза,
 Свою волшебную дуду
 К губам подносит Чимароза,
 Его мелодия нежна,
 Летит, как пух из уст Эола,
 Еще любить осуждена
 Татьяна... Детство... Школа...

Наш юный хор прославил май,
 По листику собрал гербарий,
 Скрипя протезами, трамвай
 Везет нас в колумбарий,
 Мы там хороним голоса,
 Вставляем урны в ниши
 И так въезжаем в небеса,
 Став лучше, выше, тише.

Какой сияющий отель!
 С каким бесстыдством даль раздета!
 Испей, любимая, коктейль
 Добра и зла, теней и света
 И не смущайся же, — пойдем
 На узкую кушетку
 Разыгрывать на ней вдвоем
 Все ту же нашу шутку,
 И, погружая рот в вино

И в сон лицо свое, два слова
 Шептать в дыхание одно:

— La Vita Nuova...

4 февр. 1982

* * *

Жизнь моя вполне несносна
 И несносней будет вдвое.
 Все вокруг чересполосно,
 Небо вмешано в земное,
 Все вокруг такое тесто,
 Жить в Земле Святой так тесно,
 Что и Богу неизвестно,
 Есть ли у него тут место.

Жаром пышет автострада,
 Ароматом пышут рощи,
 Страстью — гневная тирада,
 Потом — старческие мощи,
 Мудростью сочится книга,
 А глаза над книгой — влагой,
 И проходит два-три мига
 Меж бездельем и отвагой.

Жить в безумье интересно,
 Жизнь — обыденная скука,
 Все несчастно, все чудесно,
 Как любви смертельной мука...

19 мая 1980

* * *

Птица-лира, лев с улыбкой,
 Взгляд прощенного Адама,

Тамариск на почве зыбкой
 Под ночным серпом ислама,
 Муэдзин зовет Аллаха,
 Иудей над Храмом плачет,
 Утром гойевская маха
 Локон свой переиначит,
 Маревая даль горбата,
 Шумно воду пьет философ,
 Под железо автомата
 Уложив вопрос вопросов, —
 Пей, дыши, залейся потом,
 Хлеб насущный добывая,
 За ближайшим поворотом
 Дверь обещанного рая,
 Пещи брошенного ада,
 Чуть шагнешь, разверзнут пасти,
 Трепет, лепет, сон, отрада,
 Все покорно двоевластью,
 Все подвержено сложенью
 Вождельенья и страданья,
 Неизбывно совершенье
 Страстного пути познания.
 И свожу я воедино
 Ад кромешный с райским садом, —
 Золотая сердцевина —
 Тайна тайн мерцает рядом...

24 февр. 1979

* * *

Что вы там ни говорите,
 Жизнь — свобода, а не плен.
 Будем жить, как на Таити
 Жил художник Поль Гоген:

Наедаясь утром плотно,
 Пропустив стакан вина,
 Будем сотворять полотна,
 В коих люди и страна:

Таитянки, сабритянки,
 Кактус, роза и песок,
 Блеск немислимый жестянки,
 Неба сладостный кусок,

Тень, цикада, авокадо...
 Глядя всякий раз в окно,
 Повторяю: и не надо
 Большого, чем нам дано.

29 дек. 1978

* * *

Они говорят: зима, —
 А мы: дождливое лето.
 Мы им о России: тюрьма, —
 Они — о красотах балета.

Мы видим чудесный кристалл, —
 Они — точный промысел Бога.
 Мы строим пред домом портал, —
 Для них и сарай — синагога.

Мы быть бы хотели детьми, —
 Они навсегда стали дети.
 Нас быт побивает плетьюми, —
 Они же — плывут в его сети.

Безумствуя, Истины дух
 Мы алчем в тоске безнадежной, —

Им здравая суть дважды двух
Единственно только возможна.

А вместе и мы, и они —
Два лика усталой идеи.
И кто из нас Храм в наши дни?
Несть эллина. Есть иудеи.

Окт. 1981

* * *

Мой друг Альфред — мир, замкнутый в себе.
Мой друг Альфонс — мир, замкнутый на женщин.
Мой друг Альберт — мир, замкнутый на вещи.
У каждого как будто по судьбе.

Я замкнут на зверей.
Тем более мне звери любопытны,
Чем больше разнятся повадкой своей
И склонностями более неслитны.

На праздничном лугу земной палитры
В каком соцветии пасемся мы!
В своих бе-ме, хрю-хрю, гав-гав, гмы-гмы
На удивление чужды и монолитны:

Скульптуры на траве: музеи на пленере:
Болваны, слепленные в той далекой эре,
Когда дремали чувства и умы.
И осень близится предвестием зимы...

Окт. 1981

* * *

Жизнь у Лошади — овесна.
У Коровы жизнь — сеновна.
У Писателя — несносна,
Потому что многословна.

Жизнь у Цапли — длинноносна,
У Жирафа — трехэтажна.
У Писателя — несносна,
Потому что вся бумажна.

Жизнь у Рыбы — безвопросна.
У Коралла — неподвижна.
У Писателя — несносна,
Потому что очень книжна.

Жизнь Людей — чересполосна.
Человек — судьбы ваятель.
Жизнь Писателя несносна,
Потому что он Писатель.

ГАРИКИ

*Игорь ГУБЕРМАН***ДНЕВНИК — 89****ГАРИКИ**

Здесь мое исконное пространство,
здесь я гармоничен, как нигде,
здесь еврей, оставив чужестранство,
мутит воду в собственной среде.

* * *

В отъезды кинувшись поспешно,
евреи вдруг соображают,
что обрусели так успешно,
что их евреи — раздражают.

* * *

Чтоб несогласие сразить
и несогласные закисли,

еврей умеет возразить
еще не высказанной мысли.

* * *

Из русских событий пронзительный вывод
взывает к рассудкам носатым:
в еврейской истории русский период
кончается веком двадцатым.

* * *

Евреев тянет все подвигать
и улучшению подвергнуть,
и надо вовремя их выгнать,
чтоб этой гадости избежать.

* * *

Прав еврей, что успеваает
на любые поезда,
но в России не свивает
долговечного гнезда.

* * *

Господь при акте сотворения
просчет в расчетах совершил
и сделал дух пищеварения
сильней духовности души.

* * *

Все наши поступки хотя и сложны,
но крашены смыслом одним:
мы живы, пока мы кому-то нужны,
хотя бы — себе же самим.

* * *

В мире лишь еврею одному
 часто удается так пожить,
 чтоб не есть свинину самому
 и свинью другому подложить.

* * *

Не внемлет голосу погоды
 упрямый ген в упрямом семени:
 терпя обиды и невзгоды,
 еврей блаженствует в рассеяньи.

* * *

Да, Запад есть Запад,
 Восток есть Восток,
 у каждого — собственный запах,
 и носом к Востоку
 еврей свой росток
 стыдливо увозит на Запад.

* * *

Смотрю на наше поколение
 и с восхищеньем узнаю
 еврея вечное стремление
 просрать историю свою.

* * *

Еврей не каждый виноват,
 что он еврей на белом свете,
 но у него возможен брат,
 а за него еврей в ответе.

* * *

Я верю, что Бог, наше время продля,
 добавит мне лет из широкой горсти:
 когда-то свой путь начинал я с нуля,
 а здесь до нуля еще надо расти.

* * *

Ах, как бы нам за наши штуки
 платить в дальнейшем не пришлось!
 Еврей! Как много в этом звуке
 для сердца русского слилось!

* * *

Шепну я даже в миг, когда на грудь
 уложат мне кладбищенские плиты:
 женитьба на еврейке — лучший путь
 к удаче, за рубеж, в антисемиты.

* * *

Душу наблюдениями грея,
 начал разбираться в нашем вкусе я:
 жанровая родина еврея —
 всюду, где торговля и дискуссия.

* * *

Азартная мальчишеская резвость
 кипит во мне, соблазнами дразня;
 похоже, что рассудочная трезвость
 осталась в крайней плоти у меня.

* * *

Слились две несовместных природы
под покровом израильской кровли —
инвалиды российской культуры
с партизанами русской торговли.

* * *

Евреи ловко и опрятно
с казной наладились шутить,
и блядь-еврейка спит бесплатно,
чтобы налоги не платить.

* * *

Еврейский дух слезой просолен,
душа — хронически болит;
еврей, который всем доволен, —
покойник или инвалид.

* * *

Умельцы выходов и входов,
сметливы, въедливы и прытки,
евреи есть у всех народов,
а у еврейского — в избытке.

* * *

По части веры — полным неучем
я рос, гуляка и ленивец;
еврейский Бог свиреп и мелочен,
а мой — распутный олимпиец.

* * *

У старости — особые черты:
душа уже гуляет без размаха,
а радости, восторги и мечты —
к желудку поднимаются от паха.

* * *

А ты подумал ли, стареющий еврей,
когда увязывал в узлы пожитки куцые,
что мы бросаем сыновей и дочерей
на баррикады сексуальной революции?

* * *

Прося, чтоб Господь ниспослал благодать,
еврей возбужденно качается,
обилием пыла стремясь наебать
того, с кем заочно встречается.

* * *

Я счастлив, что жив и неистов
тяжелый моральный урод —
мой пакостный, шустрый, корыстный,
настырно живучий народ.

* * *

Много сочной заграничной русской прессы
я читаю, наслаждаясь и дуряя;
можно выпустить еврея из Одессы,
но не вытравишь Одессу из еврея.

* * *

Время щиплет незримые струны,
и звучу я, покуда не сгину,
дни мелькают, как пятки фортуны,
а с утра она дышит мне в спину.

* * *

Зачем евреи всех времен
так Бога славят врозь и вместе?
Бог не настолько неумен,
чтобы нуждаться в реках лести.

* * *

Нельзя, когда в душе разброд,
чтоб дух нищал и чах;
не должен быть уныл народ,
который жгли в печах.

* * *

Присущая свободе неуверенность
ничтожного зерна в огромной ступке
рождает в нас душевную растерянность,
кидающую в странные поступки.

* * *

Живу я легко и беспечно,
хотя уже склонен к мыслишкам,
что все мы евреи, конечно,
но некоторые — слишком.

* * *

Он даму держал на коленях
и тяжело дышалось ему,
есть женщины в русских селеньях —
не по плечу одному.

* * *

За мудрость, растворенную в народе,
за пластику житейских поворотов
евреи платят матери — природе
обилием кромешных идиотов.

* * *

Неистово стараясь прикоснуться,
но страсть не утоляя никогда,
у истины в окрестностях пасутся
философов несметные стада.

* * *

Знаешь, поразительно близка мне
почва эта с каменными стенами;
мы, должно быть, помним эти камни
нашими невянущими генами.

* * *

На исторических, неровных
путях заведомо целинных
хотя и льется кровь виновных,
но гуще хлещет кровь невинных.

* * *

Я скроюсь в песках Иудейской пустыни
на кладбище плоском, просторном и нищем
и чувствовать стану костями пустыми,
как ветер истории поверху свищет.



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

УЖ БЛИЗОК ЧАС

Мысли о свободном рынке.

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ РЕЖИМА

Куда все-таки идет сегодняшняя Россия? Размышляя над этим вопросом, нынче мало кто отваживается на прогнозы. Слишком многие из них были перечеркнуты на наших глазах. Слишком стремителен оказался поворот советской истории.

Вспомним одно из первых выступлений Горбачева, когда он до небес возносил стахановское движение и торжественно клялся, что ни на шаг не отступит от завоеваний социализма. Это происходило в первый год перестройки и, естественно, сразу же вызвало подозрение: не есть ли сама перестройка очередная мистификация режима? Но шло время, и менялся облик прессы, которая стала себе позволять такое, на что никогда не решалась в прошлом. И все же в серьезность перемен еще трудно было поверить. «Да, ослабили узду в печати, но какая это свобода слова, если

нет свободы демонстраций». Когда разрешили демонстрации, сомневались, что будут открыты границы. Когда открыли границы, не верили, что будет свободная эмиграция. Но наступили другие времена и здесь. На выборах стало возможным выдвижение альтернативных кандидатов, которые нынче одерживают победу за победой. И наконец, режим — по крайней мере официально — отказывается от монополии КПСС.

Тут не место анализировать причины этих перемен, которые, кстати, осуществлялись нерешительно, со множеством колебаний и оговорок (закон об эмиграции не принят до сих пор), но в политике, в конце концов, важны результаты. И они-то как раз и наталкивают Запад на самые оптимистические оценки. Мы слышим голоса, что в России наступает новая эпоха, что советская система доживает последние дни. Но сами жители СССР, которых вряд ли можно обвинить в неосведомленности, совсем по-иному оценивают ситуацию. Они говорят, что реально в жизни общества мало что изменилось: коммунисты как правили страной, так и правят, обкомы как хозяйничали, так и хозяйничают, Госплан как спускал планы, так и спускает, пайки как существовали, так и существуют, просто болтать разрешили — вот и все.

Парадоксально то, что правы и те и другие. С одной стороны, перед нами безусловные демократические сдвиги, и все говорит за то, что в СССР как будто бы наступает эра свободы, с другой стороны: партия как стояла у власти — так и продолжает стоять. И что-то не видно, чтобы ее руководители под натиском демократии в панике покидали свои места. Или всемогущие обкомы передавали свои полномочия народным избранникам. Или КГБ отказывался от своих функций тайной политической полиции, на счету которой десятки миллионов человеческих жизней. Или начала демобилизацию армия — еще со сталинских времен славный оплот советской империи.

Мы привыкли говорить о жестокости советского режима, о его бесчеловечности и агрессивной сущности. Перестройка выявила еще одно его качество, которое вроде бы находилось вне поля зрения общества, — его колоссальную приспособляемость. Под режимом я имею в виду не только класс номенклатуры, который — воздадим ему должное — пытается также перестроить свои ряды в соответствии с духом времени, но и всю советскую систему в целом, которая, с одной стороны, трещит по всем швам, а с другой стороны, и прежде всего в том, что касается психологии людей, остается неизменной. Речь идет о людях на всех уровнях иерархии, во всех кругах советского общества.

«ЦК В ЗЭКА», ИЛИ МЕТАМОРФОЗЫ АППАРАТА

Начнем с номенклатуры, против которой, казалось бы, направлено острие перестройки. Как она воспринимает ее? Как относится к той сокрушительной критике, которая раздается в ее адрес со страниц перестроечной печати? Поистине тут наблюдаются любопытные метаморфозы. На память приходят примеры из сталинского и хрущевского прошлого, когда печать объявлялась «самым острым оружием нашей партии», и страх перед этим оружием разве лишь уступал страху перед Органами. Появление, например, в «Правде» фельетона Семена Нариньяни практически означало уничтожение того, о ком он писал, будь это даже самый всесильный член сталинской номенклатуры.

Когда в 1956 году «Труд» опубликовал передовую под заголовком «Вниманию министра Зверева» — о бюрократии, процветающей в министерстве финансов, — всерьез обсуждался вопрос о снятии Зверева с его поста. Когда Кардин опубликовал, кажется, в «Новом мире» свою знаменитую статью «Легенды и факты» о коммунистической мифологии, в кругах московской интеллигенции разыгралась буря, а Александр Кривицкий, автор легенды о 28 героях-панфи-

ловцах, едва не получил инфаркт. Тогда казалось, что отпусти вожжи и дай печати побольше свободы, как от режима не останется камня на камне.

Перестройка показала, что это была просто аберрация зрения, проистекающая от незнания жизнеспособности номенклатуры. Можно допустить, что с началом перестройки аппарат пережил шок. Отсюда эти панические речи Лигачева о необходимости остаться верными идеалам социализма. Но поскольку лозунги все более перебирались в сферу анекдотов, аппарат, спаянный круговой классово-партийной порукой, стал шаг за шагом приспособляться к новым условиям. И так перестроил свои ряды и деятельность, что, судя по всему, его больше не волнуют ни критика в печати, ни демонстрации и митинги, на которых раздается не просто критика — но проклятия в его адрес.

В Великобритании никто не принимает всерьез говорильню в лондонском Гайд-парке. Чего только не требуют там ораторы — от разгона Парламента до свержения монархии. Странное дело, но нечто подобное мы видим в СССР, где по всей стране идет (да простят мне это выражение!) всенародное толковище, к которому номенклатура, надо сказать, неплохо адаптировалась.

В одном из московских клубов прошли вечера под лозунгом «Цек в зэка». Не знаю, правда ли, но говорят, что одну из афиш занесло в отдел пропаганды, на Старую площадь, и там довольно весело над ней потешались: вот она, нынешняя реакция верхов на лозунги перестройки! Теперь уже и тон Лигачева переменялся, нынче он тоже за перестройку, и номенклатура в лучших ленинских традициях проводит в жизнь генеральную линию партии, направленную на демократизацию страны. И, если задуматься, нет в этом ничего удивительного. Просто классовые интересы аппарата лежат вообще в другой плоскости — не в плоскости бесконечных словопрений на разного рода демократических форумах и съездах, включая Верховный Совет и съезды народных депутатов, — пусть обсуждают, говорят, требуют,

голосуют, обвиняют — сфера интересов номенклатуры в другом: как сохранить за собой власть? За ее удержание аппарат стоит и будет стоять насмерть. Впрочем до смертельных схваток пока дело не дошло, ибо пока в стране существует централизованная, по сути своей сталинская система управления и хозяйствования, правящему классу ничто не грозит. Как ничто не грозит — при всех переменнах — самой советской системе и всем ее институтам: ее всеохватывающей бюрократии, централизованному планированию, аппаратному управлению и — что, может быть, самое примечательное — безоблачному бытию советского человека.

ПЕРЕСТРОЙКА БЕЗ ПЕРЕСТРОЙКИ

Последнему даже не пришлось перестраиваться, он просто остался самим собой, каким был на протяжении всей истории советской власти, с той же иждивенческой психологией, с тем же нежеланием трудиться, с той абсолютной незаинтересованностью в результатах своего труда, которая только и возможна в стране победившего социализма. Перестройка дала ему право требовать от других, и прежде всего от родного государства, но нисколько не подвинула его на требования к самому себе. Не подвинули его на это и бесконечные проповеди Горбачева, которые на фоне вечных материальных тягот вызывают у него лишь раздражение. Возникла странная ситуация: перестройка без перестройки, перестройка органов власти без перестройки людей. Было ясно, что создавшееся положение — «мирного сосуществования» демократических институтов с партийным аппаратом и иждивенческой, паразитической психологией масс — долго продолжиться не сможет. Любое здоровое общество держится не на митингах и парламентских говорильнях, но прежде всего на созидательном труде его членов. Эту прописную истину из начальной политэкономии не стоило бы повторять, если бы она

не оказалась преданной забвению в СССР, где люди проявили поразительную способность говорить, но не нормально работать, то есть вносить в жизнь общества необходимый трудовой вклад. За годы перестройки производительность труда катастрофически упала и продолжает падать. На предприятиях действует давно устаревшая технология, а инфляция галопирует такими темпами, что под вопрос ставится сама способность советской экономики дальше функционировать. Но сказать, что она оказалась в кризисной ситуации — это еще не сказать ничего. Ибо кризис назревал давно, он был заложен в самой системе командного социализма, но теперь возникла ситуация, чреватая взрывом. Страна оказалась не в состоянии себя прокормить, а общество — при существующем порядке вещей — себя воспроизводить. В результате верхние эшелоны власти вынуждены были сделать хоть и запоздалое, но историческое по сути своей признание, что система, воплотившая в себе лучшие мечты человечества, «человечества сон золотой», — эта система больше не работает. Правда, признание опять же сопровождалось множеством оговорок — дескать не может быть сомнений в правильности избранного нами социалистического пути (хотя и непонятно, что вообще остается от социализма), — однако главное в том, что теперь в речах самого Горбачева содержалась не просто критика системы, которая у всех навязла в зубах, но появилось здоровое, рациональное зерно. Впервые за годы перестройки он перешел от языка проповедей на язык дела, заговорив о введении в стране свободно-рыночных отношений. Притом это было объявлено одной из центральных государственных задач.

ХОЧЕТ ЛИ СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК СВОБОДНОГО РЫНКА?

Говоря о рынке, Горбачев не спешит расставить точки над «i». Мы не слышим или почти не слышим о введении

частного сектора взамен бесплодных народнохозяйственных планов, о широком применении наемного труда, о конкуренции, свободном ценообразовании. Но вряд ли стоит сомневаться, что все это придет. Придет как неизбежное следствие новых экономических отношений, если они на самом деле будут введены в стране. В этом случае впервые в советской истории наступит поворот, который в конце концов похоронит ленинско-сталинский социализм, обернувшийся гигантским бедствием для народов России. Введение свободного рынка и будет настоящей социальной революцией в СССР, способной вернуть страну в семью свободных и цивилизованных наций. Однако возникает вопрос: способна ли на такую революцию современная Россия, разграбленная и обескровленная коммунистическим режимом, с изверившимся и инертным народом, при отсутствии традиций, опыта, экономической подготовки? Способен ли Советский Союз, каким мы его знаем, на этот гигантский исторический сдвиг (который даже в странах Запада иногда растягивался на целые эпохи). И если да, если в принципе способен, то через какие испытания стране придется для этого пройти? Какой исторический отрезок времени на это понадобится народу, затратившему такую колоссальную энергию на то, чтобы десятилетия двигаться в ложном направлении и в конце концов оказаться в историческом тупике?

Смешным выглядят обещания Горбачева не применять при переходе к свободному рынку так называемой «шоковой терапии»: воздержаться от резкого повышения цен, не допускать массовой безработицы и т.д. Рядом со стихийной преобразующей силой рынка все это звучит как детский лепет, впрочем, вполне объяснимый в устах лидера, полагающего, что новую систему хозяйствования можно ввести решением очередного Пленума ЦК КПСС или постановлением Совмина. С другой стороны, советское население уже знает цену обещаниям и прогнозам высших эшелонов власти. Пока суд да дело, умудренные жизнью трудя-

щиеся опустошают полки магазинов, чтобы во всеоружии встретить новые хозяйственные отношения в стране. Да и хочет ли советское население жить в условиях свободного рынка? Думаю, что в абсолютном своем большинстве оно вообще не имеет представления, о чем речь. И если бы было осведомлено, что свободно-рыночные отношения означают конец всякому иждивенчеству, что они потребуют от советского человека коренного пересмотра его взглядов на труд, который, хоть и не будет больше называться «делом чести, доблести и геройства», но должен стать во всех сферах жизни по-настоящему интенсивным, — так вот, если бы советские люди были обо всем этом осведомлены, то я совсем не уверен, что дело это получило бы всенародную поддержку. И, может быть, именно поэтому Горбачев отказался от ранее обещанного им всенародного референдума: что голосовать, когда у страны остался один-единственный выход?

ОБРУШЕНИЕ РЕЖИМА

В связи с этим небезынтересно сослаться на опубликованное в журнале «Время и мы» интервью с лауреатом Нобелевской премии Милтоном Фридманом.* На вопрос корреспондентов, не может ли введение свободно-рыночной экономики привести ко всяким нежелательным пертурбациям, стоит ли игра свеч, Милтон Фридман отвечает: «Да не будет никаких пертурбаций, будут одни преимущества, поскольку советская экономика так неэффективна, что стоит вам ввести рыночную систему, как буквально через месяц практически все будут жить лучше, не считая номенклатуры». Это интервью было дано пять лет назад и сомневаюсь, что сегодня выдающийся американский экономист подписался бы под собственными словами. Ибо на пути к свободному рынку могут возникнуть не просто пертурбации, но сложная и опасная ситуация, чреватая непредсказуемыми последствиями. Я уже не говорю о том, что введе-

* «Время и мы», № 86.

ние свободного рынка невозможно без резкого повышения цен, свертывания многих и в первую очередь военных производств, массового увольнения работников. Все это само по себе приведет к затяжной болезни общества. Но главная опасность, по-видимому, возникнет из-за того, что «свободный рынок» вызовет такое политическое обрушение режима, рядом с которым горбачевская перестройка покажется легким сотрясением воздуха. Именно рынок, образно говоря, свергнет власть номенклатуры и совершит революцию в психологии людей. То, перед чем бессильными оказались самые страстные призывы, совершенно бесстрастно делает экономика. Но здесь общество и может столкнуться с положением, когда какая-то его часть, может быть, даже очень значительная часть, станет на защиту старых, доперестроечных порядков. Времена застоя и несвободы могут показаться потерянными раем рядом с жестокими требованиями рынка. Что касается номенклатуры, то для нее и наступит тот час, когда она насмерть станет на защиту своих классовых интересов. Не будем гадать, какие формы примет эта борьба. Но если вчера всемогущие товарищи из обкома одним телефонным звонком могли решать судьбы тысяч людей, а сегодня выясняется, что им больше нечем командовать и что они вообще никому не нужны, ибо жизнью их вотчины отныне управляет свободный рынок, — то что же, спрашивается, им делать? Переквалифицироваться в управдомы? Уйти в сторожа? И коснется это не только партаппарата, но и профсоюзов, и комсомола, и аппаратчиков министерств, и аппаратчиков предприятий, и маленьких и больших бюрократов, чье существование окажется бессмысленным в условиях экономической свободы, и тех представителей рабочего класса и трудовой интеллигенции, которые давно уже разучились и утратили желание по-настоящему работать. Это коснется по существу всех, кто в годы великой эпохи привык кантоваться на иждивении родного государства и будет вынужден себе искать место на рынке труда. Если исключить страны Восточной Европы,

то истории не известен подобный печальный опыт возвращения от коммунистической тоталитарной экономики к свободе и здравому смыслу. И я совсем не исключаю, что рожденный этой системой правящий класс, перед тем как «переквалифицироваться в управдомы» или пополнить армию советских безработных и люмпенов, не отважится на крайние меры и, обреченный историей, не пустит даже в ход оружие.

Возможно, до пороха дело и не дойдет, но ведь и национального согласия не будет — это уж точно: как, например, в Польше или Венгрии, а будет раскол и борьба, и забастовки, и лозунги, и демонстрации, — будет то, чему научились советские люди за славные годы перестройки. Тогда как рынок будет требовать от них самой малости — хозяйского отношения к делу и честного, добросовестного отношения к труду — того, что они растеряли за славные десятилетия советской власти.

Пока что трудно представить, как именно будет проходить эта революция, появятся ли, как предлагал тот же Милтон Фридман, фондовые биржи, где будут продаваться и покупаться акции перешедших в частные руки предприятий, или практика подскажет совершенно другие пути, но перед каждым членом общества рынок поставит жестокий выбор — либо подчиниться его законам и соответствовать его требованиям, либо оказаться за бортом жизни. Третьего не будет дано. Не так уж трудно представить эту далекую от идиллии ситуацию, когда предприятию больше не будут спускаться никакие планы. И не будет никакой финансовой помощи. Вопрос встанет жестко и однозначно: способна ли, скажем, продукция какой-нибудь Кренгольмской мануфактуры или Костромского завода «Строммашина» или Нижнетагильского металлургического выдержать конкуренцию на рынке. Если да, если способна, то производство пойдет вверх, будут расти прибыли акционеров, зарплата работников. Если же нет, то производителям не останется ничего иного, как уйти. Кто-кто, а мы, живущие в

Америке, знаем, как часто в витринах вчера еще процветающих фирм появляются весьма многозначительные объявления — «аут оф бизнес» — выходим из бизнеса. И всеми это воспринимается как нормальный порядок вещей: кто-то идет вверх, кто-то идет вниз. Столь же жесткий вопрос встанет перед советским рабочим — способен ли он профессионально отвечать требованиям рынка труда и на своем рабочем месте создавать конкурентноспособную продукцию. Если да, опять же будет расти его оплата, улучшаться благосостояние, если нет, он окажется перед лицом самого неприятного и опасного в свободном мире риска — пополнить армию безработных.

Подобный порядок сразу же выявит бессмысленность всяких государственных планов, госприемов, производственных совещаний, соцсоревнований, знаков качества и еще множества обветшалых реликтов социалистического хозяйства, которые болтаются под ногами у тех, кто готов честно и добросовестно трудиться.

Социалисты и левые всех мастей любят рассуждать о жестокости рыночных отношений. Верно, рынок — это не ЦК партии и не обком профсоюза, куда можно написать слезливую жалобу. Рынок потребует от советского человека того, чего от него не требовало никакое начальство — личной ответственности, личной инициативы, без чего ему никогда не достигнуть личного благосостояния. Впервые в советской истории людям придется работать, а не делать вид, что работают. Зато перед ними — вчера еще нищими рабами тоталитарного строя — откроется возможность стать достойными гражданами современного мира. Не исключено, что этот болезненный процесс затянется на годы, возможно — на десятилетия. Но рано или поздно это время придет и, вероятно, еще наступит эпоха, когда о советской власти люди будут говорить как о кошмарном, затянувшемся сне.



Валентин ЛЮБАРСКИЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ, А НЕ КТО ВИНОВАТ.

Еще раз о статье И. Шафаревича

Начну со стороны. Осенью 1986 года ведущая телевизионной программы «Лицом к стране» Лесли Стоул, обсуждая с Генеральным Прокурором Оклахомы происшедшую в этом штате трагедию, спросила его: «Эти периодически повторяющиеся случаи массовых убийств одиночкой имеют место только у нас в Америке. Что, по-вашему, говорит это о нас как о нации?»

Помнится, я досадливо поморщился тогда: этот оклахомский юрист с внешностью старого русского интеллигента как-то очень располагал к себе, и было неприятно представить его повторяющим банальности, каковыми, на мой взгляд, только и можно отвечать на вопросы такого рода. Меня, однако, поджидала неожиданность:

«Я, Лесли, — ответил Прокурор, — более двадцати пяти лет в этой профессии и часто задумывался над подобными вопросами (разрядка моя. — В. Л.), но ответа, представьте себе, не знаю».

Внезапная мысль тут пришла ко мне. Я перебирал тогда несколько возможных решений одной проблемы, и — вот оно! «Не знаю» — единственно верное решение, открывающее путь к правильному ответу, а я его не рассматривал. Можно себе представить, сколько изобретательных построений предложил бы в ответ на такого рода вопрос какой-нибудь литератор, «широко и многосторонне образованный», то есть знающий всего понемножку и ничего всерьез.

«На Руси страшная бедность по части фактов и страшное богатство всякого рода рассуждений — в чем я теперь сильно убеждаюсь, усердно прочитывая литературу о Сахалине» (Чехов в письме к Суворину).

Вследствие известных условий формирования русской политической культуры, когда то царю, то Марксу полагалось знать, какими должны быть ответы на все вопросы, проблемы человека и общества не разрабатывались в ней профессионально. Этой сферой занимались у нас в основном художники и публицисты, т. е. люди, может быть, и талантливые и проницательные, но без глубоких систематических знаний. Также по понятным причинам, русская политическая культура всегда была преимущественно этической. Принципиальное отличие этической культуры от аналитической в том, что при первой, в отличие от второй, исследуется не сам предмет, а наше отношение к нему. Эти два фактора обуславливают эндемическую болезнь русской политической культуры — концептуализм, т. е. стремление объяснить сложные, многофакторные ситуации на основе какой-то единой центральной идеи и внутри заранее прозренной схемы. Серьезное конкретное знание, дисциплина факта и требования доказательности тормозили бы интуицию и сдерживали бы размах воображения.

Характерным примером концептуального творчества является книга Игоря Шафаревича «Русофобия». О возможном уровне работы сразу должно дать представление то, что автор, крупный специалист в математике, пытается делать очень специальные изыскания в области, в кото-

рой специалистом не является. Это, кстати, уникально российское явление, когда труды в гуманитарных сферах берутся писать математики, физики, химики и т. п., совершенно не следующие при этом критериям доказательности, которых неукоснительно придерживаются в своих областях. Не от фактов подымается Шафаревич к концепции, а наоборот, заранее зная ответ, подбирает из всего многообразия те данные, которые бы укладывались в его концепцию.

Он пытается обосновать рациональными средствами то, в правильности чего заранее убежден интуитивно. Обосновать свое понимание того, что лежит в основе бед, постигших Россию в XX веке.

Заранее зная, где зарыта собака, Шафаревич однако начинает издали. Он проделывает сравнительно-историческое исследование и заимствует у одного из французских историков характеристику определенного слоя предреволюционного французского общества, «которому было враждебно и отвратительно то, что составляло корни нации... гордость своей историей», который был «антинародом среди своего народа» и придерживался «убеждения, что все разумное следует заимствовать извне». Именно этот слой и привел Францию к насильственному прерыванию ее «органического развития» в виде Великой Французской революции. Здесь, не замечая, как соскальзывает от великого к смешному, академик сообщает нам, что его посетила «догадка»: «По-видимому, в кризисные, переломные периоды жизни любого народа возникает такой же «малый народ», все жизненные установки которого про т и в о п о л о ж н ы мировоззрению остального народа». Затем, через множество примеров и отступлений автор выходит на вполне незаинтересованный вопрос — посмотрим, есть ли в нашей стране свой «малый народ» и кто это. Россия, говорит автор, есть, как любая страна, живой, развивающийся организм, имеющий свои особенности, свой естественный путь развития, накопления духовных и культурных ценностей,

традиций, обычаев, и вот процесс этот оказался насильственно искаженным — в начале века тоталитаризмом, а теперь попытками навязать другую чуждую ей форму — либеральную демократию. Те, кому чуждо ощущение «русской исторической судьбы», препятствуют русскому организму развиваться своим национальным путем, навязывая ему «безличное лакейское подражание Западу» и даже «проект духовной оккупации западным интеллектуальным сообществом».

Достаточно поверхностного знания русской культурной традиции, чтобы почувствовать, что ничего нового Шафаревич не говорит, что это есть повторение аргументов славянофилов (почвенников) против западников. Новое и подаваемое как открытие у него только то, что, если его предшественники не могли обвинять в привнесении чуждого влияния никого, кроме самих русских, Шафаревич обнаруживает истинного виновника — евреев. Ну, конечно: им чужда эта страна, народ, недоступно «осознание его исторической судьбы» и т. п.

Любопытно, что несколькими страницами ниже, цитируя Достоевского, он фактически опровергает свое «открытие» — что возникновение в России этого антинационального, прозападного течения причинно связано с деятельностью «антинарода»-евреев: «В «Дневнике писателя», — пишет Шафаревич, — Достоевский все время полемизирует с какой-то очень определенной идеологией. И когда его читаешь, то кажется, что он имеет в виду именно ту литературу, которую мы в этой работе разбираем: так все совпадает». Все совпадает, кроме одного: Достоевский не имел в виду евреев. Просто потому, что не мог иметь. Евреи стали играть заметную роль в общественной жизни России только в конце XIX века.

В этом контексте, если бы Шафаревич действительно занимался «поисками истины», как он неоднократно уверяет нас, а не старался убедить в истинности заранее вычисленного, он должен был бы задаться и такими очевидными во-

просами: «Кто играл роль «малого народа» во всей предшествовавшей, отнюдь не гладкой истории России? Кто виноват в бесчисленных «мятежах и казнях»? Кто повинен во всех других потрясениях, включая такие насильственные вмешательства в ее развитие, как царствования Грозного и Петра? А «виновата» история, виновата жизнь. Это если всерьез и с учетом всех приводящих факторов, всего сложного единства противоположностей. Защищая от сравнения с опричниной свой тезис о том, что массовые насилия советского периода есть результат большой примеси евреев среди новых хозяев, Шафаревич указывает на признаваемую историками сравнительно небольшую цифру 3-4 тысячи погибших непосредственно от рук опричников. И тут же уточняет, что речь не идет о «...сотнях тысяч погибших от голода, эпидемий, набегов крымцев и бегства от непосильных поборов». Это если выдергивать то, что тебе надо. Если же брать все, то речь очень даже должна идти: к концу царствования Грозного население страны не только не приросло, а уменьшилось с 10 до 9 миллионов человек. В конечном итоге это был прямой результат усилий по насаждению... военно-административной системы централизованной власти. «Сила власти росла, силы народа убывали». (В. О. Ключевский.)

Все же для обоснования тезиса о роли евреев в постигшей страну катастрофе определенные факты имеются — евреев было, действительно, немало и в Чека, и в других органах. «Бросается в глаза, — пишет Шафаревич, — особенно большая концентрация еврейских имен в самые болезненные моменты среди руководителей и исполнителей акций, которые особенно резко перекраивали жизнь, способствовали разрыву исторических традиций, разрушению исторических корней».

Далее на нескольких страницах он пытается размышлять, «почему случилось так, что именно выходцы из еврейской среды оказались ядром «малого народа»? При этом он не исследует всерьез, а просто перебирает, касаясь и остав-

ля, различные соображения. В то же время некоторые из них, будь исследованы, приводили бы к неудобным для его концепции выводам. Вот кое-какие из его общих мест: «Мы не будем пытаться вскрыть глубинный смысл этого явления. Вероятно, основы — религиозные, связанные с верой в «избранный народ» и в предназначенную ему власть над миром», «...укажу только на самую очевидную причину — почти двухтысячелетнюю изоляцию и подозрительное, враждебное отношение к окружающему миру» Шафаревич вспоминает, что «евреи склонны к рационалистическому мышлению...» Рационализм же, согласно нашим знатокам философии, способствует насилию и возникновению взгляда на людей как на «материал для экспериментаторства», а на традиции как на «беспольный хлам».

Мало того, что это просто общие места, не позволяющие серьезных выводов, они еще и очень сомнительные. Чтобы знать, что чувствуют евреи, надо, видимо, быть евреем, или хотя бы понимать, что прямолинейные экстраполяции в психологии неуместны. Все другие народы могут себе позволить и позволяют-таки комплекс «избранного народа» (т. е. примитивный национализм), много больше, чем евреи. В реальности подавляющее большинство евреев ощущает свою «избранность» как нечто очень неудобное. Они стремятся освободиться от нее, стремятся ассимилироваться и слиться с народами, среди которых они живут. Недавно в «Литературном приложении» к лондонской «Таймс» появилась статья об отталкивании Б. Пастернака от своего еврейства и отражении этого конфликта в его произведениях.

Относительно «очевидного» Шафаревичу влияния «двухтысячелетней изоляции» надо сказать, что вообще влияние силы традиций вовсе не так очевидно, как это многим кажется. В околоисторической литературе считается само собой разумеющимся, будто, чем дольше стоит определенный порядок, тем сильнее его влияние на людей и, соответственно, крепче их взаимная связь. Таково наше восприятие.

Факт, однако, в том, что чем дольше порядок вещей стоит, тем... ближе он к своему концу. Например, все современные демократии, исключая США, явились завершением длительной авторитарной традиции. Никакого парадокса тут нет. Во-первых, тот или иной порядок всегда вызывает накопление как адекватных, так и антагонистских себе факторов. Во-вторых, накопление происходит не в «крови» людей, а в условиях вокруг них. При значительной смене условий уходят и традиции.

Относительно «враждебного отношения» к окружающему миру — тоже додумано Шафаревичем. Скажем, после революции миллионы евреев в России, покинув черту оседлости, оставили там и «веками впитывавшиеся» традиции и влились в новую жизнь. Оставили добровольно, подчиняясь духу времени. Это шло изнутри, стремление же к эмиграции сейчас вызвано давлением извне. Для подавляющего большинства решение об эмиграции «головное», сопротивление же ему нутряное, и на преодоление его требовались годы. Оказываясь в Израиле или в Америке среди соплеменников, живущих по древним традициям, мы «зова забытых предков» не ощущаем. Скорее, наоборот. Гораздо больше — утрату впитанного с детства (не всегда осознавая это). Детства, пришедшегося, между прочим, на сталинское время. Но это уже о другом.

Мне скажут, что все это, может, и опровергает объяснения Шафаревича, но никак не отвечает на его обвинение. Согласен, но это опровергает литературный метод, которым обвинение выведено. Отвечая же на само это обвинение, то-есть, во-первых, на то, что евреев было много среди разрушавших старое и насаждавших новое, и во-вторых, на то, будто их влияние на события было гораздо сильнее влияния других, куда более многочисленных их участников, — так вот, отвечая на это, очень важно не упускать, что основано оно не на факте, а на нашем восприятии его. «Бросается в глаза», поскользнувшись пером, начинает цитированную выше фразу Шафаревич. Мы касаемся здесь

исключительно важного момента, некой узловой точки, проскочив которую, все рассуждения в этом вопросе обречены заходить в тупик. Даже мы готовы признать, что «много», и нам «бросаются в глаза... еврейские имена», потому что и наше восприятие гипнотизируется этим растворенным в мировой культуре иррациональным ощущением особенности евреев. Уже само слово «еврей» пропитано этим ощущением, в нем уже изначально заложена концепция.

Евреев потому было «много», что любое их количество — много, любое «бросается в глаза». Все остальные — просто участники исторических событий, обусловленных, как принято думать, фундаментальными факторами и процессами. Только евреи не столько участники, сколько причина событий. Говорят — «любовь и голод правят миром». Когда же среди их приводных ремней мелькают евреи, обнаруживается, что миром правят евреи. Происходит это по механизму такого рода, что вот, скажем, если Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, то ярость его не идет дальше данного конкретного из его соплеменников, если же ему случится поругаться с каким-нибудь Рабиновичем, то в воображении его немедленно включается заезженная схема, и он подымается к великим обобщениям — все «они такие»!

Говоря коротко, Шафаревич утверждает, будто участие евреев в русской революции прибавило ей жестокости, и, главное, придало ей невозможную, для русских губительную в отношении самих корней русской жизни направленность. Утверждать так можно, только если знакомиться с эпохой по энциклопедическому словарю. Когда же погружаешься в изучение конкретной обстановки и конкретного сцепления событий, стройная концепция размывается и растворяется.

В США только что вышел большой труд о той поре специалиста по русской истории Брюса Линкольна — «Красная победа». Некоторые из приводимых им цифр, в том числе и об участии евреев, настолько заинтересовали меня, как

раз писавшего тогда эту статью, что я не постеснялся позвонить ему из Нью-Йорка в пригород Чикаго, рассказать о книге Шафаревича и задать вопросы в такой постановке, чтобы у него было впечатление, будто я допускаю, что Шафаревич может быть прав в своем утверждении, несмотря на несерьезный метод обоснования его. Ниже мы еще вернемся и к той эпохе и к моему разговору с Линкольном.

* * *

Но начнем с истоков русской революции. Начать, согласен с Шафаревичем, можно с шестидесятых пореформенных годов, когда «дети» стали презирать «отцов», традиции, эстетику, обратились к науке и к действительности. Евреев среди них не было. Это очень важно. Шафаревич же, вполне в своей манере, подымает этот факт и кладет на место, никакого вывода не делая. Впрочем, это понятно: вывод противоречил бы его концепции, что без евреев сами по себе русские были бы не способны сделать то, что сделали. Достоевский, однако, уже тогда смог написать своих «Бесов», в которых заранее описал то, что произойдет полвека спустя. Шафаревич, как я уже заметил, цитирует Достоевского не очень продуманно. Одной из цитат, никак не подкрепляя свою позицию, он иллюстрирует мой довод о том, что сама по себе принадлежность к народу не препятствует обращению против его корней и традиций и что русским, подобно всем другим народам, не нужны были для этого евреи:

«...Этого народ не позволит», — сказал года два назад...один собеседник одному ярому западнику. «Так уничтожить народ!» — ответил западник невозмутимо.

Проследивая дальше развитие освободительного движения, Шафаревич говорит: «Создавался новый тип людей... Но можно понять, какая это была мучительная операция, как трудно было отрывать человека от его корней... И насколько проще все было с массой еврейской молодежи, не

только не связанной общими корнями с этой страной и народом, но воспринявшей с самого детства враждебность именно к этим корням...» На одних такого рода общих рассуждениях, без малейшей попытки обоснования, построено это узловое для теории Шафаревича положение об «антинароде». Можно не знать историю, достаточно одного знания русской литературы, чтобы немедленно почувствовать, что это противопоставление своих революционеров и чужеродных полностью надуманно. В частности, о «мучениях» шестидесятников. Свидетельств об этом нет. Наоборот — сколько угодно свидетельств упоений новой атмосферой, разрывом с «царством тьмы», раскованностью, освобождением от предрассудков, порывом к новому. Яркая иллюстрация — прием русской молодежью художественно очень слабого «Что делать?»: «Вместо ожидаемых насмешек вокруг «Что делать?» сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги, — и ни одна вещь Тургенева или Толстого не производила такого могучего впечатления». (В. Набоков «Дар».)

«Шестидесятые», оставаясь чисто русским по составу процессом, породили народовольцев, затем, впервые, между прочим, в мировой истории, тот самый благородный терроризм, который расцвел в XX веке. Кульминацией его было убийство Александра II. Здесь тоже характерная деталь: хотя убийца не был евреем и во всей организации «Народная воля» были лишь единичные вкрапления евреев, по двумстам городам страны прокатились еврейские погромы. Сколько бы их ни было, евреи всегда «бросаются в глаза» каплями дегтя даже в бочке дегтя.

Очень иллюстративно в отношении этой особенности нашего восприятия такое сопоставление. Убийство Александра II увело Россию с пути реформ, толкнуло на революционный путь и, таким образом, может считаться тем, что в конечном счете привело страну к Октябрю 1917-го. Прослеживая этот процесс, никому и в голову бы не пришло

обращать внимание на национальность его участников. В то же время Солженицын в «Августе 14» придает апокалиптическое значение тому факту, что Столыпина убил именно еврей. Больше того: он только потому и придает такое значение этому убийству, что убийцей был еврей. Убей Столыпина какой-то другой, т. е. не еврей, из многих действовавших тогда террористов, Солженицын анализировал бы этот факт бесстрастно среди множества других и видел бы очевидное: во-первых, что убит был государственный деятель, карьера которого подходила к концу (дело шло к его отставке царем), и во-вторых, что главное его дело — земельная реформа, которая, действительно, могла оздоровить страну, — была введена и вышла уже на стадию собственного развития.

Следующий ориентир на нашем пути — Первая Мировая. Ее надо не просто упомянуть, на ней надо задержаться. Дело в том, что именно она предопределила все последующие события XX века. В частности, большевизм и гитлеризм с их массовыми насилиями. Среди философствующих литераторов очень распространено мнение, будто истоки несчастий XX века надо искать в Веке Разума. Это недоразумение: такого века в истории человечества не было, и едва ли он возможен вообще. Век Разума только забрезжил, но так никогда и не наступил. За рационализмом следовала реакция на него — романтизм. После наполеоновских войн Европа вступила не в эпоху разума, а в эпоху национализма. Именно он и моралисты (не рационалисты) привели к войне. Война привела к революции.

Шафаревич оперирует очень широкими соображениями и избегает формулировать конкретные вопросы. Конкретный вопрос, оговаривая условность его, я поставил перед упомянутым выше Брюсом Линкольном: остановилась ли бы Россия на Февральской революции, если бы евреи не мешали русским делать свою революцию? Он, ощущавший, напомню, конкретные измерения и дух той поры, сказал, что это не выглядит так. Сказал, что отдельные личности были

не причиной этой многоплановой ситуации, а исполнителями и — не одни, так другие. Тоже заметил, что это особенность нашего восприятия выхватывать евреев из общего фона. Напомнил что среди большевиков большинство были неевреи, и немало евреев было среди меньшевиков. Напомнил также, что евреи Зиновьев и Каменев внутри большевиков пытались умерять воинственность еврея Троцкого и нееврея Ленина. Короче, все эти еврейские точки раскиданы в таком беспорядке, что прямую линию через них никак не проведешь, так бессистемно, что никакую систему не построишь — если не выбирать нужные.

В самой гражданской войне, о которой, собственно, весь его 650-страничный труд, Линкольн вообще отказался делать какие бы то ни было различия. Это, сказал он, было разлившееся море насилия и жестокости ради жестокости с обеих сторон. Если говорить о «корнях», то со стороны белых насилия против крестьян было даже больше, чем со стороны красных, что называется, как известно, в числе причин поражения белых. Единственно какой довод Шафаревича подтвердил Линкольн, это о количестве евреев в киевской Чека. Более того: он сказал, что вся украинская Чека почти на 80% состояла из евреев, но он решительно отказался присоединиться к выводу Шафаревича из этого. Многонациональность России предоставляла Дзержинскому, сказал он, возможность так комплектовать свои кадры, чтобы их состав видел в жестокости «ярость благородную». В частности, преимущественно еврейский состав на Украине объясняется тем, что до прихода красных там не прекращались жестокие погромы, самые кровавые со времен Богдана Хмельницкого. Таким же образом, сказал Линкольн, в азербайджанской Чека было непропорционально много армян, и в собственно России преобладали все же русские. В многонациональных же странах жестокость «органов», вовсе не умерялась тем, что они состояли из представителей того народа, против которого были направлены. Только в нашем веке так было в Германии, Китае, Кубе,

Аргентине, Камбодже и др. странах. Интересно, что, как только Шафаревич отворачивается от евреев, он обретает способность видеть предметы и явления сбалансированно. «Как будто существовал народ, который в этом нельзя упрекнуть!» — восклицает он, опровергая утверждения о специфичности жестокости для русских, чего, между прочим, никто из серьезных исследователей им никогда не инкриминировал.

Чтобы закончить с аргументами Шафаревича того порядка, что вот если бы не участие евреев в русской революции, она не обратилась бы против корней, надо сказать, что из всех последствий революции самым губительным для корней является насильственная коллективизация. Однако ни организацию ее, ни исполнение нельзя отнести на счет евреев. Более того: на пути к ней Сталину пришлось разделаться с Каменевым и Зиновьевым, стоявшими за постепенное развитие. Среди партийных наборов (25-тысячники и т. п.) преобладали неевреи еще больше, чем евреи в украинском Чека.

* * *

Следует признать, однако, что, даже будучи верно, все, что я сказал выше, само по себе не очень ценно. Хотя доказать теоретическую несостоятельность Шафаревича достаточно легко, нейтрализовать его практическую эффективность почти невозможно. Во-вторых, и это главное, все эти препирательства, — они о прошлом. Страна же сейчас переживает трудное настоящее, и действительно важно только то, кто и как участвует в настоящем. И вот то, что делают все эти патриоты, дает нам возможность перейти от обороны к нападению. Обратим внимание на одну странную особенность всей огромной литературы сторонников «органического» развития. Вся она состоит не из разработок, каким конкретно должно быть это развитие, а из яростной ругани тех, кто якобы противится ему. Указан-

ная особенность вовсе не случайна: ничего, кроме прекрасных пожеланий, патриоты не предлагают, т. е. они не знают, как конкретно осуществить нередко действительно хорошие пожелания.

Мы здесь упираемся в извечный вопрос о целях и методах их достижения. Это источник фатальной ошибки, повторяющейся через всю человеческую историю: внимание народов сосредоточивается на целях различных деятелей и движений и упускает их методы. А именно в методах, практически только в методах, главное. Цели — ориентиры на горизонте, перемещающиеся по мере приближения к ним. Методы же есть то, что определяет жизнь поколений. Их метод — «...проповедовать любовь враждебным словом отрицанья». Любовь когда-то в будущем, а пока — вражда. Скажу еще более прямо, без околичностей: «патриоты» сейчас наносят вред стране. Какова главная проблема сегодня? Нет, не нехватка всего, а — избыток, избыток всеобщего раздражения. Широковещательным декларациям патриотов о любви к народу и родине не очень-то верится. Примитивного психоанализа достаточно, чтобы понять, что, когда через «вражду», то это прежде всего любовь к себе, это вывернутое и неосознаваемое выплескивание своих мелких страстишек, подавленных комплексов и амбиций. Именно так: не от боли за страну, а от собственных болячек беснуются они. Если б за страну, то не могли б не увидеть, что прежде всего необходимо сейчас стране, чтобы начать выходить из затянувшегося и все более осложняющегося переходного периода. Многие вещи нужны и ожидалось от перестройки, но, как оказалось, иметь их сразу невозможно. Есть все же одна вещь, которую можно иметь немедленно и которая-таки очень нужна. Это — успокоиться. Остановиться и осмотреться осмысленно. Стране надо сменить настрой — это главное.

Вообще ведь не так важно для нас в жизни, что мы имеем, как то, как мы воспринимаем имеемое. После войны, скажем, материально было много скуднее, но настрой был мно-

го здоровей. Тогдашний настрой был следствием иллюзий, нынешний — следствием утраты иллюзий. И то и другое — крайности. Не предлагая ничего позитивного, наши праведники лишают людей того единственного, что они могли бы сейчас иметь. В спорах никогда не рождается истина, споры рожают только спор. В серьезных дискуссиях люди заняты вопросом «что делать?», а не — «кто виноват?»

Кто ответствен за прошлое — и темный и, главное, праздный вопрос. Действительно важно то, что страна держит сегодня в руках свое будущее. Надо остановиться и взглянуться в имеемое, пока из жизненно важного оно не превратилось в смертельно опасное. Даже если это правда, что предки нынешних советских евреев больше ответственны за революцию, чем остальные их участники, то какие из этого следуют выводы для настоящего? Как помогло бы решению стоящих перед страной сложных проблем удаление, говоря упрощенно, всех евреев? И как именно они мешают взяться за решение проблем сейчас? Никак. Зато безответственность патриотов очень мешает.

Другой, кроме русофобии грех евреев состоит, согласно Шафаревичу, в том, что они наиболее активно навязывают России чуждый ей западный путь — демократию. В недавней статье в «Новом мире» (№7, 1989) он пишет, что «обе дороги», и тоталитаризм и демократия, ведут «к одному обрыву», и говорит о необходимости для России некоего третьего пути. Это или опасное любительство, или сознательное коварство. Никакого третьего пути история не знает. Только различные фазы на одном из двух путей.

Один путь — это когда правит «бездушный закон», другой — когда правит человек, правит «живое чувство». Душевность, конечно, лучше бездушности, если б люди могли себе это позволить. Не могут. Нужны независимые контролируемые механизмы. Тот «третий путь», о котором мечтает Шафаревич, ведет, независимо от начальных намерений, к тоталитаризму, разве лишь под другой вывеской.

Вообще же русофобия и русофобы существуют только

в больном воображении юдофобов. Национальная самобытность всех народов Союза придавливалась и усреднялась. Все бы только приветствовали, если б пошли сейчас в рост разнообразные проявления самобытных национальных форм, традиций, культуры. И почему это невозможно внутри демократических структур и рядом с другими культурами? Как, кстати, это очень эффективно имеет место здесь, в Америке. В Америке много серьезных проблем, но вот уж этой проблемы точно нет.

* * *

Хочу подчеркнуть в заключение, что статья эта не в защиту «малого народа», а — о стране. Можно признать, что, будучи всеобщей, неприязнь к евреям привычна и в этом смысле почти нормальна. Что ненормально — это подчиняться этому чувству и основывать свои действия на нем. Только против этого и направлена данная статья. Люди, претендующие подобно Шафаревичу на открытие каких-то глубоких, ценных для страны истин («Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись... сказать правду», — завершает он свой труд), должны были бы не рационализацией массовых истерий заниматься, а помогать людям избавляться от них.

Очень уместна здесь аналогия с ближневосточным конфликтом. Он начался и тянется через десятилетия — со всеми своими неисчислимыми жертвами и страданиями. Только из-за того, в сущности, что лидеры арабских стран в угоду своим амбициям раздувают страсти своих народов. Анвар Садат повел свой народ наперекор его страстям и в соответствии с его интересами. Путь, которым он пошел, единственно, в принципе, возможный для человечества, чтобы уцелеть. Вопрос в том, способно ли оно на этот путь стать?

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 15 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 108

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

**Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201) 592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.



Михаил ЭПШТЕИН

ОБЛОМОВ И КОРЧАГИН

В 70-е годы думалось о стране: сладкий сон, туман, рассеянье, забытьё. И вдруг, на рубеже 80-х, с Афганистана — прорезалось во времени что-то острое и страшное, как будто алая краска 30-х годов проступила сквозь старческую пудру и румяна. Причем и развал, и немочь — все осталось, но через них-то и объявилась новая сила, жалкая, смешная, но опасная.

Так у стариков: плоть рыхлеет, кожа морщится, а кости делаются жестче. И держава наша вошла в период известкования: в ее экономике и идеологии, в брюшине и легких, гнило мясо, распадались ткани; а снаружи, в локтях и коленях, острее и больней выступали старческие мослы. Середина гниет — границы ожесточаются.

Вопрос вот в чем: всегда странным образом уживались у нас гражданская и трудовая сонливость — с воинской хваткостью и напором. Как их совместить? Как понять страну в единстве двух ее лиц — Обломова и Корчагина,

прекраснодушного сибарита и безжалостного к себе и к другим энтузиаста? Обломовское мы давно уже научились понимать и принимать в себе — это неощущение реальности, отмашку от практических дел, попускание любой инерции и застою. Но ведь и Корчагина из России не выкинешь, с его жестким, чуть монгольским прищуром и пальцем на взведенном курке. Как воспрянул он вдруг, как вскипела со дна ясноглазой обломовской синевы холодно-серая, стальная корчагинская голубизна. Переливание кровей, превращение ликов! Неужели есть обломок Обломова в Корчагине, неужели не выкорчевать Корчагина из Обломова?

Кажется, что тайна этого родства вскрыта народнейшим из народных писателей — Андреем Платоновым. Голодные и решительные герои его «Чевенгура», строящие коммуны, в которой главным и бесплатным работником было бы солнце, а они — его равными и праздными нахлебниками. Ведь это удивительная помесь корчагинского энтузиазма и обломовского сибаритства. Они готовы неслыханные ратные подвиги совершить, дабы трудящийся человек, скинув иго принуждающих его к труду хозяев, мог ничего не делать и жить с беспечностью травы, прозябающей под солнцем. Сколько сил тратится — ради революционной отмены всяких усилий!

Вроде бы дела и дела жаждут их тоскливые души, опутанные вековой дремучестью покоя, — и вправду, застаем мы их в постоянном саморасходе, самосжигании. Но это именно энергия растраты, а не созиданья, — итогом бешенства революционных сил становится выморочное всеобщее безделье, хождение друг к другу за разрушенные плетни и собирание травок в пищу Божию. Чевенгурская коммуна с травой и солнышком в качестве главных действующих лиц, при полной незаметности и неодушевленности людей, еле шевелящихся от лени и с голоду, — да ведь это больше всего напоминает не кампанелловский город Солнца, а сонное царство Обломовки. Такое же обилие природы, простора с потерянной в нем человеческой живностью — чисто и гладко

тянется пространство от прозрачных небес в черную прорву земли, не прерываемое суетной, плесенно бродящей пленкой «цивилизации». Разница только та, что в Обломовке покой и беспамятство сытости, а в Чевенгуре — голода. Но как пресыщение и истощение одинаково ведут к погашению жизненных энергий — так, позитивом и негативом, совпадают в своих стертых очертаниях две идиллии: помещичья и коммунарская. Будто негатив, отснятый в середине XIX века, проявился 80 лет спустя.

«Тихо и сонно все в деревне: безмолвные избы отворены настежь, не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте.

Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчание будет ответом... Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть все кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю.

Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимает со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами или проворчав что-то под нос себе, опять заснет».

Как тут не узнать Чевенгура! «...Коммунизма в Чевенгуре не было снаружи, он, наверно, скрылся в людях — Дванов нигде его не видел, — в степи было безлюдно и одиноко, а близ домов изредка сидели сонные прочие. ...Он стоял один среди пустыря и ожидал увидеть кого-нибудь, но никого не заметил, прочие рано ложились спать... они желали поскорее истощать время во сне.

Чевенгур просыпался поздно; его жители отдыхали от веков угнетения и не могли отдохнуть... Дома стояли потухшими — их навсегда покинули не только полубуржуи, но и мелкие животные; даже коров нигде не было — жизнь

отрешилась от этого места и ушла умирать в степной бурьян... Все большевики-чевенгурцы уже лежали на соломе на полу, бормоча и улыбаясь в беспамятных сновидениях».

Ради чего кипели бои, лилась кровь, развевались знамена? Чтобы на полном скаку въехать в царство сновидений, еще более усыпительных и беспробудных, чем обломовские. «Революция завоевала Чевенгурскому уезду сны...» В Обломовке жители хоть трудились, чтобы равномерно удовлетворять свои ежедневные потребности потрохами и кулебякой — а впрочем, труда не любили: «они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить его не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным». Чевенгурцы нашли более решительный выход — скинув хозяев, вовсе порешили с вредной привычкой трудиться, ограничив потребности степными злаками и цветами, но зато уже обеспечив себе неограниченное их удовлетворение. «...В Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным пролетарием... труд раз и навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение за счет нарочной людской работы — идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы. ...Заросшая степь... есть интернационал злаков и цветов, отчего всем беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатации».

Наверно, стоило несколько лет повоевать, чтобы на всю оставшуюся жизнь и для грядущих поколений обеспечить себе это «обильное питание», а главное, осуществить тот коммунистический идеал, к которому тщетно стремились обломовцы, не умея покончить с господами и обстоятельствами, принуждавшими к труду. Эта жизнь, переустроенная на правильных началах, имеет все достаточные и необ-

ходимые свойства смерти и кладет конец всякому смертельному антагонизму. «Добрые люди понимали ее (жизнь) не иначе как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и между прочим трудом» («Обломов»). В обществе будущего, какое строят чевенгурцы, идеал воплотится без помех, потому что главное препятствие — труд — отпадет в результате борьбы, а с ним прекратятся и ссоры, не из-за чего ссориться, убытки — нечему убывать, да и болезни — некому болеть, все, кто смог, уже умерли. Сон и еда, еда и сон — таков образ счастья у обломовцев и чевенгурцев, с той только разницей, что первые больше едят и меньше спят, вторые же едят похуже, зато спят еще лучше.

Вот как размечтается, бывало, в «Чевенгуре» видный деятель, «вождь попутчикам голодным»: «Бараньего жиру наешься и лежи себе спи! ...А в обеде борщом распаришься, потом как начнешь мясо глотать, потому кашу, потом блинцы.... А потом сразу спать хочешь. Добро!» Вот эта самая мечта и есть «вождь попутчикам голодным», но для нее и руками надо поработать, как добрым людям из Обломовки, где «забота о пище была первая и главная жизненная забота». Забот много, чтобы пища была подороже: «Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживанье за нею! ...И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такую полную, муравьиною, такую заметною жизнью». Но зато уже после полудня суэта прекращалась и жизнь становилась незаметною и неслышною. «И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна». Чевенгурцы устранили этот лишний хлопотный промежуток между сновиденьями: нет у них тучных телят и даже мелкие животные их покинули, зато ничего не отвлекает от пользования даровой милостью природы. Едят они не так хорошо, как мечтают, зато спят даже лучше, чем мечтают обломовцы. «Пролета-

риат ...еле шевелился ослабевшими силами», чтобы вполне уже достичь «идеала покоя и бездействия». Таким образом, исторический прогресс идет по линии возрастания сновидений, чтобы самые отдаленные мечты человечества могли стать сплошной окружающей явью.

Заодно и нравственный прогресс обеспечивается всеми необходимыми материальными условиями. В Обломовке не водилось воров, но могли бы развестись, потому что при сонливости жителей легко было их обчистить — а в Чевенгуре они и так чистые; не только некому совратиться, но и нечем. Заменяв «воры» на «вещи», получим еще один переход из века в век: «Легко было обокрасть все кругом... если б только водились вещи в том краю». Отсутствие вещей выступает надежным гарантом и конституционным условием отсутствия воров.

Одни только субботники остаются у чевенгурцев праздниками труда, но именно для того, чтобы труд весь без остатка перешел в праздность, чтобы в нем соблюдался особый обряд, лишенный прямой производительной цели. «Так это не труд — это субботники! — объявил Чепурный. — ...А в субботниках никакого производства имущества нет, разве я допущу? — просто себе идет добровольная порча мелкобуржуазного наследства». Если Бог почил на седьмой день от трудов шести предыдущих, то у чевенгурцев, наоборот, вся неделя превращена в то, чем она и должна быть в понимании русского языка — не-делей, сплошным отдыхом, чтобы в день субботы, или «покоя», устроить праздник труда. Но праздник в том и состоит, что прежние трудовые накопления должны перейти в состояние полной и окончательной негодности и достойно завершить неделю деятельным неделанием. Так получается еще один точный позитив с негатива, или негатив с позитива, если считать новый порядок сознательным отражением исконного (отразить — перевернуть, отбросить). Теперь понятно, почему субботник — это «переносить бревна», «грузить дрова», таков архетип этой работы, переносящей предмет с места на

место безо всякой излишней «прибавочной стоимости». С детства запечатлелся в нас образ: великий человек несет на плече бревно, сознательно не возвышаясь над трудовым муравьем. Вот и чевенгурцы, за неделю отоспавшись, перетаскивают по субботам плетни и сады от дома к дому, чтобы с удовольствием порастрясти по дороге часть угнетательского наследства.

Значит, итог великих сражений — сжечь «в костре классовой войны» самих угнетателей и их наследство, чтобы вслед за субботой настала нескончаемая неделя, чтобы перевелись прибыли и убытки, «чтобы спать и не чують опасности». «Ничем не победимый сон, истинное подобие смерти» становится у Платонова в сравнении с Гончаровым еще «истиннее», переходя из подобия почти в тождество: «...Внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся... изо всех темных своих сил останавливал внутреннее бинение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться» («Котлован»). Вот до какого покоя доводит народ его социально беспокойная часть: бой — пролог к вечному сну.

Да и не только по итогам, но и по началам своим деятельность чевенгурцев похожа на быстрый сон, когда у спящего нервически подергиваются лицо и руки от внутренних усилий, от колоссальной работы, которую он проделывает с образами своего минутного бреда. Так живет чевенгурский политначальник Копенкин, для которого даже коммуна — слабо чарующий призрак, отблеск более далекой и возвышенной цели. Ищет он прах Розы Люксембург — обнять, и поклониться, и отомстить мировому капиталу за гибель пламенной женщины, воплотившей плотский соблазн мятежа, величайшую роскошь и разгул мировых пролетарских сил. Эта платоническая революционная эротика и влечет его по всей России на усталом Россинанте — и в брянских лесах, и в заволжских степях, и на среднерусских равнинах — всюду он вопрошает встречных о мепькающе-пропадающих следах своей Дамы-Розы, своей Дульсины. По жанру «Че-

венгур» — это рыцарский роман, со всеми бредами и подвигами, ему положенными.

Вообще воинственность и грезовидчество, как показывают эпопеи всех времен, отнюдь не исключают друг друга (Роланд у Ариосто, Ринальдо у Т. Тассо). Истинный воин, суровый и беспощадный, легко подвластен чарам сна. Кто страшнее всех для мусульман, как Копенкин для буржуев? — бледный и сумрачный рыцарь, весь поглощенный видением Пресвятой Девы. «Он имел одно виденье, непостижное уму». Воин — человек рока, и сон — дело рока; посланное свыше: удача, знаменье, предначертанье — все в снах является воину. Так Ахилл и прочие ахейские мужи сообщаются через вымыслы сновидений с промыслом богов. Воин — над миром, и сон — сверх мира. Все гражданское и промышленное, в миру добываемое, — это истинный воин презирает не меньше, чем Обломов на своем диване. Что кольчуга, что халат — лишь бы не уродливый штатский костюм, где телу нет ни богатырского размаха, ни домашнего приволья.

Труд — вот главное звено, выпавшее между сновидчеством и воительством, благодаря чему они и связались в нашей жизни напрямую. И если окончена война, то найти себя в повседневных трудах бывает непосильно испытанному воину: закаленная в огне сталь ржавеет в тине мелких дел. Уж лучше вечный сон, чем оглядчивая трезвость и безопасносная суетность мира, — ведь сон потому и могуч, что одним ударом, как неотразимый воин, крушит всю враждебную явь. И кто могучим кулаком поработал в бою, тот и продолжает бой с еще сильнеешим размахом, сунув кулак себе под голову вместо подушки.

Своя трагедия у тех, кто не в поле мертвыми полегли и не в концлагеря полуживыми на нары, а мирно уселись за канцелярские столы. Вспомним хотя бы «Гадюку» А. Толстого и ее гадливость к штатской жизни — на амазонке этот пример даже нагляднее, чем на рыцаре, потому что прирожденную женскую радость повседневной возни — и то на-

всегда отравляет беззаботное счастье боя. «...Ему скучно становилось жить без войны, лишь с одним завоеванием», — раскрывает Платонов душу чевенгурца (Кирея). Правда, нет ничего завоеванного, с чем и дальше нельзя было бы воевать, — не в том ли причина обязательного усиления классовой борьбы после достигнутой классовой победы? Сначала уничтожают прямого врага, потом косвенного, сначала встречного человека, потом попутчика, сначала дальнего друга, потом ближнего, сначала чужое наследие, потом свое достояние, сначала память о прошлом, потом надежду на будущее, а уж кончают на себе и с собой. А чтобы всю эту тягомотину сократить, можно сразу воспарить к конечному счастью — «поскорее истощить свое время во сне».

Кто на танке по заминированным полям проходил — каково ему теперь проезжать на тракторе по безопасному и бесплодному колхозному полю? Клонит ко сну молодецкую головушку, словно все это гладкое поле поросло огненными маками — теми же минами, но только замедленными и для души. Сон гораздо ближе сердцу рыцаря, чем всечасная явь, — ведь и там все невероятно и ошеломительно, как в бою, и душа сразу получает, чего просит, или не сознает себя. Явь, отдельная и неуступчивая, — слишком большой труд, изо дня в день, из года в год, а кто любит быструю езду, да кого сама дорога подхватила на крыло, тот уже не знает, во сне мелькают перед ним версты и кручи или врубается он на всем скаку во вражеский стан. «И вечный сон — а бой нам только снится». Или наоборот, вечный бой — и сна он не боится. Два запредельных состояния: жизнь в самой смерти, смерть в самой жизни, по тонкому краю между ними хождение, головокружение, заглядыванье за край.

И потому обломовская сонливость вовсе не исключает корчагинской воинственности — наоборот, предполагает ее, что сказалось уже в образе Ильи Муромца, первого нашего Обломова и первого нашего Корчагина. Тридцать лет просидел Илья сиднем на печи, чтобы потом уж поска-

кать-порезвиться по чистому полю.* Вот они где сцепились корешками, эти столь далекие разветвления нашей словесности. А вновь срослись в Андрея Платонова, где лежание на печи и смертельный бой уже не разделяются на персонажей или разные периоды в жизни одного персонажа, а вместе образуют странное, зачарованное состояние рыцаря-лежебоки, грезящего в сам момент сражения, как-то застывшего на скаку и притом скачущего во сне.

Та же самая некапитальность, ненакопительность народа, которая сказала в его охочести ко сну, рассеянию, забытию, — она же сделала его и бесстрашным воином, всегда готовым оторваться от скопидомских забот и встать под простреленное знамя, уносимое ветром. Копенкин и подобные ему копьеносцы не знают страха, потому что терять им нечего. Нет у них твердой реальности, за которую держались бы они трезвым знанием и бережным чувством. Не жаль им и собственной плоти — в конце концов, это все тот же буржуазный достаток, сколоченный на белках, жирах и прочей прибавочной стоимости организма. Вот отчего

* Быть может, не случайно Обломов и назван Ильей, да и в батюшки Илья Муромец годится Илье Ильичу — есть в этом имени какой-то ленивый остаток, тянется из прошлого засыпающий след. Так же Иван Ильич у Толстого, лениво доживший до смерти. И слова «Ильич» и «Ленин» в народном сознании сделались синонимами не от той ли памятной лени Ильи, которая потом обернулась богатством? Не свою ли исконную лень и чаемую силу вложил народ в это заветное, из седой древности предначертанное имя? И шагает оно от фамильной печки через богатырское отчество ко всемирному раздолью, чтобы народному вождю, нареченному по былинному герою-батюшке, володеть за свои подвиги всем миром. И разве не промысел: долго враждовавшие между собой царство и богатство, которые еще в стародавние времена перессорились, через вельможного князя Владимира и народного удалца Илью, — теперь воссоединились между собой в имени-отчестве, словно Владимир и он же Ильич от имени всего народа стал молодецки править княжеством. И уже не дрожит от ударов богатырской палицы киевский престол, а все выше восходит над миром красное солнышко.

не любят жирных, чуя, что они капитал свой носят в боках и выпуклостях, а пролетарский человек должен расходовать свое тело вплоть до полного исчезновения на общественную пользу. Ноги-руки и особенно живот — мерзкая частная собственность, наконец-то перешедшая в общее достояние коммуны и всемирной бедности, которая распорядится ею по своему классовому интересу. Нечего жалеть, нечего терять, ничего не накопили мы в этой копеечной жизни, и потому всегда готовы к иной. Сон — в охоту, питье — в забаву, гибель — в веселье.

Эта заблудшесть души в пограничных областях между жизнью и смертью хорошо передана у Пастернака в стихотворении «Сказка» (1953) — о чудо-богатыре, который выволяет красавицу-душу из плена страшного змея. Вспоминая международный бродячий сюжет, поэт вносит в него странный поворот — чтобы сказать правду о своем единственном народе. Воин, как и положено, побеждает дракона — но сам, вместе с освобожденной душой, впадает в оцепенение. Что это за невероятная победа и какую ценой она дается, если побежденная смерть все еще держит и воина, и деву в плену победительного сна?

Конь и труп дракона
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.

...Но сердца их бьются
То она, то он
Сияются очнуться
И впадают в сон.

Нет, это не сказка, это история, и дата под стихотворением — одна из многих, когда дракон умирал, а спасенная краса и сам воин-спаситель далеко уносились и встречались душами в царстве сновидений. Неужели крепкое пожатие обморока — знак слабеющих объятий самой Смерти? 1812, 1917, 1945. Словно цепи, разорванные мощным рывком, еще ту же сплетаются вокруг освобожденной и заснувшей души.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Так начинается и так заканчивается последняя часть стихотворения. Кому так царственно дремлет, за чьими смеженными веками проносятся целые миры и столетия? Это душа самого народа тоскует «во власти сна и забытья». И не разобрать в этой «Сказке»: то ли спала душа до тех пор, пока воин ее не освободил, — то ли оба они витают во снах после подвига освобождения. То ли освободитель заснул «от потери крови и упадка сил» — то ли сама спящая дева видит в снах своего освободителя. То ли сон после битвы, то ли битва во сне. 1953. Четыре года битвы. Восемь лет забытья. И сотни, сотни лет перемежающихся высей и бродов, битв и сновидений.

Порою кажется, что целые народы, как и люди, могут страдать от душевных недугов. Испания долгие века была захвачена манией величия. Германия страдала комплексом неполноценности. Японию терзал страх открытых пространств, что вело к добровольному затворничеству на одиноких островах.

Но XX век — век великих кризисов и исцелений, когда нарыв нагнаивается, распухает, болью отзываясь во всем человечестве, и наконец лопается. Народу, перебродившему и перебрившему, возвращается здоровая уравновешенность, способность соизмерять свои желания и возможности, свой порыв и действительность. Дай Бог, чтобы очулась, наконец, и последняя боль, ибо от ее гнойного пузыря, раздувшегося на шестую часть света, давно уже трясет и лихорадит все человечество. На такое огромное пространство, наверно, требовалось и больше времени, чтобы на разрыв натянулась болезненная оболочка — пусть с опозданием, лишь бы не смертельным.

Долго, долго общество наше страдало маниакально-депрессивным психозом. При этом маниакальное начало пре-

обладало среди господствующих сословий, на вершинах политики и культуры, тогда как масса нижних и средних слоев была погружена в депрессивное состояние, отразившееся в бесчисленных унылых, тягучих народных песнях, в тоске и жалобах, а пуще всего — в бесконечном равнодушии ко всему. Пусть жизнь идет прахом, а там хоть травой зарости, и даже если эта трава прорастает через мой собственный прах, я не восстану, не возопию. Умирать тоскливо, а жить еще тошнее. И какая разница — на лавке спать и думать вековечную бессловесную думу или прямо в гробу, чтоб уж не переключиваться и никого не беспокоить. А для спасения души подливать собственной рукой масло в заупокойную лампаду над изголовьем.

Маниакальный склад личности ярче всего обнаруживался у выдающихся людей — собственно, сила маний и фобий и выдвигала их на передний край национальной жизни. Петр I и Суворов, Аввакум и Распутин, Бакунин и Белинский, Н. Федоров и Э. Циолковский, Гоголь и Маяковский, Писарев и Нечаев, не говоря уж об Иване Грозном, Сталине, Троцком, Дзержинском и их прямых наследниках и соратниках среди деспотов разных поколений. У всех этих людей, даже при величии натуры и гениальной одаренности, есть какая-то резко выдвинутая черта, навязчивая идея, оттесняющая все остальные. Как будто сама действительность так зыбка, податлива, безразлична, что лишь предельным сужением всех усилий можно оставить малейший отпечаток смысла и цели на ее расходящейся трясине. И вот великан отставляет одну ногу, приподнимает другую, упирается в носок или налегает на каблук, отбрасывает все опоры, теряет разнообразные точки соприкосновения с реальностью, чтобы упираться в одну заостренную точку, притоптывает и пританцовывает на ней, кренясь и хватая воздух руками, — и если не падает, то оставляет в расплывшейся жиже след того, что когда-то кто-то хотел в ней оставить свой след. Великан, стоящий на одном каблуке, — вот поза нашего великого человека.

Мания может быть обращена на все что угодно: на истребление космополитов или насаждение кукурузы, на счастье грядущих поколений или воскрешение отцов, на резание собак или неубиение комаров, на сбривание бород или отращивание бород, на захват Константинополя или овладение Млечным Путем... Но у нее есть два непереносимых и взаимодополняющих свойства: огромная исходящая емкость и узкое выходное отверстие. Мания захватывает всего человека, всю полноту его духовных и физических сил, обращая на служение одной частной и ограниченной цели. Даже и цель может быть великая, но берется от нее, как выполнимое здесь и сейчас, такое средство или подробность, что уже цель, дабы осуществиться, начинает служить средству. У сказочного рога изобилия дырочка оказывается крохотная, как у тюбика из-под зубной пасты, куда и уходят мускульные усилия богатыря. Чтобы послужить Богу, надо верно послужить начальнику на своей малой должности. Чтобы послужить прогрессу, непременно надо своротить Пушкина с пьедестала, а за ним уж разрушить и всякую эстетику. Такой человек страшно широк своим основанием, куда притекает энергия каких-то астральных миров, и крайне узок в точке приложения этих гигантских сил. Это какая-то метафизическая воронка, раструбом направленная в сторону иного, а тесной горловиной — к здешнему, наличному. И в этой воронке бушуют вихри, притекающие отовсюду, сжатые и стесненные на выходе, вырывающиеся с клетотом и шипением.

Эта маниакальность соединяет два понятия, по исконному смыслу противоположных: партийность (от латинского «pars» — часть) и тоталитарность (от латинского «totus» — целое). Мания тотальна по объему притязаний и партийна по точке приложения, в ней частичное и целое подменяют друг друга. Если бы человек отдавал некоей части соразмерную часть себя, он был бы просто специалистом в западном смысле слова, например, специалистом по выращиванию кукурузы. Если бы он отдавал целое в себе какому-

то соразмерному Целому, он был бы просто верующим, мистиком, визионером, опять-таки в привычном и вовсе не тоталитарном смысле. Партийность и тоталитарность начинаются тогда, когда человек отдается частному как чему-то целостному, когда счастье народа он полагает в изобилии кукурузы, а спасение души — в двоеперстном знаменнии и отращивании бороды. Pars pro toto, часть вместо целого — формула мании. Захваченный ею человек несется, подгоняемый звездным ураганом, к какой-нибудь щели в заборе; чтобы протиснуться сквозь нее, он использует галактический запас энергии. Чем целостнее личность и чем частичнее цель, тем нагляднее совмещение партийности-тоталитарности в безоглядном порыве, этой страдальческой всеохватности. Насколько человек становится в мании больше себя, перерастает масштаб человеческого — настолько же он становится меньше себя, втискивается в грани чего-то специального. Он больше своего разума, но меньше своей души. То, что расширяет этого человека, одновременно и сужает его, устраивая подобие воронки с широким верхом и узким отверстием. Через него вливается в этот мир какая-то неизменная страшная сила, которой иначе трудно было бы проложить сюда путь. Потому так поражает в нем сочетание сердечной шири с умственной ленью. Ум направлен на что-то одно, а сердце кипит и волнуется многим. Широко разверстые зрачки, неподвижно устремленные в одну точку: воронка взгляда, эмблема...

Этот тип, взятый как целое, депрессивен и маниакален одновременно, и Обломов и Корчагин — это две стадии единого общественного психоза, переходящего из маниакальной возбудимости в депрессивную подавленность, и наоборот. Этот тип человека, с его сонливо-воинственной душой, можно обозначить как обломагина — у него обломовский корень и корчагинский суффикс. Такого персонажа нет в произведениях русской литературы, и тем не менее дух его витает не только над нашей словесностью, но и над всей исторической судьбой. Изредка его можно об-

наружить и как цельное лицо — у таких провидцев русской души, как Н. Лесков и А. Платонов, раскрывших в своих героях великую силу свершения, действующую, однако, словно бы во сне, а не наяву. «Очарованный странник» — Иван Северьянович Флягин; персонажи «Чевенгура» и «Котлована» — они и воюют, и бесчинствуют, и неистовствуют, но все в каком-то заколдованном сне, вроде бы и не шевеля руками, скованные, обвороженные, оцепененные собственной силой.

Так еще Святогор, мощно ступая по родной земле, вращал в нее всю тяжесть и уже не мог сдвинуться с места: сама сила его обессиливала. Потянулся он за малой сумочкой переметной — а она не скрянется, не сворохнется, не колыхнется.

И по колена Святогор в землю увяз,
А по белу лицу не слезы, а кровь течет.
Где Святогор увяз, тут и встать не смог,
Тут ему было и кончение.

Вот так погибает богатырь из-за маленькой сумочки — да из-за большой земли, которая ничего не отдает, а все тянет и хоронит в себе: за сумочкой переметной, как наживкой неподъемной, — самого богатыря. Значит, тягучая должна быть та земля, хлябкая; на что обопрешься — в то и провалишься. И след в ней оставить — все равно что оставить голову, да еще тина сомкнется над головой и утопит сам след. Что твердь — то тряпина, что порыв — то заморанье, что битва — то сон.

Конечно, между Корчагиным, стоящим на посту, и Обломовым, валяющимся на перине, — целая пропасть. Однако национальное сознание и словесность всегда ищут опосредования крайностей, чтобы прокладывать центральный путь, — и вот нарождается такой персонаж-посредник, как Копенкин, который по-корчагински стоит и по-обломовски лежит, неистово выкорчевывает прошлое и непробудно спит на его обломках. Копенкина можно поставить в ряд: Чапаев-Нагульнов-Корчагин, и одновременно в ряд: Манилов-Обломов-Сатин. В нем переглядываются и вдруг узна-

ют друг друга: унтер Пришибеев и Платон Каратаев, Хлестаков и Рахметов, мужик, прокормивший двух генералов, и генерал, неспособный себя прокормить, коняга и пустопляс.

Копенкин — одна из разновидностей этого вездесущего, хотя и трудноуловимого нашего Обломагина. По частям он всюду мелькает, а как целое ускользает. Обломагин — обобщенный характер-миф, в реальности же он чаще предстает раздробленным. Причем если классическая литература любила по преимуществу депрессивный тип из верхов, то советская — маниакальный тип из низов; хотя в действительности распределение чаще обратное, но литература любит играть на контрастах, изображать потупленного барина и озорного мужика. Не потому ли именно у Платонова, на рубеже 20-х — 30-х годов, и обрисовался столь выпукло этот целостный тип, что низы заняли место свергнутых верхов и привнесли боевой задор в свой вековой покой: воюют — как спят, а сны видят такие (о даровом и всеобщем), что душа просится в последний и решительный бой.

Но эта целостность была заготовлена и проверена историей задолго до советского времени — в самом взаимодействии двух составляющих. Им не обязательно уживаться в одном человеке, потому что они прекрасно уживаются в душе самого народа. Одни захвачены манией, другие страдают депрессией, и чем маниакальнее одни, тем депрессивнее другие. Одного такого маниакального типа, как Иван Грозный, достаточно, чтобы надолго вогнать в депрессию целый народ. Но и сонливость масс влечет, с другой стороны, к отчаянным усилиям, порождает плеяду неистовых будителей, готовых душу вытрясти из народа, лишь бы перевернуть его с одного бока на другой, чаще — с правого на левый (Бакунин, Нечаев, Ткачев). Революционеры и тираны различаются только тем, что маниакальность первых является следствием долгой народной депрессии, а маниакальность вторых — ее причиной. А впрочем, нелепо было бы ставить перед психиатром вопрос, мания ли служит причиной депрессии или наоборот; точно так же вряд ли историк

объяснит, инертность народа ведет к одержимости лидеров или бушевание верхов заставляет притаиться низы.

Так же надвое расслаиваются не только социально-психологические пласты, но и периоды истории. Порой преобладают маниакальные порывы — стремительные реформы, революции, перевороты, почины, скачки, когда прошлое одним богатырским махом опрокидывается назад и не терпеливо закусывает удила «вихри-кони», зачужившие призыв будущего. Выпишем некоторые симптомы из медицинского справочника — разве не точно накладываются они на картину общественной жизни начала 20-х или 30-х годов? «Повышенное настроение... чрезмерное стремление к деятельности. ...Поверхность суждений, оптимистическое отношение к своему настоящему и будущему. Больные находятся в превосходном расположении духа, ощущают необычайную бодрость, прилив сил, им чуждо утомление.... То принимаются за массу дел, не доводя ни одного из них до конца, то тратят деньги бездумно и беспорядочно, делают ненужные покупки, на работе вмешиваются в дела сослуживцев и начальства. Больные крайне многоречивы, говорят без умолку, отчего их голос становится хриплым, поют, читают стихи. Часто развивается скачка идей... Интонации, как правило, патетические, театральные. Больным свойственна переоценка собственной личности... Сверхценные идеи величия». Это не только характеристика некоторых периодов жизни нашего общества, но и устойчивый стиль мышления руководящих его слоев. Браться за массу дел, вмешиваться в чужие дела, безудержно произносить патетические речи, приписывать историческое значение своим поступкам — вряд ли здесь нужно указывать персоналии, потому что таков собирательный портрет нашего «активиста». Но затем наступает эпоха застоя, упадка, безвременья, отставания, когда в судьбе народа остается только уныло тянущийся из прошлого след и ветшающая телега на обочине. «Отмечается гнетущая безысходная тоска. ...Все окружающее воспринимается в мрачном свете; впечатле-

ния, доставлявшие раньше удовольствие, представляются не имеющими никакого смысла, утратившими актуальность. Прошлое рассматривается как цепь ошибок. В памяти всплывают и переоцениваются былые обиды, несчастья, неправильные поступки. Настоящее и будущее видятся мрачными и безысходными. Больные обездвижены, целые дни проводят в однообразной позе, сидят, низко опустив голову, или лежат в постели; движения их крайне замедлены, выражение лица скорбное. Стремление к деятельности отсутствует».* Таковы депрессивные периоды, которые, по общему правилу болезни, наблюдаются в нашей истории гораздо чаще, чем маниакальные. Но одновременно это и характеристика целых общественных слоев и устойчивого уклада их существования — безрадостного, беспросветного, тоскливо-однообразного, с опущенной головой, без малейшего внутреннего позыва к деятельности.

Эти пульсации бывают в истории каждой страны, но нигде они не достигают такой прерывистости, резкости перепадов, характерной для маниакально-депрессивного психоза. Для одних открылся уже сияющий перевал, для других нет надежды выбраться из вязкой трясины. Причем состояние самой действительности почти не меняется, только окрашено в разные настроения. Нет самого пути, упорного поступательного одоления — а все время одно и то же место на пустынном берегу, где меняются вывески-указатели. То «Непроходимая Топь», то «Здесь будет Город заложен». То «Славный Привал», то «Полный Провал». Не движение по дороге, а смена вех, чередование знаков на одной стоянке.

Ключевский объяснял эту психологическую особенность чередованием в России краткой летней страды, когда в несколько недель вершится судьба урожая и сгорает вся рассчитанная на год энергия труда, и долгой сонливой зимы, когда время природы словно перестает течь в натопленном доме, за сытным столом, на мягкой перине. «Так

* Справочник по психиатрии, М. «Медицина», 1985, с. 56, 59.

великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же «Великороссии».*

Климат, безусловно, важнейшее, изначальное слагаемое мифа. Но миф движется дальше, задавая пути общественного развития (по прямой, по кругу...) и включая в свою сумму все новые и новые исторические слагаемые. Великое дело художника, писателя — давать мифу имена собственные. «Обломов» и «Корчагин» — важнейшие среди них, благодаря не только конкретным обозначенным персонажам, но и корневому чутью самого языка, его образной памяти. Издавна приходилось русскому крестьянину, селившемуся в глухих местах, среди чащоб и болот, с невероятными усилиями раскорчевывать лес под пашню. Через шесть-семь лет земля истощалась, и крестьянин переселялся на другое место, оставляя после себя обломки выкорчеванных пней и деревьев. Так и сложилась эта предметно-хозяйственная система «корчевок-обломков», которую бессознательно доносит до нас язык, оживляемый интуицией художников. Многое слышится в этих двух словах народу, сложившему пословицу «Лес рубят щепки летят», народу корчевателей и народу обломков. Таков он — Корчагин и Обломов в одном лице: то корчится в неистовом напряжении сил, рождая сокрушительную энергию удара-подвига, то отламывается от всемирного древа жизни, неподвижным обломком валяясь в стороне от дороги, по которой бодро и размеренно шествуют другие народы и государства.

* Ключевский В. О. Соч. в 9 тт., т. 1, М., «Мысль», 1987, с. 315.



Вольфганг ЗЕЕВ РУБИНЗОН

МУЗА КЛИО НА СЛУЖБЕ КПСС

Заметки историка

6 ноября 1988 года в «Московских новостях» была опубликована статья под названием «Пока спала муза Клио. Сцены из недавнего прошлого советской исторической науки». Первый вопрос, возникающий при чтении этой статьи, — действительно ли муза Клио спала на протяжении всей советской истории? Невольно вспоминается печально известный Всеволод Кочетов, который в своем романе «Чего же ты хочешь?» устами одного из героев утверждал: «Да, историку непросто найти сейчас место. История — поле политической борьбы. Каждый к своей пользе стремится ее обратить».

В этой статье я возьму в качестве примера только одно событие из жизни Древнего Рима — восстание Спартака, — и постараюсь на этом примере показать, как делалась история в СССР. Выбор Спартака не случаен. Карл Либкнехт и Роза Люксембург назвали именем Спартака свою легендарную революционную группу, которая была ими создана в

1918 году и затем стала неотъемлемой частью коммунистической мифологии. С 1928 года массовые спортивные игры, проводившиеся советским государством, получили названия спартакиад, в противовес буржуазным олимпиадам на Западе. Известно, что имя Спартака и по сей день в СССР носят многие спортивные общества, клубы, футбольные команды. Словом, на протяжении всей советской истории Спартак оставался в глазах народа фигурой легендарной, к его образу не раз обращались советская литература и искусство.

Какое же место занимало спартаковское восстание в советской историографии? По-видимому, начать следует с первой половины 20-х годов, когда большое влияние приобрел, так называемый, вульгарный марксизм. В то время полюбившиеся историкам, часть которых воевала в годы гражданской войны, пытались увидеть в Спартаке прямого предшественника революционного пролетариата. Эти, так называемые, историки не знали ни источников, ни структуры римского общества конца республики. Они считали, что это общество было капиталистическим, а в братьях Гракхах и Спартаке усматривали ни больше и ни меньше как вождей пролетариата.

В противовес вульгарному марксизму историк А. И. Тюменев предложил советско-марксистскую интерпретацию античного мира. Он первым развил хорошо знакомую нам концепцию о рабовладельческом обществе и о специфическом рабовладельческом способе производства.

Следует отметить, что в те годы в высших учебных заведениях еще довольно широко прибегали к источникам и пользовались переводной литературой, поскольку сам Ленин поддерживал идею использования работ западных ученых в исторической науке. Немарксистских историков того времени отличал достаточно вдумчивый и трезвый подход к оценке спартаковского восстания. Историк-немарксист П. Преображенский, умерший в возрасте 47 лет после четырех лет заключения, выразил это очень ясно: «Не только

спартаковское, но и другие движения рабов древности были крайне бедны в своих положительных программах. Восставшие рабы не были классом для себя. В политическом отношении они не шли дальше подражания общественным формам, господствовавшим у них на родине, экономически их идеалы не простирались дальше восстановления либо свободного мелкого производства, либо общинного землевладения». Даже личность самого Спартака, бесспорно, наиболее выдающегося предводителя восстаний рабов, его талант вождя и полководца, по мнению Прображенского, не смогли компенсировать этих коренных недостатков восстаний рабов в античном мире. Тем не менее Ленину все это не мешало говорить: «Спартак был одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов около двух тысяч лет тому назад. В течение ряда лет всемогущая, казалось бы, римская империя, целиком основанная на рабстве, испытывала потрясения и удары от громадного восстания рабов, которые вооружились и собирались под предводительством Спартака, образовав громадную армию».

Примерно в то же время, в 1931 году, историк-марксист Л. В. Баженов, позже ставший жертвой сталинских чисток, также подверг критике концепцию революции рабов. По мнению Баженова, в случае удачи такой революции могли наступить только два последствия. Или был бы отменен действующий порядок владения рабами и общество вернулось бы к прежним социальным условиям, или рабы сами стали бы рабовладельцами. То есть налицо была бы смена лиц, но не смена общественных порядков. Баженов не высказался по поводу того, какое из двух последствий он считает более вероятным, поскольку оба они проистекали из победы рабов, но эту возможность он вряд ли допускал. Что же не понравилось официальной догме в тезисе Баженова? Ответить на этот вопрос не составляет труда: во-первых, он отрицал, что восстания рабов были классовой борьбой, и, во-вторых, он считал возможным обратное развитие исто-

рии, то есть возвращение к первобытному строю. И тем самым как бы допускал возможность контрреволюции не только в древнем, но и в новом мире.

По мнению Баженова, не существовало такой вещи, как идеология рабов, но лишь романтическая ностальгия по давно ушедшим временам. А без идеологии рабы Баженова превращались в каких-то завистливых неудачников, которые всеми силами сами стремились стать рабовладельцами.

Говоря о положении в исторической науке в 20-х годах, нельзя не упомянуть имени М. Н. Покровского, который в эти годы был одним из ведущих деятелей Наркомпроса. Он не просто ведал здесь университетами, но был вообще диктатором в области истории. Чтобы проводить свою линию, он основал журнал «Историк-марксист», который прекратил свое существование лишь в конце тридцатых годов. О программе этого журнала Покровский пишет, что его «стержнем должны стать вопросы методологии». Необходимо дать бой буржуазным историкам путём критического разбора их метода и метода Маркса. «Бой», к которому звал Покровский, велся не только на поприще методологии. После смерти Ленина уже открыто стали говорить о существовании «исторического фронта», «на войне как на войне», «кто не с нами, тот против нас, наших врагов надо расстреливать!». Кстати, в 1929 году, через пять лет после смерти Ленина, появился канонический текст его лекции «Государство и революция». В ней Ленин впервые анализирует причины неудачи восстания рабов, и этот анализ превратился в догму для советских историков, которая оставалась в силе примерно в течение 50 лет. Ленин объяснял, что эти восстания были неминуемо обречены на поражение, поскольку даже во времена самых революционных кризисов рабы всегда оставались инструментом в руках правящих классов.

На основе этой ленинской книги Иосиф Виссарионович Сталин выдвинул тезис о том, что история подразделяется

на пять следующих друг за другом социально-экономических формаций. Рабовладельческий строй в этой периодизации стоял на втором месте. В связи с этим советский историк М. А. Коростовцев в своей статье «Изучение истории древнего мира за 25 лет» писал: «Огромное влияние на положительное марксистское решение этой проблемы оказала именно работа Иосифа Виссарионовича Сталина, с предельной ясностью и четкостью вскрывающая суть исторического процесса как смену пяти прогрессивных типов общественных отношений и тем самым разрушая циклическую концепцию развития общества, в схеме которой восточный феодализм находил удобное место».

Несмотря на то, что интерпретация Сталина немедленно оказала влияние на развитие исторической науки, поворотным пунктом в изучении древней истории (и в частности, восстаний рабов) стал 1934 год. Этому было несколько причин. Прежде всего в 1930 году отменили изучение истории как специального предмета в средних школах и университетах. Сделано это было по инициативе Покровского, который энергично ратовал за примат социальных наук. История, в сущности, превратилась, в предмет, который предназначался, чтобы снабжать социологические теории частными примерами. (Сам Покровский умер в 1932 году, и среди тех, кто нес его гроб, были Сталин, Молотов, другие члены Политбюро).

Однако 16 мая 1934 года ЦК и Советское правительство решили возобновить преподавание истории в средних школах и университетах. Цель, как объявили, состояла в том, чтобы учащимся демонстрировались конкретные факты истории, а не какие-то абстрактные истины. Решающую роль при этом сыграло высказывание Сталина о революциях рабов, сделанное на Первом съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 года. Сталин говорил: «История народов знает немало революций. Они отличаются от Октябрьской революции тем, что все они были односторонними революциями. Сменялась одна форма эксплуатации трудя-

щихся другой формой эксплуатации, но сама эксплуатация оставалась. Сменялись одни эксплуататоры и угнетатели другими эксплуататорами и угнетателями, но сами эксплуататоры и угнетатели оставались. И так же как Октябрьская революция ставила своей целью уничтожить всякую эксплуатацию и ликвидировать всех и всяких эксплуататоров и угнетателей, революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую эксплуатацию трудящихся. Но вместо них она поставила крепостников и крепостническую форму эксплуатации трудящихся».

Это удивительное открытие Сталина советский историк Л. Л. Раков впоследствии называл «десятью днями, которые потрясли рабовладельческий мир». Подробно об этом рассказывает в своей очень интересной книге «История одной жизни», Б. Я. Копржива-Лурье, изданной в Париже в 1987 году. Брошюра Ракова, по его описанию, была посвящена концу рабовладельческого строя и кончалась рассуждением автора о неспособности восстаний рабов перейти в революцию. И вот 10 января 1933 года эта брошюра была подписана горлитовским цензором к печати. Начали печатать тираж. Но 20 февраля, то есть на другой день после выступления Сталина, Ракова разбудили ночью и предложили немедленно явиться в ГАИМК (Государственная академия истории материальной культуры). Тираж его книги был задержан. Последняя страница, где отрицалось существование революции рабов, была вырвана и заменена новой. Но на этой новой странице еще ничего не было сказано о гениальном сталинском высказывании, посвященном революции рабов. Заполнить ее фактическим материалом представлялось почти невозможным.

Взялся за это дело учитель Ракова С. И. Ковалев. Но тут же перед ним возникла проблема. Дело в том, что восстание Спартака относится к 74-71 годам до нашей эры. А ведь даже советские ученые знают, что феодализм начал обретать свои более или менее отчетливые формы в 5-6 веках нашей эры и сформировался только в 9-10 веках. То есть между

спартаковским восстанием и становлением феодализма пролегало не менее 600 лет. Ковалев нашел выход: он высказал мнение, что революция той эпохи прошла через два или три этапа. Эта концепция для партийных идеологов имела особенную привлекательность, потому что и революция в России также пережила несколько этапов: декабристы, народники, 1905 год, две революции 1917 года. По этой концепции восстание Спартака была самая эффективная глава в истории первой фазы и могла быть приравнена к революции 1905 года.

Примерно в те же годы на поприще советской истории появляется молодой и амбициозный историк А. В. Мишулин, который взял на себя труд найти подтверждение сталинскому тезису. Вскоре Мишулин становится одним из самых известных советских историков не только в Советском Союзе, но и на Западе. Будучи с 1927 года членом партии, он в тридцатые годы выступает как борец за прогрессивность советской науки и как пламенный советский патриот. В страшный 1937 год Мишулин назначается редактором «Вестника древней истории», заменив первого исчезнувшего редактора А. С. Сванидзе. Даже в 1964 году еще пытались замалчивать трагическую судьбу А. С. Сванидзе, утверждая, что первым редактором «Вестника советской истории» был Мишулин. (Теперь советские историки все-таки признают, что основание этого журнала связано с именем Сванидзе.)

С 1938 года Мишулин становится заведующим секции древней истории Института истории Академии наук СССР. Трудно представить, что его сногсшибательная карьера не была связана с передовицами, восхвалявшими Сталина, которые без подписи стали появляться в «Вестнике древней истории».

В течение трех лет Мишулину удалось опубликовать три статьи и две книги о восстании Спартака, — явный признак, что его мнение нашло отклик в высших сферах. Мишулин отблагодарил Спартака за свою феерическую карье-

ру тем, что назвал своего сына Спартаком. Спартак Мишулин теперь известный телевизионный обозреватель в СССР. Таким образом Спартак и Мишулин были воссоединены навечно.

Как мы помним, до Мишулина марксистско-ленинскую интерпретацию восстания Спартака опубликовал Л. В. Баженов. Но она не пользовалась успехом, и Мишулин решает приспособить ее к новым задачам. Смысл этой «адаптации» сводился к следующему. Борьба против рабовладельческой системы началась в конце второго века до нашей эры. В это время самосознание рабов сделалось достаточно сильным для того, чтобы они попытались освободиться. В результате революции Спартака класс рабовладельцев, положение которого было подорвано революцией, должен был пойти на открытую военную диктатуру, что привело к усилению классовой борьбы. А это в свою очередь вызвало новую революцию рабов и крестьян, которые в 4-5 веках нашей эры окончательно ликвидировали рабовладельческую экономику.

В своей интерпретации Мишулин подчеркивает идеологическую основу революции рабов, новейшей параллелью которой была партия. Иначе говоря, он превратил Спартака в предводителя первого освободительного движения в истории, а если использовать слова Маркса, то в самого истинного представителя древнего пролетариата. И подобно тому как левая троцкистская оппозиция, с одной стороны, и правая бухаринская — с другой, пытались помешать великому вождю, так и в восстании Спартака экстремисты слева Крикс и Эномай и мелкая буржуазная оппозиция (то есть бедняки и мелкое крестьянство) мешали великому вождю Спартаку превращать свои планы в действительность.

Победить Спартаку не удалось потому, что у него не было достаточной дисциплины. Именно это привело к раздроблению сил в его стане. Если бы он в нужный момент освободился от оппозиции, то были бы все шансы, чтобы революция победила уже тогда. Вывод был более чем очевиден:

для того чтобы спасти революцию, необходимо вовремя уничтожить оппозицию. Так, Мишулин на примере древней истории легитимировал массовое истребление крестьян и чистки в рядах самой партии.

Как мы знаем, он не был одинок. Вспомним, что между 1929 годом и 1945 годом Алексей Толстой писал своего Петра I, преследуя примерно те же цели. Тот же смысл содержали работы С. Б. Веселовского и С. В. Бахрушина об Иване Грозном. Число подобных примеров можно умножить.

Среди работ, связанных с концепцией Мишулина, следует назвать статью Петерса, появившуюся в 1940 году. В этой статье Петерс воздает должное роли вождя в человеческой истории. Только при наличии ведущей роли вождя возможна победоносная революция трудящихся. Беда Петерса заключалась в том, что для своих исторических параллелей он выбрал не тех вождей, которых надо. Он называет Ленина, Чапаева и Щорса и даже не упоминает Сталина.

Если же говорить о противниках Мишулина, то наиболее серьезную атаку против него повел упомянутый выше С. И. Ковалев. Остановлюсь на этом подробнее, чтобы показать, какие изощренные битвы вели марксистские историки, пытаясь поставить историю на службу партии и марксистской идеологии.

Ковалев начал изучение истории еще до революции, но окончил свое образование только в 1922 году. Он служил во время гражданской войны на стороне красных и остался в рядах Красной Армии вплоть до своего ареста в 1938 году. Ковалеву повезло — он был один из немногих счастливых, которых освободили, после того как Берия сменил Ежова в 1939 году. От человека с подобной судьбой можно было ждать, что он будет осторожен, но Ковалев в 1947 году — в худшее время культа личности и великорусского шовинизма — решил опубликовать статью, в которой довольно смело развивал две следующих проблемы Римской истории. Начал он с обязательных для такой статьи нападок против

буржуазных историков. Не менее обязательной выглядела и благодарность товарищу Сталину, чье мнение дало советским историкам импульс для пересмотра их позиций относительно революции рабов в античности. По Ковалеву, ошибка Мишулина состояла в том, что он использовал только высказывание Сталина от 19 февраля 1933 года, но не принял во внимание разъяснения, данного им 24 февраля 1934 года, в котором Сталин сказал следующее: «Известно, что старый Рим точно так же смотрел на предков нынешних германцев и французов, как смотрят теперь представители «высшей расы» на славянские племена. Известно, что старый Рим третировал их «низшей расой», «варварами», призванными быть в постоянном подчинении «высшей расе», великому Риму, — причем между нами будет сказано, — старый Рим имел для этого некоторое основание, чего нельзя сказать о представителях нынешней «высшей расы». А что из этого вышло? Вышло то, что не-римляне, то есть все «варвары» объединились против общего врага и с громом опрокинули Рим».

Откуда Сталин взял идею об объединенных варварах, которые опрокинули Рим, неизвестно, но Ковалев сумел воспользоваться этим высказыванием, чтобы показать, что восстание Спартака было лишь вспышкой в длительной борьбе угнетенных против римской империи, которая завершилась революцией только в 5-6 веках новой эры. Ковалев утверждал, что согласно марксизму-ленинизму, у социальной революции должно быть четыре опознавательных признака — должен смениться способ производства, должен быть класс-гегемон, необходимы военное восстание и захват политической власти. Восстание Спартака, по Ковалеву, не привело к смене способа производства, да и не могло привести, поскольку для этого не созрели исторические условия. Во-вторых, во время восстания Спартака еще не было класса-гегемона, способного повести за собой другие классы, подобно тому как пролетариат ведет за собой крестьянство. Карл Маркс, величайший из истори-

ков древности, утверждает далее Ковалев, показал, что историю Римской республики надо трактовать как конфронтацию между крупными землевладельцами и мелким крестьянством и что в этой борьбе рабы вообще играли только подчиненную роль.

Так, при помощи Маркса Ковалеву удалось снова отнять у римских рабов место класса-гегемона, которое Мишулин им предоставил. По Мишулину, спартаковская армия состояла не только из рабов, но и из пастухов, мелкого крестьянства и безземельных батраков. Ковалев, используя нелюбовь и недоверие Сталина к крестьянам, писал, что у крестьян нет связывающей их дисциплины и что они вообще не способны играть роль класса-гегемона. В то же время безземельные бедняки в Риме были люмпен-пролетариатом, лишенным классового самосознания и, естественно, они не могли вести систематическую и организованную борьбу. А поскольку вообще отсутствовал класс, который мог захватить политическую власть, то движение рабов следует считать революционной вспышкой, но не революцией. Различие между ними не только семантическое. Революции по самому своему смыслу должны завершаться победой. Революционные вспышки всегда приводят к неудачам. Такие вспышки по своему характеру стихийные, то есть в них что-то негативное. Революция же исторически обоснована, она хорошо организована и уверенной поступью шагает в счастливое будущее.

Мы знаем, что Сталин считал организацию важнейшим фактором успеха революционного процесса, он не доверял стихийным движениям и, в частности, в партизанском движении во Второй мировой войне отрицал стихийное начало. Достаточно вспомнить, как заставили Фадеева переделать свою «Молодую гвардию» и ввести в нее партийного работника как руководителя антифашистского подполья.

Среди тех, кто продолжал наступление на концепцию Мишулина, был и Семен Львович Утченко. На Западе он

сумел снискать репутацию историка-либерала, который преследовался режимом. В конце 40-х годов Утченко стал одним из преследователей безродных космополитов. С тех времен и до середины 60-х годов Утченко был либо членом партбюро, либо секретарем партийной организации Института истории Академии наук. Так что с идеологической точки зрения партия всегда могла на него положиться. В предисловии к книге, вышедшей еще в 1947 году, он писал, что революционное движение рабов ставило перед собой не две, как считает Мишулин, а одну задачу — освобождение от рабства и, следовательно, в какой-то мере ликвидацию рабовладельческих отношений. Изменение политического климата после смерти Сталина позволило Утченко более ясно высказаться о том, что он всегда знал, а именно, что никогда не существовало единого класса рабов, что в этом так называемом классе всегда были как бы сословия, которые даже трудно сравнивать между собой.

В 1965 году в своей очередной книге Утченко пишет: «Нам пришлось указывать на неприемлемость подобных попыток, но наряду с этим и ошибочность противоположного утверждения о революционных выступлениях рабов как составной части крестьянской революции. И далее он продолжает: «Союз свободного с рабом всегда был ничем иным, как союз всадника с лошастью». То есть Утченко сам вернулся к концепции Маркса-Энгельса, отказавшись от мнения, высказанного Сталиным, которое он когда-то поддержал.

Яркий пример того, как под воздействием партийных решений советские историки молниеносно меняли точку зрения, дает нам историк Елена Михайловна Штаерман, которая после 20 съезда партии на 360 градусов изменила свое мнение о восстании Спартака. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить ее высказывание о Спартаке в «Очерках истории Древнего Рима», которые были сданы в печать 6 января 1956 года и то, что она пишет во втором томе Всемирной истории, опубликованной после 20 съезда. Но како-

во, интересно, сегодня отношение советских историков к спартаковскому восстанию? Если мы откроем изданную в 1988 году «Историю Европы», которая, судя по предисловию, призвана стать флагманом советской историографии, то увидим, что спартаковское восстание в глазах советских историков вообще потеряло свое значение. Ему уделяется примерно одна страница. Это одно из событий 70-х годов первого века до нашей эры в Италии, а никак не поворотный пункт в истории Древнего Рима.

Что я хотел показать на всех этих примерах? Прежде всего то, что исторические события в СССР неизменно служили для оправдания или объяснения политики, которая проводилась партией на том или ином этапе истории. Кажется, лучше всего это выразил Галич в одной из своих песен: «...уходят слова и приходят слова, за правдой правда вступает в права, этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране».

Возникает вопрос: а как сегодня следует относиться к положению в советской исторической науке? На мой взгляд, тут следует разделить две вещи: во-первых, как лично относиться к людям, стараниями которых создавалась в СССР лжеистория? В личном плане этим людям, пожалуй, не стоит подавать руки, то есть с ними не следует иметь дела. С другой стороны, сегодня в советской исторической науке идет повальная критика Сталина и его эпохи. Конечно, исторически такая критика не имеет никакой ценности. Следует прежде всего разобраться в специфике того, что было сделано историками, как можно точнее и скрупулезнее выяснить все факты, связанные с изучением той или иной эпохи.

История — это вообще очень сложный предмет. Советские любят говорить о том, что история — это наука. История сама по себе, конечно, не наука, и когда говорят, что история рассудит или что-то в этом духе, то это просто чепуха. История никого и ничто не может рассудить. Само слово «история» — «исторейн» означает исследовать. История должна пытаться исследовать то, как происходили со-

бытия в прошлом. При этом восстановить события прошлого можно только путем очень тщательного и точного разбора фактов. Однако нельзя не видеть, что у истории есть один большой недостаток, который сознавали еще в древности — знал это, например, Полибий, знал Диодор из Сицилии, — что все исторические события органически связаны между собой. То, что происходит в настоящий момент в Израиле, связано с тем, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе, и в ФРГ, и во Франции, и в Англии. Это кажется банальным, но это необходимо понимать: человек ни в настоящем и ни в прошлом не способен оторваться от того, что он знает и что на него в жизни воздействует. Историк может описывать свои впечатления и факты только последовательно, только один факт за другим, пытаясь воссоздать картину прошлого. Но прошлое — одно целое, и восстановить его никогда не удастся.

Что касается советских историков и, в частности, советских историков античности, то следует подразделить их, по меньшей мере, на три группы. Во-первых, это те, которые начали карьеру еще в эпоху Сталина и свой исторический метод усвоили в конце сороковых и в начале пятидесятых годов. У них в принципе нет правильных навыков и поэтому в общем и целом их «научная работа» есть всегда служение партии и партийным директивам. В связи с этим возникает общий вопрос: зачем мы занимаемся историей? Мы занимаемся историей, потому что это интересно, а не потому что история нас чему-то учит. Человек вообще должен заниматься тем, что ему интересно, а не тем, что интересует партию или какую-то социальную группу.

Трудно надеяться, что эта первая группа историков в чем-то изменится. Теперь они получают указание писать о гласности и перестройке, — и готовы искать перестройку в Древнем Риме. Главное идти в ногу со временем. Но есть немалая группа молодых историков, которые пришли в университеты в 60 — 70-е годы. Они, следуя западным традициям, стараются уходить от больших проблем, а заниматься специфически узкими вопросами, идти как бы вглубь, в

дебри истории, тщательно анализируя хитросплетения исторических фактов и обстоятельств. Особенно интересны их исследования, касающиеся смежных областей — археологии и истории. Третья группа является промежуточной между первой и второй, ее представители в своих взглядах эволюционируют то в одну, то в другую сторону.

С проблемой изучения истории тесно связана и другая проблема — отношение общества к своей истории. Нельзя недооценивать то, как народ относится к своему прошлому. Мне кажется, что те, кто резко и без оглядки обличают прошлое народа, совершают большую ошибку. Ту же ошибку, между прочим, сегодня допускают и в Израиле, когда, например, делается демонтаж образа Трумпельдора. В каких-то работах сегодня можно прочесть, что Трумпельдор не был таким, каким мы его представляем, что он, например, никогда не восклицал слов: «Хорошо умереть за Родину!» А в этот момент якобы просто крепко выругался. Возможно, Трумпельдор сказал это, возможно, сказал другое, но зачем у молодых людей отбирать идеалы, на которых они выросли, зачем отбирать веру?

Между прочим, еще в 1975 году, когда я поехал по научному обмену в Германию и наблюдал там настроения молодых немцев, я решил написать письмо друзьям в Израиль. Писал я о том, что очень опасна политика Израиля, которая все время твердит молодому поколению Германии: какие ваши отцы были негодяи.

В подобных вещах нельзя перебарщивать. Выступать против прошлого следует в малых дозах. Я думаю, что некоторые люди противятся горбачевским обличениям потому, что они оскорблены — пусть не в своих чувствах, но за своих отцов и матерей. Именно поэтому так необходимо тут чувство меры, особенно, если не выдвигается никакая положительная программа. К разоблачениям люди быстро привыкают. В обществе наступает пессимизм и апатия, в частности, наблюдаемые сегодня в Советском Союзе. Но это уже другая тема, не относящаяся к проблемам, которые мы затронули.



Ефим МАНЕВИЧ

ЕВРЕЙСКАЯ СУДЬБА

История еврейского народа отличается определенной цикличностью, сопровождаемой миграцией миллионов людей. Причем центр еврейской диаспоры всегда перемещается из сферы влияния нисходящей державы в страну, переживающую исторический подъем. После исхода евреев из некогда могучей страны она быстро утрачивает свое положение в мире и, как правило, больше не обретает былого величия.

В древней Элладе и Риме существовали процветающие еврейские общины, из которых вышли выдающиеся еврейские философы и писатели древнего мира, такие, как Филон и Иосиф Флавий. В 7 веке нашей эры на смену эллинской и римской империям пришла империя мусульманская (в ней проживало 90% евреев того времени), и центр еврейской диаспоры перемещается в мусульманский мир, где творили, испытывая сильное влияние мусульманской культуры, величайшие еврейские философы Маймонид и Ибн-Гвироль.

В 12 веке христианский мир поверг арабов, и на несколько веков центром мировой культуры стала Испания, где обосновалась добрая половина еврейской диаспоры. Но в июле 1492 г. последний еврей покидает владения королевы Изабеллы, и вскоре культурный центр мира перемещается в Восточную Европу, где и оседают еврейские беженцы.

Расцвет Польши, Австро-Венгерской монархии и Германии исторически совпал с возникновением в этих странах яркой и процветающей еврейской общины, давшей миру наиболее выдающихся деятелей мировой культуры: Гейне, Эйнштейна, Фрейда, Маркса. Закат этих государств тоже совпал с потерей ими своего еврейского населения. Словом, евреев всегда магически притягивают страны, где в данный момент творится история, словно им действительно предназначено, по выражению А. И. Куприна, «играть роль вечной закваски в мировом брожении».

НА ПЕРЕПУТЬИ

Было бы наивным предполагать, что черносотенные лозунги общества «Память» способны вызвать глубокий исторический феномен окончательного исхода евреев из СССР. Антисемитизм в СССР вовсе не увеличился в эпоху гласности. Его всегда было предостаточно, просто он стал более открытым. Считать нынешние антисемитские настроения в СССР первопричиной еврейского исхода, — это все равно что ставить телегу впереди лошади. Антисемитизм представляет собой лишь симптом глубокой национальной болезни советского общества, и евреи бегут от последствий этой болезни.

Если следовать логике исторических процессов, сегодняшний исход служит прежде всего провозвестником грядущих потрясений в России и утраты ею положения мировой державы. В конце прошлого — начале нынешнего века Российскую империю покинули более чем 2,5 млн. евреев. Этот исход предвещал тяжелые катаклизмы. Октябрьский

переворот стал этому наилучшим подтверждением. Но оставшимся евреям предстояло еще сыграть роль очередной закваски в грандиозном эксперименте русской революции. Теперь, когда этот эксперимент бесславно завершился, еврейская миссия на русской земле также подошла к концу.

Мы уезжали из России 18 лет назад — считанные единицы, которых друзья и родственники считали сумасшедшими смельчаками. Многие евреи относились к нам откровенно враждебно, поскольку даже отдельные случаи отъезда в Израиль могли ухудшить их положение в СССР, с которым они связывали свое будущее. Их настроение легко было проследить по письмам, редким и осторожным в годы «застоя», полным надежд и какого-то облегчения в начале перестройки.

«Последние события вселяют в нас надежды на какое-то улучшение в будущем, — писала мне моя родственница пару лет назад. — Дело даже не в том, что теперь стало возможным говорить о вещах, ранее закрытых за семью замками, а в том, что появились люди, которые совершенно серьезно хотят что-то изменить». Далее следовали рассказы о поездках в отпуск, о планах ремонта квартиры и новых спектаклях. Именно в это время еврейские организации на Западе неожиданно вспомнили, что на руках у советских евреев имеется 400 тыс. вызовов из Израиля, и начали кампанию за их выезд, считавшийся в тех масштабах массовым. Советские евреи ответили на эту кампанию довольно равнодушно: в Израиль выезжали ежегодно считанные тысячи, и большинство предпочитало Америку. И вдруг в начале 1989 г. произошел перелом. Со стороны могло показаться, что евреями овладел массовый психоз, и они готовы были бросить все — уютные квартиры, излюбленные курорты и театры, без которых совсем недавно жизнь казалась невыносимой.

«Нами все больше овладевает отчаяние, — пишет мне все та же родственница. — Полки магазинов пусты, все занято бесконечной трепотней, и становится страшно за будущее

детей и внуков. Здесь определено что-то произойдет, и хочется бежать, куда глаза глядят. Теперь мы часто вспоминаем твои слова о том, что все уедут. Кажется, этот час наступает. Письмо заканчивалось просьбой прислать вызов. И вот как будто началось лавинообразное движение на Запад, когда в дорогу собрались даже люди, хорошо устроенные, вросшие в русскую культуру и никогда не помышлявшие об отъезде. Речь шла не об опасности непосредственной, физической, а о той неуловимой и туманной опасности, которую евреи научились распознавать шестым чувством во время многовековых гонений и странствий.

Внешне за первые три года перестройки в положении советских евреев не произошло никаких потрясений. Однако случился глубокий внутренний надлом, связанный с тем, что они потеряли веру в будущее, утратили последнюю надежду на то, что их дети узнают лучшую жизнь. Хорошо организованная кампания давления на евреев и их запугивания со стороны русских националистов лишь углубила чувство безнадежности, хотя по-видимому, пока перестройка продолжается, евреям в России ничто не угрожает. Советские руководители прекрасно понимают, что погромы, если их допустить, немедленно лишат СССР западных кредитов, технологической помощи и определенной симпатии по отношению к экспериментам Горбачева.

Открыто декларируемая цель русских националистов состоит в том, чтобы побудить евреев к эмиграции. Русский национализм, принявший обличье «патриотизма» и «возрождения», направляется двумя силами, которые имеют ярко выраженный антидемократический характер и больше всего пострадали от перестройки, — КГБ и армией. Они традиционно не пускали евреев в свои ряды, считая их ненадежным элементом, тяготеющим к Западу. Тот факт, что большая часть демократического движения конца 60-х — начала 70-х годов состояла из евреев, не говоря уже о еврейских борцах за эмиграцию, лишь подтверждал их опасения. В представлении русских «патриотов» евреи — это народ,

который вечно сеет смуту, не признает авторитетов и паразитирует за счет русских.

Мне кажется, что сегодня есть лишь два реальных сценария развития событий в СССР. Первый: перестройка победила, демократические преобразования укрепились, экономическое положение улучшилось. Но именно вследствие перестройки эта страна все более превращается в клубок национальных противоречий и борьбы различных националистических течений. Среди них евреи представляют единственное и своеобразное исключение: у них нет собственной территории, если, конечно, не принимать всерьез карикатурное образование в виде Еврейской автономной области. Таким образом, они обречены жить среди русских, украинцев и белорусов, поскольку из других республик евреи в большинстве своем уже выехали, а оставшиеся, скорее всего, будут изгнаны. Не будучи в состоянии создать хоть какую-то видимость национальной самостоятельности, евреи вынуждены будут в конце концов полностью ассимилироваться.

Вариант второй: перестройка захлебнулась, в стране установлен авторитарный националистический режим. В этом случае евреям угрожает либо массовое изгнание, либо опасность полного уничтожения, то есть новая Катастрофа. И это не пустые слова, а план, откровенно изложенный в декларациях русских националистов.

Советское еврейство разделилось сегодня на две большие группы в зависимости от того, какой из сценариев им кажется наиболее вероятным: те, кто предвидит приход к власти русского национал-социализма, стучатся в двери посольств разных стран, чтобы покинуть корабль до того, как он начнет тонуть. С другой стороны, некоторые их сородичи все еще пытаются возродить еврейскую культуру и национальное самосознание в рамках перестройки, на которую они возлагают свои надежды.

Эта ситуация поразительным образом напоминает фашистскую Германию 1933 года. Едва Гитлер пришел к власти,

тысячи немецких евреев выразили желание эмигрировать. Однако большинство предпочло не покидать насиженных мест и остаться в рамках германской культуры в надежде, на то, что все как-то устроится, когда минуют трудные времена. Более того, тогдашний лидер сионизма д-р Хаим Вайцман, посетивший Германию в начале нацистского господства, уговаривал немецких евреев не покидать Германию и бороться там за свои права. Вот и теперь Москву буквально наводняют посланцы западного еврейства, которые строят там еврейские культурные центры и школы вместо того, чтобы организовать массовую эвакуацию советских евреев. Вполне понятно, что с точки зрения еврейских интересов, тотальная эмиграция выглядит предпочтительнее всех остальных вариантов. Вопрос однако в том, куда девать от полутора до двух миллионов евреев, оставшихся в СССР?

ЭМИГРАЦИЯ ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ?

Существует много определений сионизма. На сегодняшний день наиболее точным можно признать следующее: сионизм — это когда один еврей дает деньги другому, чтобы тот привез третьего в Израиль. Историческая честь играть роль этого «третьего» выпала советским евреям, которые на протяжении последнего десятилетия не проявляли особого желания ехать в Израиль, вызвав к жизни «неширу», то есть отсев по пути на историческую родину. Нешира больно задевала израильтян, видевших в ней оскорбление своих национальных чувств и обман. Типичным примером израильской реакции на неширу может послужить статья журналистки Оры Шем-Ор, опубликованная десять лет назад в газете «Едиот ахронот». В этой статье, озаглавленной «Маленький русский трюк», Ора Шем-Ор писала:

«Неправда, что я настроена против олим из России. Некоторые из моих лучших друзей — русские евреи. Но, положив руку на сердце, я могу потерпеть. Мне не горит воссоединиться с ними. Мне не мешает, что они пробудут в России

еще несколько лет. Они делают свои расчеты, куда им выгодно эмигрировать? Я тоже имею свои расчеты. Мой расчет выглядит так: если мы будем продолжать безотказно слать им вызовы, они будут отсеиваться в Вене. Семьдесят пять процентов из них, молодых и здоровых, прибудут в США. Остальные, старые и неработоспособные, приедут в Израиль. Эти семьдесят пять процентов потеряны для нас навсегда. Но если мы не пошлем им вызовы, они не попадут в Вену и у них не будет возможности отсееваться. Они побудут в России еще годик-два, может, даже три. Неприятно, но не так уж и страшно».

Израиль вел настоящую войну за то, чтобы перекрыть для евреев все перевалочные пункты в Европе и организовать прямые полеты из Москвы в Тель-Авив. Во главу угла был поставлен вопрос о лишении советских евреев статуса беженцев, который давал им определенные привилегии при въезде в США. Премьер-министр Израиля Ицхак Шамир не остановился даже перед тем, чтобы лично попросить об этом президента США Буша.

«Есть что-то отталкивающее в самом предположении о том, что Америка может поступиться своими законами и традициями, дабы разделить недовольство Израиля расселением евреев где-либо еще, кроме именно этой страны», — писала в этой связи газета «Нью-Йорк Таймс». — Американские еврейские организации выступили с резким осуждением попыток остановить въезд советских евреев в США. Сенаторы и конгрессмены вспоминали о гражданских правах и международных соглашениях. И вдруг позиция американской администрации повернулась на 180 градусов. Возможности въезда в Америку для советских евреев были резко ограничены, и их основной поток был направлен в Израиль.

Перемена в позиции американского правительства по отношению к еврейской эмиграции из СССР отражает глубокие изменения, происходящие в отношениях между Востоком и Западом. Падение коммунистических режимов в ряде

стран Восточной Европы, горбачевская перестройка и повсеместное разочарование в марксизме ослабили остроту конфликта между коммунистическим миром и свободными странами. Советский Союз демонстративно отказался от прежних планов проникновения на Ближний Восток и овладения источниками арабской нефти. В результате Израиль утрачивает свое положение важнейшего союзника Америки в военном противостоянии СССР. Если раньше во главу угла ставилось укрепление военной мощи Израиля, то теперь американцы делают упор на мирные переговоры.

В годы холодной войны и военного противостояния двух лагерей еврейская эмиграция служила, с одной стороны, средством оказания давления и дестабилизации СССР, а с другой стороны, она позволяла укрепить Израиль. Теперь американская администрация относится к еврейским эмиграционным проблемам как к внутреннему делу Израиля и не хочет совершать что-либо такое, что может нанести ущерб режиму Горбачева. Под влиянием своих ближайших советников Джеймса Бейкера и Джона Сануну президент Буш стремится оказать максимальное давление на Израиль, чтобы заставить еврейское государство форсировать мирный процесс на Ближнем Востоке. В Вашингтоне прекрасно понимают и то, какие проблемы возникнут в Израиле, если туда разом прибудут сотни тысяч советских евреев. Израилю срочно понадобится усиленная американская экономическая помощь, и это затруднение может стать средством давления на израильтян.

Совершенно очевидно, что советские евреи в своем большинстве не хотели ехать в Израиль. В течение долгих лет отсев составлял 75% от общего числа выехавших, а накануне изменения порядка въезда в Америку он достиг — 92%. Причины этого в какой-то мере вскрыл опрос, проведенный в СССР еврейскими активистами и о котором сообщил недавно Натан Щаранский. Опрос показал, что среди советских евреев существует убеждение, что Израиль — страна, принадлежащая, как бы не совсем к свободному миру

и что еврейское государство больше напоминает Советский Союз с его бюрократией и партийным засильем. Среди других причин были названы: служба в армии, религиозное засилье и арабское восстание-интифада.

Некоторые израильские-русскоязычные журналисты иронизируют по поводу того, что советские евреи не хотят ехать в Израиль якобы из-за тяжелого климата, хотя в Нью-Йорке климат, мол, похуже. Опрос в СССР показал, что тамошние евреи не столь глупы, как их пытаются представить в Иерусалиме, и теперь их мнение об Израиле базируется на более или менее достоверной информации.

Если бы миллион советских евреев действительно был интегрирован Израилем, это неузнаваемо изменило бы облик страны. Прежде всего, пришел бы конец израильскому социализму, который является источником многих бед страны. Достаточно сказать, что если в западных странах из бюджета финансируется не более трети производства валового продукта, то в Израиле государство финансирует 90% производства. Ему же принадлежит 90% земель. Во-вторых, военная мощь страны возросла бы многократно, поскольку образованные советские евреи прекрасно справляются со сложной военной техникой, не говоря уже о численном увеличении состава сил безопасности. В-третьих, страна совершила бы невиданный технологический скачок благодаря поистине неисчерпаемым резервам научных и технических кадров среди советских евреев. Специалисты подсчитали, что среди эмигрантов окажется 20-30 тыс. докторов и кандидатов наук. И, наконец, демографическая кривая, работающая ныне в пользу арабов, претерпела бы сдвиг в противоположную сторону, обеспечив на несколько десятков лет еврейское большинство в стране. Все эти положительные факторы не могут не радовать каждого еврея, видящего в Израиле свой национальный очаг, духовный родник.

Конечно же, романтический сионизм, вековая мечта о национальной родине, живущие в сердце каждого еврея,

должны были бы привлекать их в Израиль. Однако, когда речь идет о судьбах живых людей, имеем ли мы право, поддавшись сентиментальным мечтаниям, не взглянуть в лицо реальной действительности? А она заключается в том, что даже евреи, чудом уцелевшие в гитлеровских концлагерях, в большинстве своем стремились не в Палестину, а в другие страны. Американские евреи тоже не спешили занять свое место во вновь созданном еврейском государстве. За 42 года его существования лишь 90 тыс. из почти 7 миллионов американских евреев переселились туда. Да и само еврейское государство переживает мучительный процесс реэмиграции, которую израильтяне называют «ерида». По подсчетам Центрального статистического управления Израиля, в США проживает примерно 600 тыс. бывших израильтян, покинувших страну. То же управление предсказывает, что в ближайшие 5 лет страну покинут еще 100 тыс. коренных жителей. Поэтому многие задаются вопросом: не является ли абсурдной ситуация, когда правительство прилагает усилия, чтобы привезти в страну новых эмигрантов, тогда как оно не в состоянии удержать своих молодых и образованных граждан?

И вот теперь Израиль, страдающий от тяжелого бюджетного дефицита, неожиданно встал перед необходимостью мобилизации огромных средств на абсорбцию советских евреев. По подсчетам бывшего заместителя министра финансов Израиля доктора Йоси Бейпина, на интеграцию одной семьи еврейское государство тратит примерно 200 тысяч долларов. Таким образом, чтобы принять один миллион советских евреев — а именно об этой цифре идет речь сегодня. Израилю необходимы 50 миллиардов долларов. Ясно, что таких средств ни еврейское государство, ни мировое еврейство не имеют, и израильские руководители просто вводят весь мир в заблуждение, когда они утверждают, что Израиль примет всех евреев, желающих репатриироваться.

Ключ к выходу из тупика снова находится в руках американцев. Структура приема эмигрантов в США коренным об-

разом отличается от израильской, что связано прежде всего с разным социально-экономическим строем в обеих странах. В США заботу о материальной базе для иммиграции берет на себя частная инициатива, в связи с чем прямые расходы на прием одного беженца не превышают 5 тыс. долларов. Таким образом, если отбросить идеологические соображения и принять во внимание, что еврейские деньги в конце концов поступают из общего кармана, то экономическая целесообразность эвакуации советских евреев в США очевидна: прием одного миллиона беженцев обойдется здесь лишь в 5 миллиардов долларов — реальная сумма, которую хоть и не без трудностей, но можно изыскать.

Американская эмиграционная политика тоже претерпевает серьезные изменения. По выражению одного высокопоставленного чиновника, «ей надоело играть роль помойки всего мира». В последние пять лет вообще двери богатых стран закрываются перед эмигрантами из третьего мира. В истории Америки период лимитов и квот подходит к концу, и новые эмиграционные законы, находящиеся в стадии утверждения, предусматривают переход на систему «очков», давно уже действующую в Канаде. По этой системе для получения визы на въезд потенциальный эмигрант должен будет набрать определенное количество баллов. Будет учитываться профессиональная подготовка, знание английского языка, возраст и наличие родственных связей в Америке. Учитывая, что среди советских евреев особенно велик процент сравнительно молодых специалистов высокой квалификации, неплохо владеющих английским языком, вполне вероятно, что США сможет выдавать им ежегодно до 200 тыс. виз из общего числа 600 тыс. Напомним, что в 1905-1906 году американцы приняли 154 тысячи нищих евреев России. Так почему же теперь, в эпоху процветания США эта цифра не может быть удвоена?

К сожалению, идеологические соображения пока что заслоняют судьбу живых людей. Израильтяне требуют «только в Израиль», а американские евреи не отдают себе отчета

в том, что время может быть упущено. В этой связи на память приходит история «проекта Сосуа», когда во время нацизма президент Доминиканской республики Трухильо предложил план переселения по крайней мере 100 тыс. евреев в доминиканский район Сосуа. Сионистский Конгресс отказался от этой идеи, и в феврале 1941 г. его орган «Конгресс уикли» писал: «Сосуа — не еврейский проект. Он не принадлежит к схематике еврейских дел. Это — не еврейское мероприятие». Женская сионистская организация «Адаса» решила не помогать устройству какого-то количества еврейских детей в Сосуа, поскольку Трухильо отказался гарантировать их переселение в Палестину после войны. Ортодоксальный раввин д-р Соломон Шонфельд объяснил такой подход тем, что «сионисты считались с возможностью спасения евреев только в рамках Палестины, поэтому они отбрасывали прочие возможности». Вот и теперь принцип «только в Израиль» несомненно может притормозить эмиграцию советских евреев, а это крайне опасно для них. Неужели же история ничему не учит нас?

ЗЕМЛЯ НЕ СТОЛЬ ОБЕТОВАННАЯ

Они сходят по трапу самолета в аэропорту Бен-Гурион, в странных для израильского глаза меховых пальто, с детьми на руках. Кто-то плачет от радости. Им преподносят цветы, улыбающиеся чиновники жмут им руки и целуют детей, позируя перед фотокамерами. На всех улицах страны слышится русская речь. Новые олим ходят группами, восторженно рассматривая красивые дома и витрины магазинов. Повсюду чувствуется небывалый подъем, некая национальная эйфория. Израильтяне довольны этой алией. Хотя новенькие далеки от еврейской культуры и религии, они не так привередливы, как олим 70-х годов, которые вечно предъявляли претензии: требовали работу по специальности, приличное жилье, вечно лезли не в свои дела с советами. Нынешние не так привередливы, они хва-

таются за любую работу, соглашаются на любое жилье. Они напоминают израильтянам немецких профессоров-евреев, которые бежали из Германии в Палестину, чтобы мостить там дороги. Тогда не было капризов. Теперь тоже. Израильтяне принимают это за благо, однако один из новых израильских граждан так изложил мне свое кредо: «Это — как в войну, как в эвакуацию. Тяжелое время, его надо пережить. Потом, когда беда минует, все опять встанет на свои места».

С другой стороны, по признанию всех без исключения израильских журналистов и политических деятелей, еврейское государство оказалось катастрофически неподготовленным к приему массовой алии. Это чувство подытожил президент страны Хаим Герцог, который сказал в последнем традиционном обращении к народу: «У нас есть ненужные трудности, провалы, халатность. Вызывает удивление, в какой степени мы оказались неподготовленными к приему массовой эмиграции, хотя все знали, что она приближается».

В Израиле склонны объяснять постоянные проблемы и просчеты в области абсорбции временными трудностями и ошибками. Однако бессмысленные кафкианские ситуации в области устройства эмигрантов повторяются снова и снова, и так на протяжении десятков лет. Нельзя объяснить это просто черствостью и недобросовестностью чиновников. Здесь проявляется коренной порок системы, и устранить его не удастся ни сменой министров, ни выделением огромных средств.

Халуцианский сионизм, развившийся на исходе прошлого века, ставил своей целью собрать всех евреев мира в еврейском государстве. Его отцы-основатели, увлеченные романтической целью, вероятно, мало задумывались над практической осуществимостью такой задачи. В первые годы существования государства туда прибыло 700 тыс. евреев, и этот факт постоянно приводится как довод в пользу возможностей страны принять большую массу репатриан-

тов. Вместе с тем стоит вспомнить, как проходила абсорбция 50-х годов. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Шиплер подытожил впечатления от личных встреч с репатриантами тех лет: «Они и их отцы все еще хранят горечь унижения с тех времен, когда они прибыли в большинстве своем в конце 40-х и начале 50-х годов и ступили на Землю Обетованную только для того, чтобы быть опыленными ДДТ, втиснутыми во временные палаточные лагеря, а затем быть отправленными в бесплодные «города развития» в пустыне, где многие их дети и внуки по сей день влачат бесцветное существование в полунищете».

Существует опасность, что нынешний Израиль снова вернется к ситуации 50-х годов: в стране катастрофически не хватает жилья для олим и полностью отсутствуют возможности их трудоустройства.

Правительство провело специальное заседание для обсуждения «срочных» вопросов абсорбции. Было принято решение о выделении средств на строительство жилья за счет сокращения бюджета разных министерств. Главе правительства было предписано «срочно» создать министерскую комиссию, которая в течение двух недель должна выработать свои рекомендации и представить их правительству. Через две недели выясняется, что нет не только никаких рекомендаций, но и сама комиссия даже не была создана: глава правительства занят другими делами. И обещанные средства, естественно, не выделены. А олим тем временем продолжают прибывать по 20 тыс. в месяц, и их волевым переводят на систему «прямой абсорбции», то есть выдают какие-то начальные средства, и устраивайтесь как можете. Если бы дело происходило в Америке с ее необъятным частным рынком, такой подход можно было бы только приветствовать, однако в Израиле, где государство владеет 90% всех ресурсов, жилье и работа сами собой не появятся.

«Выясняется, что снова — после долгих лет раскаяния и разговоров о необходимости исправить ошибки прошло-

го — страна взирает на то, что происходит у нее на глазах, а жертвами снова станут сами репатрианты. Мы будем решительно возражать против попыток возрождения практики пятидесятих годов, когда вновьприбывших доставляли на грузовиках прямо из аэропорта в города развития и там оставляли их в одиночестве, чтобы они варились в собственном соку», — заявил Шломо Бухвут, мэр города Маалаот, населенного преимущественно выходцами из арабских стран.

Далеко не все израильтяне довольны прибытием сотен тысяч их собратьев из СССР. По данным Центрального статистического управления, 400 тыс. граждан страны живут ниже уровня бедности. Этот, как его называют «второй Израиль», втиснут в кварталы бедноты, где растет свое массовое движение протеста. Его лидер, выходец из семьи марокканских евреев Ямин Свиса громкогласно послал Михаилу Горбачеву телеграмму с просьбой «притормозить» отправку советских евреев. Можно себе представить, с каким злорадством эту телеграмму приняли в Кремле.

В Израиле возмущенный Натан Щаранский немедленно послал письмо главе правительства Ицхаку Шамиру, в котором бывший узник Сиона писал: «Телеграмма Свисы представляет собой насмешку над сионизмом». Между тем на Ямина Свису возмущение Щаранского не произвело особого впечатления. Вместе с депутатом Кнессета Эли Бен-Менахемом он собрал своих сторонников в лекционном зале Кнессета, где прозвучал призыв начать «социальную интифаду». В своем выступлении на этом импровизированном съезде израильских сефардов (выходцев из арабских стран) Свиса провозгласил, что «репатриация евреев России — это наказание для государства Израиль». Слова эти были встречены бурными аплодисментами. Далее Ямин Свиса сказал: «Зачем мы будем фальшивить и говорить, что мы встретим советских евреев с распростертыми объятиями? Это будет ложь. Собираются инвестировать строительство квартир для репатриантов — квартир, которые моло-

дые израильские пары не в состоянии получить. И они еще надеются, что эти молодые пары встретят репатриантов с радостью.»

В начале этого года известный израильский журналист Боаз Эврон писал в газете «Едиот Ахронот»: «Недавно по телевизору демонстрировалось заседание комиссии Кнессета по алие и абсорбции. Министр строительства говорил о великих задачах сионизма, об историческом моменте, который нельзя упустить. В заключение он сообщил о 3000 квартир, которые поступят в эксплуатацию немедленно и еще 30 тыс. в будущем году. Я же думал о другом: треть израильских семей живет ниже уровня бедности. Четверть миллиона детей тонут в безграмотности, заброшенности, преступности, проституции и голоде. И я, хоть убейте, ничего не понимаю. Если есть достаточно денег, чтобы построить или арендовать 3000 квартир, почему же нет средств для обеспечения работой тех 20 тыс. израильтян, которые каждый год покидают страну? Как это нет средств для выплаты пособия на первого ребенка в семье, которая высвободила бы тысячи семей из тисков жизни ниже уровня бедности? И почему всегда находятся деньги для каждой глупости и ерунды, но только не для истинного процветания этого народа? Что вы заботитесь о советских евреях, когда мы терпим крушение в собственном доме?»

Конечно, путем интенсивного строительства можно ликвидировать сегодняшнюю острую нехватку квартир, но на это потребуются годы. И при репатриации 150-200 тыс. евреев в год Израилю неизбежно придется вернуться к системе поселения людей в бараках и палаточных лагерях, к возрождению советской системы коммунальных квартир. Еще труднее будет с трудоустройством вновьприбывших. По данным Центрального статистического управления Израиля, безработица в стране достигает 9%. При этом объединение промышленников и управление профсоюзов — Гистадрут предупредили, что в ближайшие два-три года безработица может достигнуть 30%.

Ученый-физик профессор Герман Брановер, приехавший в Израиль в 1972 г., считает, что отсутствие рабочих мест приведет в скором времени к кризису алии. «Отсутствие внимания к алии граничит с преступлением по отношению ко всему еврейскому народу, — пишет он в газете «Маарив». — Я нахожусь в повседневном контакте с новопривычными, и совершенно ясно вижу, что уже начался спад. Верно, что те, кто находится в стране пару месяцев, пребывают в состоянии эйфории, но среди более ранних репатриантов невозможность найти работу вызывает все большее отчаяние».

По мнению известного американского экономиста Лестера Трау, приехавшего в Израиль для организации школы бизнеса при хайфском «Технионе», сегодня руководители американских еврейских организаций попросту решили проверить, в состоянии ли Израиль справиться с абсорбцией массовой алии? Если абсорбция в Израиле провалится, американскому правительству не останется другого выхода, кроме как резко увеличить квоту для советских эмигрантов, поскольку на протяжении 15 лет Америка требовала от СССР разрешить свободную эмиграцию. Американский эксперт считает, что новопривычные будут готовы мириться со многими трудностями, если у них будет работа. Но если есть жилье, но нет надежды устроиться, они начнут покидать страну, и в первую очередь, специалисты и люди с высшим образованием, которые в Америке смогут найти работу и без законных виз.

Требования увеличить число виз в Америку раздаются с самых неожиданных сторон. Арабы развернули широкую кампанию борьбы за «права советских евреев», требуя дать им возможность селиться там, где они хотят, а не только в Израиле. Горбачев обратился к президенту Бушу с просьбой увеличить квоту на их въезд в Америку. Возможно недалек тот день, когда и само израильское правительство присоединится к этой просьбе, захлебнувшись в человеческом потоке, размеры которого никто в Израиле не предвидел.

И тогда процесс вернется к прежней ситуации, когда часть евреев, которые этого хотели, ехали в Израиль, а другая часть направлялась из одной диаспоры в другую. Некоторые пылкие патриоты могут тут же воскликнуть: «Ах, как это ужасно: из одной диаспоры — в другую!» Увы, так это происходит уже на протяжении двух тысячелетий, и об этом говорил пророк Иезекииль: «Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои... Я пересмотрев овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов и соберу их из стран и приведу их в землю их и буду пасти их на горах Израилевых...»

Поколения евреев ждали, когда же сбудется это пророчество, но, видимо, время еще не пришло, а судьба народа не решается ни в Сохнуте, ни в Хиасе, а всем ходом еврейской истории.



Елена ГЕССЕН

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

**А сзади, в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.**

Б. Пастернак. «Высокая болезнь».

В последние годы в СССР популярен термин «новое мышление». Как и большинство советских философских дефиниций, понятие это туманно-расплывчато, и сказать, что же именно скрывается за ним, трудно. Отражать новое мышление, по-видимому, призвана новая литература, литература перестройки. Но и тут ясность отсутствует — что подпадает под это определение? То, что за последние пять лет опубликовано в журналах? Но можно ли отнести под эту рубрику те книги, что, пролежав в столах по двадцать лет, наконец-то вышли в свет: как «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова или «Ночевала тучка золотая...» Анатолия Приставкина, рассказы Людмилы Петрушевской и Евгения Попова?

Или то, что в свое время стало достоянием тамиздата и только сейчас дотянулось до массового советского читателя — как Гроссман и Шаламов, «Пушкинский дом» Андрея Битова или полный текст «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера? Или, наконец, то, что писалось и издавалось во всех трех волнах эмиграции — и тут список внушительен, представителен и блистателен: от Набокова до Нарокова, от Алданова до Хазанова, от Зайцева до Довлатова? И — шквальный обвал Солженицына разом чуть ли не во всех журналах самого разного толка, либерального и почвеннического? Литература задержанная, утаенная, возвращенная — какими бы эпитетами ее ни награждать, ясно, что собственно к перестройке она отношения не имеет. Да и существует ли вообще литература перестройки? Породили ли эти пять лет что-либо качественно новое в советской словесности?

До самого недавнего времени отвечать на эти вопросы было трудно. Но тут вдруг, начиная с июня прошлого года, одно за другим появилось несколько произведений, про которые не колеблясь можно сказать, что они и в самом деле — детища перестройки. Все они принадлежат к жанру антиутопии, который критик Константин Щербаков в предисловии к одному из них называет «родом литературы для нашего читателя непривычным». И это легко объяснимо: антиутопия была враждебна тому, что именовалось коммунистическим мировоззрением, — общество, строившееся 70 лет в одной отдельно взятой стране, было замешано на утопии, она внушалась его жителям с пеленок до глубокой старости, и суть метода, называемого социалистическим реализмом, сводилась к созданию утопии.

В селах пухли от послевоенного голода — а на киноэкранах гарцевали и собирали невиданные урожаи улыбочивые «кубанские казаки» (не ушедшие, надо полагать, с немцами и не выданные союзниками органам), и по книжным страницам триумфально шествовали благополучно вернувшиеся после победоносных сражений кавалеры Золотой Звез-

ды, с быстротой молнии выводящие отсталые колхозы в передовые. Общественное сознание было мифологизировано до предела: лучшее неизбежно побеждало хорошее, положительные герои перевоспитывали отрицательных, отдельные недостатки выкорчевывались, паровоз летел вперед, к коммуне. Страна жила на полную катушку в утопии. Когда с развитием гласности она ушла в небытие, и народ услышал, что все эти годы шел по пути в никуда, литература схватилась за жанр антиутопии как за свое последнее прибежище.

Да и когда же было писать антиутопии, как не сейчас, в самом начале постутопического периода? Ведь сама жизнь, по словам одного московского литератора, «словно начиталась Достоевского», сама действительность дошла до такого поразительного абсурда, что и особой изобретательности не требуется — знай себе экстраполируй сегодняшние события — в будущее: сегодняшний развал — в завтрашний хаос, сегодняшнюю потерю надежд — в завтрашнюю безнадежность и отчаяние. Потому, верно, и читаются новые антиутопии не как грозное предупреждение, но как зарисовки реальности — лишь слегка утрированные, чуть-чуть заостренные.

КАКОЕ ОНО, НЕДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ?

Экстраполятор — именно такой профессией наделяет своего героя Александр Кабаков в повести «Невозвращенец», где научный сотрудник московского академического института попадает в 1993 год, который прямо сопоставляется с «Девяносто третьим» Виктора Гюго. Горбачева уже давно нет: его после гражданской войны и артиллерийских боев в столице сменил генерал Панаев. Нет и империи: от рассыпавшегося Союза отделились Закавказье, Сибирь, Средняя Азия и Прибалтика. Прекратила свое существование и КПСС. В день, когда герой оказывается в будущем, начинает работу Первый Чрезвычайный Учредительный Съезд Российского Союза Демократической партии. Улицы

Москвы обрели свои прежние названия — Тверская, Страстная, Большая Дмитровка, а обращение «товарищи» сменилось ностальгическим «господа». Но порядка в неуютной холодной столице зимой 1993 года экстраполятор не обнаруживает: жители носят с собой автоматы, а по мостовой время от времени проносится легкий танк. Расстаться с жизнью легче легкого: с колами в руках охотятся за евреями «витязи в черных поддевах»; подмосковные анархисты, окопавшиеся в руинах гостиницы «Пекин», действуя под лозунгом «Да здравствуют Люберцы, долой Москву», устраивают публичные казни «металлистов»; бывшие афганцы из пулеметов расстреливают прохожих в переулке.

Герой попадает в облаву, проводимую Революционным комитетом Северной Персии. На его глазах из дома выводят группу мужчин, женщин и детей, подлежащих уничтожению по плану радикального политического Выравнивания — эпоха, в которой оказался экстраполятор, именуется временем Великого Выравнивания.

Продукты и вещи распределяются строго по талонам, зато в ресторане подается самогон из зеленого горошка, а столичное метро облюбовали под жилье голодающие из Ярославля и Владимира и подростки, нюхающие бензин. Ни у кого нет часов — их изъяла у населения Комиссия национальной безопасности, чтоб не использовали в взрывных устройствах — так что время можно узнать лишь по радио.

Игры со временем, между прочим, вообще характерная черта как утопии, так и антиутопии: в книге Катаева «Время, вперед!» герой утверждает, что мы не можем «доверить такую драгоценную вещь, как время, такому в сущности, простому механизму, как часы». В антиутопии польского писателя Тадеуша Конвицкого «Малый Апокалипсис» (опубликованной в 1982 году, по накалу страстей в Польше, вероятно, сопоставимому с сегодняшним советским периодом) граждане не знают не только который час, но им неизвестно какой год: в стремлении обогнать — или обдурить — время, в бесконечных играх с ним все вконец запутались, а настоящий календарь есть только в кабинете генсека, ставшего

по совместительству главным и единственным хранителем времени.

Герой, оказавшись в этом будущем, с тоской вспоминает, как всего десять лет назад, когда ему исполнилось сорок, множно было, встав ночью в очередь, купить даже мясо к праздничному столу. Теперь все это кажется сказкой. «Может, этого не было ничего. Может, ночью, когда так же змеился по мертвому городу снег и так же трещали пулеметные очереди — мне приснились эти судки, и блюда, и что-то жареное, горячее, и обжигающий глоток водки, и запах кофе, и гости, входящие без оружия, нарядные гости в целой одежде...»

Тоска по прежней, «нормальной» жизни одолевает и героя повести Вячеслава Рыбакова «Не успеть», доктора наук Глеба Пойманова. Сидя с женой на морском берегу, он рассматривает в семейном альбоме фотографии из прошлого, вздыхает о времени, когда еще был доступен Крым, «когда рубашку можно было носить хоть пять сезонов, и она не расползалась при первой же стирке», тоскует по молодости, «в которой на один лучезарный морской день нам хватало для счастья грозди винограда и банки сардин, и стоило это счастье копеек семьдесят, а не сорок три рубля при условии штампа о временной прописке, за каковой, сутки простояв под надписью «Граждане СССР имеют право на отдых», нужно отдать двести семьдесят три рубля госпошлины...».

В мире, что описан Рыбаковым, благополучие каждого зависит исключительно от расторопности и умения стоять в нескончаемых очередях: мы и знакомимся-то с героем в очереди за чаем и прислушиваемся к его лихорадочным расчетам, когда и в какой очереди надо успеть отметиться — за творогом, за виноградом, за бараниной... Руки у всех испещрены номерами: «Номера мы пишем себе сами: за хлебом ты 682-й, а за мармеладом 5300-й». Время действия в повести определено не столь четко, как у Кабакова, но явно имеется в виду горбачевская эпоха: герой слушает по радио транс-

ляцию очередного съезда. «Черниченко бил наотмашь: "И что получается? Пекари стоят в аптеку, фармацевты стоят в булочную, рабочие и инженеры стоят и туда, и туда, и ничего нет, потому что никто не работает, а все только стоят! А раз ничего нет, то и очереди не двигаются".»

Вряд ли случайно героями обеих антиутопий стали интеллигенты. Герой Кабакова по недомыслию говорит провинциалке, приехавшей в Москву «по обуви», что он журналист, и та едва не убивает «московского интеллигента»: «Из-за таких гнид началось все! Жили, как люди, все было нормально, мужик по шесть тыщ «горбатов» за хороший день зарабатывал, а вам все было плохо! Завидующие твари! Леонид Ильич вам плохой был, а у нас при нем в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была!.. Сталин вам был плохой, Брежнев, был плохой, вам Горбачев угодил!»

Аналогичный упрек нашей «паршивой интеллигенции», только в более рафинированной форме, высказывается и другим экстраполятором, с той стороны (с Запада), Николаем Михайловичем Лажечниковым, в образе которого смутно угадываются черты Солженицына (да и фамилия подсказывает эту аналогию). Старый эмигрант, встреченный героем посреди ужасов московской ночи, с горечью говорит о погромах, истребительных отрядах, голоде: «А вам, смутьянам книжным, все мало, все мало! Подстрекаете, подталкиваете... Ату его, он сталинист! Гоните его, он консерватор! Ну, прогнали консерваторов, а они-то кон-сер-ваторы! То есть хотели чтобы оставалось все, как было, чтобы хуже не стало...»

Вряд ли случайно и то, что в обеих антиутопиях активно действуют сотрудники КГБ, и не просто действует, но определяют сюжетные ходы и повороты. Кабаковского экстраполятора побуждают отправиться в будущее именно кагебисты. «Они явились прямо в институт», с этой фразы начинается повествование, и герой, при всей его ненависти и презрении к «ним», вскоре с ужасом обнаруживает, что

«сам им все наговорил, сам стал им помогать», ловит себя на мысли, что «уже вполне усвоил их тон», уже выполняет их указания — например, скрывая от жены, с кем говорит по телефону. Пожалуй, именно страх перед дальнейшим втягиванием в трясины сотрудничества заставляет его нелегально перебираться с женой в будущее, чтобы оттуда, с помощью «ночного барина» Лажечникова перенестись в другие времена, скорее всего, в прошлое: «Там пьют чай с молоком, читают семейные романы и не признают открытых страстей. Скучно, но достойно».

В повести Рыбакова сотрудник КГБ и вовсе выступает как «Бог из машины» — глава, в которой он появляется, так и названа: «Спаситель». Дело в том, что Пойманов обнаруживает у себя на спине бугорок, так называемый «вингэмбрион», из которого, как он знает, за неделю прорастут крылья. Пойманов не первый и не последний: в стране свирепствует настоящая эпидемия — у людей вдруг ни с того, ни с сего начинают расти крылья, потом они взмывают в воздух и бесследно пропадают неведомо куда. Причина заболевания неизвестна, лечения нет, все попытки просто отрезать крылья проваливались — люди умирали в страшных мучениях. «Единственная хоть сколько-нибудь убедительная теория то, что улеты — это какая-то приспособительная реакция, — рассуждает сотрудник КГБ Александр Евграфович. — Эскулапы наши считают, будто заболевают те, у кого оказались исчерпанными адаптационные возможности. Если жарко — человек непроизвольно потеет. Если холодно — начинает непроизвольно стучать зубами и подпрыгивать. Ну, а если нет сил как хреново — непроизвольно взлетает абы куда». Аналогия с эмиграцией напрашивается сама собой.

Александр Евграфович не просто рассуждает о болезни, он готов помочь несчастному Пойманову, которого непрошенные крылья не сегодня-завтра унесут от жены и трехлетнего сынишки.

У КГБ есть экспериментальное лечение, правда, гарантий

никто не дает. Кагебист активно уговаривает Пойманова пойти на риск, стыдит его — «В такое время покидать страну... свободу вам дали, свободу! Вам бы сейчас кровь из носу пахать для страны!»; напоминает о том, как в 80-м, когда Глеб был аспирантом, он проводил у него обыск, как изъяли «Континенты» с Гроссманом, Замятина, обоих Оруэллов, «Слепящую тьму»: «Ведь замечательная литература! Умная, честная! И вы тянулись к ней! Рисковали, сознательно рисковали — но тянулись, понимания вам хотелось, истины, высокого чего-то! Масштабного!»; упрекает в недостатке патриотизма — «Хотите лететь — летите. Но уж тогда имейте совесть сознаться: хочу улететь»; сокрушается насчет эпидемии улетов: «Ведь если так пойдет, здесь, может, вообще никто не останется, кроме безнадежных алкоголиков и большого начальства». Но именно все эти lamentации печального кагебиста, как и его заявление — «мы должны остановить отток, должны!» — подкрепляют ощущение читателя, что по сути мало что изменилось в мире того завтра, которое рисует нам Рыбаков: на страже интересов государства по-прежнему стоят те, кто в годы «застоя» проводил обыски и арестовывал инакомыслящих, и частная жизнь граждан, как и раньше, находится под их контролем, и при виде своего потенциального спасителя Пойманова, ученого с мировым именем, охватывает все тот же «животный ужас, вколоченный в грациозные, беспомощные и податливые, как девичьи лона, спирали ДНК Скуратовым, Ромодановским, Ежовым».

ПОБЕГ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

У героев рассказа Петрушевской «Новые Робинзоны» нет крыльев, и они не умеют перемещаться во времени — зато прекрасно перемещаются в пространстве. «Мы бежали, когда все еще было безоблачно», заявляет героиня рассказа, девочка, отец которой, геолог, «одержим идеей бегства», и поэтому семья, нагрузившись запасами консервов, перебирается в глухую, заброшенную деревню.

Подзаголовок «Хроника конца XX века» переносит нас немалого дальше во времени, чем у Кабакова, но собственно картины времени в рассказе нет. Мы не знаем, чего боятся беглецы, что должно случиться и что в конце концов случается — потому что в деревне появляются новые и новые беженцы — война ли, экологическая катастрофа? Знаем только о какой-то неведомой, но грозной опасности, угрожающей человечеству: «Все становится сложным, когда речь идет о выживании в такие времена, каковыми были наши», — сухо вато рассуждает героиня.

Рассказ об энергичном обустройстве новой жизни на лоне природы идет на фоне рассказов о горестях трех старух, последних обитательниц деревни, и это усугубляет ощущение постепенного истекания жизни, неумолимо приближающегося конца света, от которого бежали герои.

Отчасти «Новые Робинзоны», вероятно, еще и пародия на яростно проповедуемые нынешними почвенниками теории ухода от цивилизации и возврата к земле, отчасти, наверное, ироническое воплощение традиционных устремлений русского интеллигента «идти в народ», а то и просто отзвук установившейся в последние лет двадцать моды на покупку заброшенных домов в отдаленных селах. Но то, что описывает Петрушевская, нимало не напоминает деревенскую идиллию почвенников: тяжелый непривычный крестьянский труд — сенокос, прополка, окучивание картофеля, на обед — вареная трава, «с грибным супом во главе», строительство нового логова в лесу.

Контакт с внешним миром полностью прерван: робинзоны конца 20-го века полностью обособили себя от человечества — очевидно, усматривая в этом единственное спасение. «Хотя потом оказалось, комментирует трезвая героиня, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы, спасти не может ничего, кроме удачи».

В последние годы в Союзе стал популярен парафраз слов немецкого философа: «После Освенцима нельзя сочинять

музыки». Только здесь это звучит так: «После Чернобыля нельзя писать как раньше». Однако же — пишут. Даже прямо античернобыльские произведения (типа «Последней пасторали» Алеся Адамовича) написаны людьми, еще отнюдь не изжившими стереотипов утопического мышления. Петрушевская, с ее жестким пером и всевидящим глазом, никогда не существовала в утопии. Ей и отказываться-то было не от чего. Может, поэтому ее рассказ — без стрельбы и очередей, без ужасов общения с КГБ и интеллигентских рефлексий — производит куда более леденящее впечатление, чем антиутопии Кабакова и Рыбакова.

Убежавшие от человечества герои Петрушевской знают, что им это с рук не сойдет. И восемнадцатилетняя героиня снова с поразительной рассудочностью представляет читателю свои выкладки: «Кто-то живет и ждет, пока мы взрастим наши зерна и вырастет хлеб, и картофель, и новые козлята — вот тогда они и придут. И заберут все, в том числе и меня... Но нам до этого еще жить и жить. И потом, мы ведь тоже не дремлем. Мы с отцом осваиваем новое убежище».

СТРОИТЕЛЬСТВО УТОПИИ

В рассмотренных нами антиутопиях действие происходит в будущем — как оно и должно быть в этом жанре, а вот «Записки экстремиста» Анатолия Курчаткина обращены в прошлое и рассказывают о том, как создавалась утопия и формировалось утопическое сознание. Хотя подзаголовок повести гласит «Строительство метро в нашем городе», читатель довольно быстро понимает, что речь идет совсем не о метро, но о строительстве коммунизма в одной отдельно взятой стране.

...В вечерней газете некоего города появляется сообщение о начале строительства метро. Оно нужно позарез: наземный транспорт переполнен, люди висят на подножках, на «колбасе», срываются под колеса, гибнут... Но, как

явствует из газетной заметки, эти планы — дело далекого будущего: к строительству приступят лишь лет через пять-шесть. Молодой герой повести, от лица которого ведется рассказ, не желает ждать. Метро необходимо сегодня, сейчас, немедленно — он находит единомышленников, организует демонстрацию, которая становится для него переломным моментом: «жизнь разломилась для нас на ту, что была до, и ту, что настанет отныне. И эта новая жизнь, которой отныне нам предстояло жить, была сплошным мраком, черной неизвестностью, бездонным провалом в крошечную тьму...»

Это рассуждение отнюдь не только образное описание страхов и сомнений героя перед неизвестным будущим. Это еще и вполне конкретное определение того, что ждет его. Потому что через несколько лет самостоятельного строительства, наткнувшись на сопротивление властей и убедившись в невозможности строить метро легальным способом, две тысячи энтузиастов добровольно уходят под землю, поклявшись выйти на свет божий только после завершения работ. И главные среди них — те четверо, кто когда-то вышли на первую демонстрацию, идеологи и вдохновители движения, члены Вольтова братства, в котором у каждого есть свое прозвище, и нашего героя, к примеру, величают Философом: он недоучившийся студент философского факультета.

Аналогии прочитываются довольно четко. Братство — это, разумеется, партия, и реальных прототипов его членов вычислить тоже несложно: сам Философ — фигура достаточно условная, зато в Декане угадывается Ленин, в Волхве — Троцкий («как он умел говорить, какой силой, какой мощью веяло от его слов!»), в Магистре — Бухарин. Есть и Сталин — Рослый. И сюжет повести достаточно прозрачно повторяет схему истории партии: после смерти Декана власть незаметно и просто узурпирует Рослый, престарелый Волхв умоляет отпустить его на землю, (читай — в эмиграцию), а провожающий его наверх Магистр якобы застиг-

нут при попытке побега и подлежит суду. Глас народа, при активной подсказке людей Рослого, приговаривает его к смертной казни на электрическом стуле, а включить рубильник Рослый поручает Философу (хорошо знакомый нам из истории нашего государства принцип круговой поруки). В предсмертном разговоре со старым другом Магистр признается, что никакой попытки бежать не было: это Рослый велел ему вылезти из корзины подъемника и обнять Волхва на прощание. И на недоуменный вопрос Философа: «Но почему ты признался на суде в попытке побега?» — Магистр отвечает тоже вопросом: «Но ведь так нужно?» И эта логика признаний в несовершенных преступлениях тоже знакома: когда-то это называлось «загадкой московских процессов», и ее тщетно пытались разрешить лучшие умы западного — да и восточного — мира.

Отныне и до конца строительства всякая связь с землей прервана. Перекрывается даже последний узкий канал, по которому раз в год подземным жителям передавали соль, бумагу, лекарства. «Мы должны опустить шлагбаум... закрыть занавес — и чтоб ни щелки», — формулирует свое решение Рослый. Новоявленного диктатора ничуть не смущает, что занавес, наглухо отделивший подземных жителей от всего мира, отрезает их от достижений цивилизации, отбрасывает на много веков назад. «Без бумаги обойдемся, — уверен Рослый. Жили шумеры с глиняными табличками? Сможем и мы...» Хуже с лекарствами: даже Рослому понятно, что смертность подскочит, особенно детская, но — «придется пойти на подобную жертву. Ради Дела».

Из конкретного, утилитарного заведения метро превращается в некий символ прекрасного будущего, сияющего, ослепительного завтра. «Построим метро — и все везде станет иначе», уверен Философ, постоянно рассуждающий о том, «как изменится жизнь с появлением метро, насколько она станет чище, светлее, нравственнее... Ни в одном городе мира не будет такого метро, как у нас, такого светлого, великолепного, праздничного! Да, нам нужно метро

не просто как транспорт, а как дворец, как храм, чтобы он стал символом высоты нашего духа, его величия, его мощи, неукротимости!»

Люди, которых загнали под землю энтузиазм и вера в прекрасное будущее, перестают быть личностями, у них отнято право распоряжаться своей судьбой. «Отныне каждый знал, что его жизнь больше не принадлежит ему. Что она безвозмездно взята у него для Дела и будет отдана ему лишь тогда, когда заблестят станции мрамором отделки...»

Под землей сменяются поколения: теперь уже у родившихся здесь появляются свои дети, и чтобы донести до них идеалы Дела, приходится создать пропагандистский аппарат. К радости Философа, он становится главным пропагандистом, теоретиком и идеологом, и он искренне убеждает молодых в том, что когда они наконец выйдут на землю, их встретят, как героев. «Люди будут восхищаться вами, ваши сверстники будут завидовать вам. Вас ждет слава, радость поклонения, вы будете как боги».

Однако, когда наступает долгожданный день и, завершив строительство, они выходят наверх во главе с младшим сыном Философа, ставшим преемником Рослого, земля встречает их не бравурным ликованием благодарных толп, но бетонным забором с колючей проволокой, возведенным во круг первой, построенной ими еще на земле станции. Откуда взялся забор? — недоумевают они: им и невдомек, что это они сами, отгородив себя от мира железным занавесом, создали такой образ своего общества. Еще более странно и страшно то, что наверху, в небе, летают какие-то диковинные аппараты, в которых перевозят пассажиров, и никакое метро никому не нужно. И дико звучит посреди настороженной ночи чужого для них мира заранее подготовленная и тщательно отрепетированная речь Философа: «Друзья! Сограждане! Это мы — те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустился под землю!» Вож-

деленная «торжественная встреча» завершается нелепым и трагическим аккордом: Философ, только что толковавший о человеческом достоинстве, опускается на четвереньки и, тычась лицом в землю, начинает торопливо и жадно хватать ртом пригоршни травы — страшный символ опустошенности человеческой души.

Доживая последние дни в родном городе, в полном одиночестве, — сын вместе с товарищами, спустившись под землю, покончили с собой, пустив газ, — Философ размышляет над тем, что все их жертвы оказались напрасны: «все лишения, тяготы, ужас бессолнечного подземного житья, — наше метро никому не нужно, наглухо закупорено, и стоят там без толку наши электростанции и заводы, ржавеют поезда в пустынных депо...» Однако эти мысли тут же сменяет гордость от того, что жизнь была наполнена смыслом, счастьем, азартом. «Счастливыми нас делают высокие намерения, а не осуществленные цели» — парадигма типично утопического мышления. И слабеньким огоньком теплится в стариковском сознании дикая, безумная надежда: что в один прекрасный день летучие «пеналы» откажутся летать, и тогда вспомнят о метро и о тех, кто строил его, и поставят им памятники, и создадут легенды — надежда, от которой тут же камня на камне не оставляет голос рассудка. «Но все же хочется утешения, сознания ненапрасности прожитой жизни, сознания о с т а в л я е м о г о после тебя», — эти слова звучат почти прямой цитатой из писем старых большевиков, ветеранов труда и войны, штурмующих «Огонек» и «Известия» и призывающих не «чернить» былое, потому что нельзя ведь вот так, разом, отменить их жизнь, их идеалы, упования, веру, надежду, любовь, их утопию.

Но, оказывается — можно, ибо жизнь неостановимо идет вперед.



Ефим ЭТКИНД

ПРАВДА ВИКТОРА НЕКРАСОВА

«Какой я к черту писатель?!» — сердито отвечал Виктор Некрасов назойливым журналистам на их дежурные вопросы о его «творческих планах». Он говорил, что профессиональным литератором так и не стал, хоть и числился тридцать лет в Союзе писателей и даже был членом его правления. Слово «дилетант» ему нравилось, хоть и казалось кокетливо-иностранным. В мемуарном очерке, посвященном человеку и писателю, которого Некрасов высоко ценил («...что дает мне право называть его своим другом?»), — в очерке о Василии Гроссмане* — Некрасов пересказывает разговор «о писательстве». Размышляя о какой-то книге, «написанной человеком бесталанным, но интересным посты и изданной сотысячным тиражом», Гроссман с раздражением заметил, что ее автор — пошляк: «От слова «пошло». И пошло, и пошло, и пошло. И от него кругами — пойдет, пойдет... И он на этом набивает руку, становится про-

* «Василий Гроссман». В книге: Виктор Некрасов. В жизни и в письмах. М., «Сов. писатель», 1971, сс. 149 — 155.

фессионалом, ну и так далее». О своей реакции на слова Гроссмана Некрасов сообщает:

«Профессионал? Я насторожился. А что такое профессионал, профессионализм? Необходим ли он в искусстве? В писательском, во всяком случае. Не мешает ли, не рождается ли от графомании, обогащается потом техникой, знанием приемов, вкусов, требований?..»

Возник спор. Гроссман стоял за профессионализм, «или, если это слово вас отпугивает, за потребность писать. Я — за потребность и за то, чтобы она была всегда». Некрасов возражал: «А если она мешает другой потребности? Вот у меня сейчас потребность заплывать подальше в море, а не писать. Или забраться на Сюрю-Кая? Может, я первоклассный альпинист и покорю когда-нибудь Эверест? Что такое профессия и нужно ли иметь обязательно одну? Мешала ли Чехову-писателю его другая профессия — врача? Или помогала? И какое из этих призваний он, Чехов, считал более важным?..»

Важный разговор во всех отношениях. Прежде всего потому, что Некрасов вел его со старым товарищем, бесконечно уважаемым им соратником по Сталинграду, человеком, характеризую которого, он написал своеобразный автопортрет, — во всяком случае, оттенил те черты, которыми хотел бы обладать сам: «...не любил фраз и превосходных степеней, как ни странно, но не очень любил вспоминать прошлое... в вопросах к собеседнику был сдержан и деликатен. Не любил сановников и, говоря о них, не был ни сдержан, ни деликатен. Лютой ненавистью ненавидел ложь, фальшь, лицемерие. На собственном горбу познав силу критики и все ее последствия, он никогда не жаловался, хотя и негодовал и продолжал верить в то, во что верил».

Сюжет этого диалога с Гроссманом волновал Некрасова всегда. Писатель ли он? Необходимо ли ему быть писателем? Хорошо ли так называть себя или дурно, искусственно, нескромно, чуть ли не смешно? Не раз возвращался он, уже прославленным и далеко не молодым автором, к ру-

кописному журналу «Зуав», который Вика Некрасов издавал двенадцати лет от роду, — здесь печатались с продолжениями его романы «В стране браминов», «Приключения Орикэ Алегира», «Острова в огне», «Медузы», «Тайны бандитов»... «Прекрасны были концовки, — восклицает Некрасов: «Он выхватил кинжал и занес его над Намиэтой со словами: «Теперь ты от меня не отделаешься!» или: «...Именем короля вы арестованы. Следуйте за мной»...»*

Это вот и есть — «литература».

Романы «в стиле социалистического реализма», наводившие книжный рынок в течение почти полустолетия, составляли тот фон, на котором формировался Виктор Некрасов. Он этот фон не желал знать — в послесловии к книге «Сталинград» (1981) Некрасов напишет, что он о социалистическом реализме «слухом не слыхал! Читал и боготворил Ремарка, конечно же, Хэмингуэя — все им тогда увлекались, до того — Кнута Гамсуна, в самые юные годы о войне — «Севастопольские рассказы». Вот и все. Никаких «Разгромов», «Разломов» и Николаев Островских. Разве что Бабель и Ильф с Петровым».**

Он пришел в литературу отнюдь не как литератор, — он пришел как солдат, выдавший будни войны и стремившийся только к тому, чтобы рассказать правду о них, об этих серых, мучительных, кровавых, со стороны кажущихся непреносимыми, на деле же становившихся привычными, как любая повседневность, буднях. Между рассказчиком книги «В окопах Сталинграда» и войной нет никакой литературы: лейтенант Керженцев, от имени которого Некрасов ведет повествование, говорит только о том, что видит своими глазами, слышит своими ушами, трогает своими пальцами. Главное свойство Некрасова-Керженцева — это абсолютное отсутствие предвзятости, неприятие каких бы то ни бы-

* «Дедушка и внучек». Там же, стр. 10.

** Виктор Некрасов. «Через сорок лет...» В книге: Сталинград. Мюнхен, «Посев», 1981, с. 443.

ло навязанных или даже просто чужих суждений. Рассказывается так, словно не было никогда ничего написано о войне, об отношениях между людьми, о пейзажах, о храбрости и смерти — не было и нет ни романов, ни газетных репортажей, ни стихов. Вот как повествуется о голубоглазом, очень юном пулеметчике Петрове:

«Опершись о ствол пулемета, он подымается. Руки у него тоже тоненькие, детские, с веснушками.

— Мне кажется...

Глаза его вдруг останавливаются, точно он увидел что-то необычайно интересное, и весь он медленно, как-то боком, садится на дно.

Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями.

Его оттаскивают, беспомощно подпрыгивают по земле ноги — тоненькие, в широких, болтающихся сапогах. На пулемете уже другой. Шея у него толстая и красная...»*

Кажется, больше всего Некрасов боится, как бы в его рассказ не просочилась фальшь. Ложь ведь многолика; она умеет прикинуться то немногословно-мужественным храбрецом, то пламенным патриотом, то чувствительным юношей, то неторопливо-глубоким мыслителем; и все эти облики лжелитератур. Поэтому опасен и самый рассказ, — в него, хочешь не хочешь, а пролезает декламация или слезливость, газетный штамп или поэтический изыск. Некрасов отбрасывает даже рассказ, заменяя его прямым показом; между событием и словом, персонажем и фразой о нем нет того хотя бы и ничтожного зазора, в котором способна угнездиться всепроникающая фальшь. Текст напоминает развернутую театральную ремарку.

«Два или три пулемета торчат где-то на вершине, похожей на горб верблюда, — как раз против нас. Еще один прилепился где-то повыше, в овраге, и простреливает его вдоль.

* В. Некрасов. В окопах Сталинграда. М., «Воениздат», 1947, С 137.

А один мы так и не можем найти, хотя пули его цокают совсем рядом, около нас» (стр. 176).

Вокруг бушевал океан лжи; в лучшем случае, патетики. Славословия: героизм бойцов, стратегические решения, мудрость верховного. Нагнетание: ненависть к злодею-оккупанту, тоска по родной деревне и по белой березе, преданность коммунистической идее или святой Руси. Ничего даже отдаленно похожего у Некрасова нет. В его повести тянутся сталинградские дни и ночи, которые ничем не отличаются от привычных буден.

Мир наоборот: это и есть война. В нормальном мире люди радуются луне, воспевают ее. Саперам же, укрепляющим оборонительную линию, она ненавистна: «...луна ползет, ползет, становится желтой, потом белой. На все ей наплевать. По-моему, она даже быстрее обычного сегодня поднимается, точно спешит куда-то или с выходом опоздала. И, как на зло, немецкая сторона в тени, а наша с каждой минутой все светлее и светлее...» (стр. 181). В нормальном мире люди ценят искусство — музыку, архитектуру, поэзию; теперь же, вспомнив о Парфеноне, о Микеланджело и куполе Святого Петра, Керженцев одергивает себя: «Ах ты, черт... Что за чепуха в голову лезет? Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе. Прилетит тонная бомба, и нету купола...» (стр. 194).

* * *

Повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» была опубликована в двух номерах журнала «Знамя» — в 8-9 и 10 за 1946 год. Тогда она называлась «Сталинград», а подзаголовок гласил: роман. Деталь? Однако немаловажная: заглавие пришлось изменить, потому что ведь, как твердил автору официальный критик, это — «великое сражение, увиденное из какой-то одной ямки, из одного окопа»; разве это — Сталинград? Критики ворчали: «Ремаркизм». Что ж, нечто разумное в этом определении было: не в том

дело, что Некрасов ориентировался на Ремарка; но Ремарк в книге «На западном фронте без перемен» тоже стремился к абсолютной внелитературности — он, как позднее Некрасов, искал путей к чистой жизненной правде, не осложненной книжными воспоминаниями или ассоциациями. Такое же отсутствие зазора между реальностью и художественным словом характерно для Хемингуэя — ведь и он, как мы помним, служил Некрасову образцом.

(Замечу в скобках: избрав путь дневниковой прозы, прямого внелитературного показа, Некрасов нашел одну из эффективнейших форм противостояния фальши соцреалистической или лжеромантической литературщины; другой формой опровержения примитива — впрочем, позднее — оказалось, наоборот, проза суперинтеллектуальная, до предела нагруженная скрытыми цитатами, аллюзиями, ассоциациями, намеками: таковы произведения В. Аксенова и А. Битова.)

Но вернусь к двум номерам «Знамени». Сюжет, который они содержат, неправдоподобен.

В вдвоенной книжке номер 8-9 читатель прочел первую часть романа. Книжка вся замечательная. Вслед за некрасовским «Сталинградом» напечатаны «Новые стихи» Маргариты Алигер — они полно выражают настроение первого послевоенного года, особенно стихотворение, озаглавленное «Большие ожидания»; эти слова — формула эпохи:

Все горше, обидней, иначе, —
навыорот, наоборот.
Но рвется упрямо к удаче
больших ожиданий полет.

И в пору жестоких страданий
является людям всегда
великих больших ожиданий
знакомая с детства звезда...

Итак, «большие ожидания» — новой жизни, царства справедливости, свободы, которые народ заработал лишениями

и жертвами военных лет. Ожидания того, что все будет по-новому, иначе. Несколькими страницами дальше Марк Максимов восклицает:

Но все иначе! Все кругом иначе!
Свет? Хорошо, что светится окно!
Ребенок плачет? Хорошо, что плачет, —
что жив, что плакать не запрещено...

Вся книжка «Знамени» проникнута ожиданием правды, устремлением к ней. Завершает ее редкая по глубине, серьезности, точности статья А. Дермана «Подвиг писателя» — о творчестве Василия Гроссмана в военные годы, о бесстрашии, беспощадности и зоркости этого писателя (а ведь главное произведение Гроссмана — его роман «Жизнь и судьба», которым восхищался Некрасов — было еще далеко впереди...)

Первая часть «Сталинграда» оканчивается на 82-й странице обращением Керженцева к ординарцу:

«В два разбудишь, Валега... В четверть третьего...

Ответ не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнувший потом живот, я уже сплю.

(Окончание следует).»

Лейтенант Керженцев проснулся через месяц — в номере десятом. Но проснулся он в другую эпоху. Большие ожидания кончились большой катастрофой.

* * *

Десятая книжка «Знамени» открывалась не второй частью «Сталинграда» (как предполагалось первоначально), а — постановлением ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Речь, как известно, была о Зощенко («давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности»), и об Ахматовой («стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества (...) не могут быть терпимы в советской лите-

ратуре»). Вслед за «Постановлением» шел «доклад т. Жданова...» на ту же тему (Зощенко «продолжает оставаться... беспринципным и бессовестным литературным хулиганом», Анна Ахматова — представитель «безыдейного реакционного литературного болота»), а затем — редакционная статья, озаглавленная «Выше знамя идейности в литературе», где к двум жертвам «Постановления» прибавлены, уже по инициативе журнала «Знамя», другие преступники: К. Чуковский, («порочная сказка»), Н. Асеев («упадочные стихи»), К. Федин (книга «Горький среди нас»), Вс. Иванов («неудачный, искусственный, порочный роман»), Ф. Панферов («грубая, полная ошибок и путаницы статья»), А. Коптяева («пошлый роман»), С. Кирсанов («формалистическая поэма»), Ю. Юзовский и А. Гурвич («эстетские и субъективистские статьи о театре»), П. Антокольский («надрывные, полные тоски стихи»), В. Гроссман («вредная, пропитанная чуждыми нам философскими взглядами пьеса») и еще, и еще.

Некрасовский «Сталинград» возобновлялся только на стр. 38, после всех этих поношений и проклятий. (Первая фраза гласила: «За всю свою жизнь не припомню я такой осени»). А после романа Некрасова шла статья Ильи Сельвинского о Джамбуле, где казахский акын приравнен к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, и где с придыханием восторга цитировались строки Джамбула о вожде, ибо, как утверждал Сельвинский, «Сталин — золотая струна его домбры. Сталин — хрустальная струя его песни... Сталин — самая горячая артерия его сердца» (стр. 190).

Так Виктор Некрасов, стремившийся избежать не только лжи, но даже и самых малых оттенков фальши, оказался погруженным в зловонную клоаку. Книга, открывавшая (или: призванная открыть) новую эпоху в русской литературе, оказалась зажатой между жерновами, олицетворявшими худшее, что только породила старая: террор и культ. Невежественный, литературно-идеологический террор; и напрямую с ним связанный непристойно холопский, гро-

тесно-уродливый культ. А ведь Сельвинский был когда-то талантливым поэтом, — можно ли поверить, что он всерьез и, более того, с истинным восхищением приводил идиотские стихи Джамбула: «С месяцем ярким его бы сравнил — Светит в полночь, а в полдень нет; С солнцем жарким его бы сравнил — светит в полдень, а в полночь — нет. Взявши в руки свою домбру, Не зная, с чем бы вождя сравнить, Тут-то и мучается Джамбул.» (стр. 190).

Между этими двумя чудовищами, между Сциллой ненависти и Харибдой идолопоклонства, стоял беззащитный в своей ничем не приукрашенной чистоте и бесхитростной подлинности роман-дневник Виктора Некрасова. Насилие повернуло развитие литературы в том направлении, которого требовал Жданов: «...отвечать ударом на удар против (...) гнусной клеветы и нападок на советскую культуру и социализм, (...), смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растления».*

Насилие позволило торжествовать лжерелигии, сотней страниц ниже провозглашенной Сельвинским: «...генеральная ее (советской поэзии) тема — тема вождя. Тот, кто проходит мимо этой темы, никогда не осознает истинной природы нашего искусства, ибо понятие «вождь» для современного художника есть в идеале своем реальное воплощение философского понятия «народ».**

Нельзя сказать, что Виктор Некрасов, чей роман был зажат между этими двумя заклинателями, не обратил внимания ни на эти угрозы террора, ни на требования культа. Кое в чем уступил. Позднее рассказал, что фраза «И до победы доведет!» (про Сталина) была вставлена — «после длительного с моей стороны сопротивления, которое опытным бонзам удалось, в конце концов, сломить. Заливаясь кровью, я сдался — каюсь»***.

* «Знамя», 1946/10. сс. 23 24

** «Знамя», 1946/10, с. 189

*** «Сталинград», 1981, с. 450.

Шел и на другие компромиссы: «Научился всем сложным приемам циркового искусства, без знания которого — эквилибристики, жонглирования, балансирования, хождения по проволоке, а то и по лезвию ножа — и дня не проживешь на арене советской литературы» (стр. 451). И все же Некрасов не сдался: литературным вельможей не стал, лгать не соблазнился, сохранил достоинство, чувство чести. Его противостояние, — иногда более успешное, изредка менее, — продолжалось около трех десятилетий. В 1974 году его выдавили в эмиграцию.

Отъезду Некрасова предшествовала проработка его сперва лично Хрущевым, обвинявшим писателя в зловредной идеализации буржуазного мира («турист с тросточкой»), а потом и нижестоящими парторганизациями; выступление в Бабьем Яру; обыск его киевской квартиры с конфискацией множества книг, журналов, писательских рукописей. Многим он поделился с читателями позже, в середине семидесятых, в «Записках зеваки». Характерен его рассказ о митинге 1966 года в Бабьем Яру, — люди собрались там по случаю 25-летия трагедии, о которой Некрасов пишет: «...это было первое столь массовое и в столь сжатый срок сознательное уничтожение людьми себе подобных».*

29 сентября 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно сто тысяч киевских евреев. «Потом овраг замели». В 1961 году миллионы тонн пульпы прорвали дамбу, затопили трамвайный парк и жилые районы. Позднее на этом же проклятом месте провели автомобильную дорогу и возвели многоэтажные здания. А еще позднее, в двадцать пятую годовщину, в бывшем Бабьем Яру собрался многотысячный митинг — митинг скорби («сионистское сборище» — так называли его власти). На этом митинге выступило несколько человек, — одним был Виктор Некрасов. «Речь моя, — рассказывает он десять лет спустя, — действительно, никем не проверялась. Родилась она на месте, среди плачущих и рыдающих

* «Записки зеваки», 1976, с. 69.

людей...» Верный себе, Некрасов, ненавидящий похвальбы, излагает речь не свою, а Ивана Дзюбы, заявившего: «Мы должны всей своей жизнью отрицать цивилизованное чело-веконенавистничество и общественное хамство. Ничего более важного, чем это, сейчас у нас нет, ибо иначе все общественные идеалы утратят свой смысл» (стр. 73). Некрасов приводит эти слова, восхищаясь отвагой Дзюбы, — «писатель, умница, из тех, кто никого не боится, а потому и нелюбимый начальством всех сортов. Одна из наиболее ярких фигур Украины 60-х годов» (стр. 72). Все это в полной мере относится и к самому Некрасову, пожелавшему и здесь остаться в тени, — впрочем, кое-что он все же поведал нам и о себе. Строки эти привести надо, — они высветляют важнейший эпизод борьбы гражданского общества шестидесятых годов против партаппарата:

«Бог ты мой, сколько раз вспоминали мне потом этот Бабий Яр. И у бесчисленных партследователей, с которыми свела меня судьба, и на парткомиссиях, и на бюро райкомов, горкомов и обкомов... «Расскажите, что у вас там произошло, в Бабьем Яру!» А ничего не произошло, просто я сделал то, что должны были сделать вы — райком, горком, ЦК — в день гибели ста тысяч, как вы теперь говорите, «советских граждан», прийти и сказать то, что вместо вас сказал я — будет здесь памятник! — что сказал Дзюба — пора положить конец этой позорной вражде. Вы не пришли — не захотели, забыли — пришли и сказали мы...» (стр. 74).

* * *

А еще был обыск, длившийся почти двое суток — 42 часа. Протокол обыска, — «60 страниц со ста пунктами изъятых материалов, в том числе хирургический скальпель моей матери — врача — холодное оружие (с. 103). Шесть дней много-часовых допросов следователем по особо важным делам «в его кабинете Комитета госбезопасности на знаменитой Короленко, 33». Наконец, беседа с ласково улыбающимся ге-

нералом КГБ, высоким, даже вторым на Украине чином: «В окопах Сталинграда» — лучшая книга о войне (...) Как же так получается — все та же улыбка — что из окопов Сталинграда я перебрался вдруг в окопы холодной войны?...» Угрозы ареста. Посулы всякого рода — в случае раскаяния в газете. О своих переживаниях В. П. Некрасов сказал очень определенно, — «основное чувство, которое я тогда испытывал, — это был стыд. Стыдно, что вдаешься в подробности, что вообще отвечаешь, а, главное, пытаешься показать, что все это тебе нипочем (...) От чувства стыда я не могу отделаться до сих пор. Немолодой человек, писатель, должен доказывать, что он имеет право читать книги (...) Каждый раз, возвращаясь с допроса, я спрашивал себя — зачем все это затеяно, с какой целью?...» (стр. 102-103).

Сразу после обыска В. П. Некрасов написал очерк (или памфлет?), прозвучавший по радиоголосам всего мира и недоуменно озаглавленный: «Кому это нужно?» Ветеран, который героически воевал в самой горячей точке фронта и чудом остался жив; который кровью доказал свою преданность России; который, написав самую правдивую книгу о войне, стал прославленным писателем, переведенным более чем на тридцать языков, — теперь он оказывался государственным преступником, избравшим «окопы холодной войны!» Некрасов был в осаде. Подводя итоги в 1981 году, он имел основание с горечью сказать: «Тридцать лет в партии — самой жестокой, самой трусливой, сильной, беспринципной и растленной в мире. Поверил в нее, вступил и к концу пребывания в ней — возненавидел. Три года в армии, в самые тяжелые для нее дни. Полюбил ее и победами ее горжусь. Полюбил вечно чем-то недовольного рядового, бойца — солдатом он стал называться позже. Нет, не того, что на плакатах или в Берлине, в Тиргартене, спокойного, уверенного, в каске, — их никто никогда не носил, — а другого, в пилотке до ушей, в обязательно разматывающихся обмотках, ворчливого, матюгающего старшину больше, чем немца, пропахавшего пол-Европы и вскарабкавшегося на Рейхстаг» (стр. 453).

Последняя фраза — писательская программа Некрасова. Ему всегда претила сусальность плаката и патетика монумента («...чудовищное, золоченое нагромождение мускулов и безвкусицы» — (стр. 110), фальшь героической позы и даже таких липовых символов, как солдатская каска. Боец был некрасив, чужд всякой театральности, сквернослов и выпивоха; таким и любил его Некрасов, ставший в русской литературе писателем этих именно бойцов — в «пилотке до ушей».

* * *

За годы эмиграции В. П. Некрасов объездил, пожалуй, чуть ли не весь мир. Его путевые очерки — совершенно особый жанр, отличающийся от того, что прежде знала литература. Открывают этот цикл «Записки зеваки», за которыми следуют «Взгляд и нечто», «По обе стороны стены», «Из дальних странствий возвратясь». Конечно, это рассказы о виденном пути, однако в неменьшей — если не большей! — степени это рассказы о себе, о своем внутреннем мире, своей памяти или, по-старомодному выражаясь, о своей душе. Некрасов лукавит с читателем: из себя он изображает простака, повесу, лентяю, сибарита. Эпиграфом к «Запискам зеваки» взято определение из толкового словаря Ушакова: «Зевака — (разг., фам., пренебр.) человек, праздно, с тупым любопытством на все глазающий, разиня, бездельник». Читатели охотно верят, часто они читают «Записки...» сквозь эту автохарактеристику их автора, — в дальнейшем о нем сказано подробнее, но в том же духе: это человек, который «не прочь, просто так, без дела, походить по улицам, руки в брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи, которые никто никогда не видит, так как смотрят только вперед (или направо, налево, витрины, киоски), присаживаясь у столика кафе или на скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров...»*

* «Записки зеваки», 1976, с. 7.

Не верьте Некрасову, — никакой он не разиня, не бездельник, не зевака. «Записки» подобного рода — это иная форма внелитературного существования, иной способ противопоставить себя всем набившим оскомину литературным условностям. Некрасов сразу предупреждает читателя, что его ожидает чтение особое, непривычное: «...если ты, читатель, любитель крепко сколоченного сюжета, завлекательной интриги, интересных, со сложными характерами героев, если ты любишь длинные, подробные, сотканые из деталей романы или, наоборот, сжатые, как пружина, новеллы, — сразу предостерегаю: отложи эти страницы. ничего подобного ты здесь не найдешь.» (стр. 7).

«Записки зеваки» открываются, как видим, «жанровой» полемикой. Повесть «В окопах Сталинграда» строилась на художественном принципе дневника. Через тридцать лет — в «Записках зеваки» — найден иной художественный прием, по функции близкий первому: свободного размышления, перелетающего от темы к теме, от одного воспоминания к другому, от впечатления к наблюдению, от малого к значительному и снова к ничтожно малому, — одним словом, вольного размышления, не подчиненного никакой сюжетной условности и отражающего лишь внутреннюю логику рассказчика. Наряду с тем, военного времени, «дневником», этот жанр тоже призван противостоять лжи: ведь всякая литературная конструкция — особая форма художественной «неправды».

В «Записках зеваки» сменяют друг друга м ы с л и о детстве и старом Киеве, о собственных первых шагах в литературе и принципах социалистического реализма, о чувстве страха в жизни советской интеллигенции, о наглядной агитации в СССР, архитектурных принципах Антонио Гауди, «фасадничестве» двадцатых годов и разных стилях в архитектуре нашего века, о творчестве киевлянина Городецкого, построившего «Замок Ричарда Львиное Сердце» на Андреевском спуске, и о семье Булгаковых, жившей в соседнем доме, о трагедии Бабьего Яра и судьбе автора в связи с ней,

о разгроме еврейского кладбища в Киеве и проблеме современного антисемитизма, о газете «Правда» и советских интеллигентах, избравших «не служение народу, а власть поддерживающим», о прессе, превратившейся в нечто «уныло-призывно-лозунговое, тянущее на зевоту»...

Перед нами — широко образованный, умный человек. Только человек этот пишет не трактат (скучно, абстрактно!), не роман или новеллу (фальшиво, искусственно!), не дневник (этот жанр соответствовал намерениям автора в 1946 году, теперь он не годился), а свободное размышление о жизни, о самом себе, об искусстве и истории, не связанное никакими ограничениями, кроме воли и прихоти рассказчика.

Конечно, Некрасову было интересно видеть новые страны; с никогда не остывавшим, почти мальчишеским любопытством глядел он на Токио и Лондон, Мадрид и Венецию, Тель-Авив и Люксембург. Конечно, Некрасов любил Париж, которому посвятил немало прекрасных страниц («...Как сладостно ощущал атмосферу, насыщенную историей; погружался в туман, обволакивающий остроконечные крыши высоких домов, с их фронтонами и башнями, любовался «*ra-tine*», покрывающей порталы, вывески, фонтаны; увидеть прекрасные особняки, высокие, заросшие плющом ограды, позеленевшие статуи, затейливый боскет, таинственные изображения на гербе, священную Мадонну в нише!»).^{*} И все же... Все же душой он жил в Киеве и Москве. Наслаждался свободой и бесчисленными впечатлениями от разных стран и городов, а тосковал, горько тосковал, по дому. Изгнание для него было изгнанием — пусть оно и казалось счастливым. В конце «Маленькой печальной повести» — последнего из своих значительных сочинений — Некрасов, вспоминая день отъезда из Киева, спрашивал себя: «Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года?» И отвечал: «Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел».

^{*} «Записки зеваки», 1976, с. 128-129.

Однако далее следует оговорка, в известном смысле отрицающая «благословение»: «Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень».^{*}

Некрасов тосковал по друзьям («Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья. В особенности, когда их лишаешься»), по языку, по дорогим его сердцу местам, по российскому застолью («В затхлой атмосфере прокуренной холостяцкой комнаты, закусывая колбасой и огурцом, разложенными на газете». — стр. 122). По читателям, понимавшим его, умевшим оценить его искренность и доверчивость («И читатель-то, кроме старого, привычного, любимого, появился сейчас у меня новый, который с полуслова-то и не поймет, ему объясни, растолкуй...» — с. 29).

Вся проза Некрасова — диалог с ним, с этим читателем. Утрата его или даже просто отрыв от него были для Некрасова драмой. Василий Гроссман мог обходиться без прямых контактов со своей публикой, не говоря уж о Солженицыне, рассчитывавшем на будущее. Некрасову было всегда необходимо, чтобы единомышленник на лету схватил его интонацию, разделит его волнение, вместе с ним негодовал, вместе — влюблялся. В стране изгнания это было невыносимо, даже если она называлась — Франция, даже если за окном был Париж, — «некое, весьма сложное, переплетение различных воспоминаний и ассоциаций, клубок из прошлого и настоящего, некое священное место, где неожиданно вдруг встретилось то, что, казалось, никогда и ни при каких обстоятельствах не могло бы встретиться» (стр. 131).

Писать в изгнании было тяжело, часто невесело. Некрасов грустно шутил: «По утрам сочиняю нетленки...» И не следует из упрямства, из желания отстаивать достоинство эмиграции утверждать: «Минувшие десять лет, книги, написанные за эти годы, были для Некрасова временем творческого расцвета».^{**}

^{*} «Маленькая печальная повесть». Лондон, 1986, с. 86.

^{**} М. Геллер — «Условия человеческого существования». В кн.: В. Некрасов, Маленькая печальная повесть, Лондон, ОРІ, 1986, с. 6.

Это — легко опровергается фактами. Но как бы то ни было, личность Виктора Некрасова настолько обаятельна, противостояние его бесчеловечному режиму настолько мужественно, литературные открытия настолько значительны, что читатель, от которого он был насильственно отторгнут на полтора десятилетия, должен узнать его творчество и его жизнь в возможно более полном объеме.

В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

1. РЕДАКЦИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ С НЕДАВНО СОЗДАННЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ АГЕНТСТВОМ «ОГОНЬКА» О ТОМ, ЧТО СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1990 ГОДА ЭТО АГЕНТСТВО НАЧНЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ НАШЕГО ИЗДАНИЯ В МОСКВЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЖУРНАЛА БУДЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ «ОГОНЬКА» ДЕНИС НОВИКОВ.

2. В НОЯБРЕ 1990 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗРАИЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ». РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ ЗВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ДОРЕ ШТУРМАН И СОТРУДНИЦЕ ОТДЕЛЕНИЯ РИТЕШИФРИНОЙ.



В ТРЕУГОЛЬНИКЕ «РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ — ЕВРЕЙСТВО» Я ПОНИМАЮ СЕБЯ

Интервью профессора Джона Глэда с Фридрихом Горенштейном. Из цикла «Беседы в изгнании»

ДЖОН ГЛЭД. Фридрих Наумович, вы невероятный архаист, по крайней мере, что касается книги «Псалом». Ее традиции идут не столько из русской литературы и даже не из западноевропейской, а прямо из Ветхого Завета — как в смысле художественном, так и в философском. Чем вы это объясняете?

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН. Наличием конкретного материала. В других книгах корни у меня другие. В романе «Место» — это второе мое фундаментальное произведение, корни, пожалуй, исходят из классического романа. Это материал подсказал мне форму романа, и я в данном конкретном случае решил посмотреть на Россию через призму Библии. На ее историю. Но я меняю всякий раз стиль в зависимости от конкретного материала. Хотя Библию я давно

читаю, читаю ее внимательно и многому учусь у нее: не только стилю, но и той беспощадной смелости в обнажении человеческих пороков и самообнажении, в самообличении. Такой смелости нет ни в одном народном фольклоре. Отчасти потому фольклор еврейского народа и стал Библией. Тут нету богатырей положительных и отрицательных Змеев Горынычей только. Здесь человек борется в комплексе дурного и хорошего. Дурное часто вырастает из хорошего, а хорошее из дурного.

Д. Г. Вы с самого начала задумали книгу в таком ключе или рукопись менялась по ходу работы?

Ф. Г. Рукопись не менялась, потому что у меня всегда первоначальный план обдумывается предварительно и на обдумывание и обработку уходит гораздо больше времени, чем на написание даже такой большой книги.

Радиокомитет начал розыск пропавших во время войны родственников. Было объявлено об этом и предложено писать письма, в которых бы рассказывалась жизнь каждого из пытающихся найти этих своих родственников. Некоторые из этих писем были переданы в эфир, а другие — наиболее интересные — один из технических работников передал мне. Я еще не знал, какой именно период истории России буду описывать, и вот эти письма подсказали мне форму построения — на притчах, начиная с коллективизации и войны по семидесятые годы. Вот так — закономерное обдумывание темы и случай, который подворачивается часто, всегда, когда человек сосредоточенно думает об одном и том же...

Д. Г. И что вас навело на мысль именно в библейском ключе?

Ф. Г. Я давно занимаюсь библейской темой. Во-первых, потому что для меня Библия — учебник культуры. Я ее воспринимаю не как религиозную книгу, а как произведение культуры. Это лично для меня. А идейно я считаю, что, опираясь на Библию, можно вести борьбу с современными извратителями, то есть с теми, кто продолжает извращать

библейские мысли. Одна из причин, по которой эта книга не воспринимается многими, это то, что она выявляет ложный путь христианства, во многом противоположный Иисусу Христу, Иисусу из Назарета.

В Германии пока издательства, очевидно, не принимают эту книгу потому, что кровавая история дана с позиций Библии. Эта тема распространяется не только на одно, но и на будущие поколения. В другой книге, которая написана уже здесь — «Попутчики», — показаны немецкие зверства в большей степени, но насколько я понимаю, немецкие издатели возможно захотят ее издать. Во Франции она уже вышла. В «Попутчиках» все дано как бы в более социальном плане. А здесь — библейский взгляд обладает пронизывающей и разящей силой. Он не оставляет надежды преступнику. Ни на этом, ни на том свете. Не прощает, как Божий Суд, о котором писал Лермонтов. Человеческий суд простит, Божий Суд не простит. И воздаст каждому. Вот это одна из причин, по которой у этой книги будет непростая судьба.

Д. Г. Подзаголовок: роман-размышление. На самом деле это пять притч, каждая из них имеет свое философское вступление. В самом деле, вы считаете, что это роман?

Ф. Г. А какой же это еще жанр? Для меня роман — это повествование, охватывающее разные стороны жизни. Я считаю это романом в такой притчеобразной форме. А как его еще назвать? Узел? Или поэма? А вы как считаете?

Д. Г. У меня, откровенно говоря, нет готового ответа на этот вопрос, потому я его и задал.

Ф. Г. Я пытался притчи дать в общем библейском ритме. В любой прозе есть ритм. Если поймал ритм, тогда уже... и проза идет, как музыкальный инструмент. В нынешней литературе, когда мастерство потеряно, а осталось только вдохновение и выдумка, это может быть, и не играет роли, но я, слава Богу, в силу обстоятельств своей жизни был отстранен от общего потока, и поэтому учился у книг, учился у мастеров и учился ритму. Не в литературных институтах, не в литературных компаниях, не в «ленинградской шко-

ле», как ее называют. Еще, невольно я должен был учиться у жизни. Я жил так, как не хотел, как не пожелал бы жить кому-нибудь другому, и как мой сын, я надеюсь, жить не будет.

Д. Г. В какой степени эта религиозная идея в книге исходит из ее сути, из ее ритма и в какой степени это ваша личная философия?

Ф. Г. Те идеи, которые отражены в «Псаломе», были моими идеями во время написания книги. Но идеи человека меняются, в то время как идеи книги остаются неизменными. В этом смысле говорить о том, что любые мои идеи точно совпадают с теми, которые отражены в конкретной книге, неправильно. Я могу теперь уйти от того душевного состояния, потерять его. И уже потерял, наверно, в значительной степени. Я теперь ниже этой книжки. Потому что я занимаюсь другими делами и не знаю теперь Библии так, как знал ее, когда писал «Псалом». И не должен, и не могу это знать. Этим отличается писатель от философа.

Д. Г. Есть литературоведческая школа, которая утверждает, что автор — это просто один из читателей данной книги, и у него нет никаких приоритетов. В контексте русской литературы в целом и русской эмигрантской литературы вас скорее нужно отнести к аутсайдерам. Как вообще выглядит современная русская литература с вашей точки зрения, «извне», так сказать?

Ф. Г. Ну, она переживает не лучшие времена, вместе со всей мировой культурой. Налицо духовное падение, связанное с социальными процессами, происходящими в мире. Последние остатки духовности, напряжения и мастерства, что самое важное, потеряны где-то в тридцатые годы. Я не принадлежу к тем, кто восторгается шестидесятыми годами. Они, конечно, раскрепостили сознание, и в этом их ценность. Но в смысле мастерства, о с о б е н н о мастерства, и в смысле духовных взлетов это были годы, во многом затормозившие развитие литературы. Беды новой оттепели отражают слабые стороны той, первой оттепели.

Почему сейчас многое идет на убыль? Потому что литература взяла на себя публицистические задачи. А это никогда не проходит даром. Публицистика может существовать у Данте, великая публицистика, но она является только одним из слоев, одним из источников. У меня, в какой-то степени, тот же посыл, что у него. Данте стремился как бы отомстить своей жизни. Но при этом он понимал, что чем художественней он это будет делать, тем месть будет сильнее. В какой-то степени это «чувство мести» владеет и мной.

Д. Г. Я вижу у вас стоит книга Маркеса «Сто дней одиночества» в немецком переводе...

Ф. Г. Да, она стоит, но на полке моей жены. Она читает эту книгу. Я не принадлежу к поклонникам Маркеса.

Д. Г. Но мне показалось, когда я ее увидел, что вы должны были найти в ней что-то родственное...

Ф. Г. Нет, она очень тесно связана все-таки с модернизмом. Поэтому Маркес и популярен. Он во многом выходит как бы из школы Кафки. Я люблю Кафку, но за другое, как раз за классические отзвуки у него. Маркес и многие другие успешно живущие в современной литературе писатели берут вот эту модернистскую сторону Кафки и Достоевского. Наверное, это лучшее, что сейчас есть, но у меня от этого какое-то отталкивание. И у Набокова мне не все близко, но я понимаю, что это литература. Это уровень. Ведь очень важен уровень. Булгаков во многом мне не близок. Я не считаю «Мастера и Маргариту» лучшей его книгой. На мой взгляд, лучшее — это «Белая гвардия». Он уж слишком фельетонист. И у Платонова не все мне подходит. Маленький рассказ «Фро» мне ближе, чем «Котлован». В «Котловане» Платонов переходит какие-то... какие-то гармонические границы и слишком играет сказочным словом.

Для меня очень важен язык. Я считаю, что он потерян в современной культуре. И в жизни тоже. Он, с одной стороны, обюрокрачен, а с другой, криминализован. Я вот сейчас много занят историей, у меня написана пьеса о Пет-

ре Первом. И я поражаюсь, насколько потерял язык. Ведь раньше разбойники говорили на том же языке, что и бояре. Это был неформальный, необработанный, очень поэтический язык... Может быть, он достиг своей высоты во времена Пушкина, когда произошло какое-то гармоническое слияние народного и культурного слоев в языке. «Евгения Онегина», конечно, нельзя было написать на языке, на каком говорили в Петровские времена или во времена Ивана Грозного, но это был живой, сочный язык. А сейчас? Мне не нравится язык Солженицына. Я вообще не принадлежу к поклонникам таланта этого литератора. Я не говорю про его политические взгляды. Политические взгляды его дело. Но это черно-белая литература, притом с таким языком... Мне даже тяжело ее читать.

Д. Г. Отсюда, может быть, эта преднамеренная архаичность «Псалом»?

Ф. Г. Она не преднамеренная. Она истекает из моих мироощущений. В языке «Искупления» нет архаики. Тут уже другой язык. Ритм, ритм для меня важнее. Это одна из причин, по которой у поэтов редко получается проза. Они ритма прозы не чувствуют. Ни Бродский, ни Мандельштам. Ритм прозы чувствовали только Пушкин и Лермонтов. Если не ощутишь ритма прозы, то как бы ты ни был умен, какие бы мироощущения тобой не владели, ты прозу не напишешь, ты напишешь эссе... Ритм — это колебания души, колебания сердца.

Д. Г. Так что ритм у вас — это как бы связующее начало произведения?

Ф. Г. Ну да, дыхание вещи. Это подсознательно, это нельзя выстроить. Это так, как чувствуешь сердце, оно стучит нормально или ненормально.

Д. Г. А кто-нибудь в эмиграции обладает этим чувством?

Ф. Г. У Войновича есть чувство юмора, и юмор ведет его очень точно, хотя он и не думает об этом. Юмор дает ему ритм. Именно юмор, не сатира. Юмор и лирика — это и есть основные факторы художественного произведения. Но ни

того, ни другого нет даже в известных, знаменитых произведениях Солженицына.

Д. Г. Вы не хотели бы сформулировать, чем отличается ритм прозаического произведения от стихотворного?

Ф. Г. Это нельзя сформулировать. Ритм должен рождаться не... разумом, а инстинктивно. Мне кажется, что как раз разумное начало в поэзии, в построении ритма играет большую роль, чем в прозе.

Д. Г. А в прозе что?

Ф. Г. В прозе инстинкт, инстинкт, инстинкт... В поэзии ритм можно даже отбить, а в прозе его отбить нельзя. А между тем без него нельзя жить.

Д. Г. В современной англо-американской поэзии довлеет свободный стих. Русские часто даже не воспринимают его как поэзию. Может быть, это разграничение прозы и поэзии более четко по-русски, чем по-английски. Вот у Тургенева есть прозаические стихи.

Ф. Г. Да, это прозаические стихи, если это стихи. А может быть, это поэтическая проза. Тут трудно разобраться. Но это ведь исключение. Так можно записать какую-то идею, какую-то мысль, но так нельзя построить характер. Его произведения, где создаются человеческие характеры, построены по законам прозы.

Д. Г. Мне кажется, что музыкальное начало сильнее в русской поэзии, чем в англо-американской. Может быть, поэтому то, что вы сказали, более характерно для русской литературы, чем для англо-американской.

Ф. Г. Для современной англо-американской, да. Но не для английской в целом, и не для французской. Если мы возьмем сонеты Шекспира или возьмем Бодлера, там музыкальное начало основное, оно в значительной степени переключается с русской поэзией и учит русскую поэзию. Поэтому, честно говоря, мне и неблизка современная англо-американская литература.

Д. Г. Так что вы архаист и по вашему отношению к зарубежной литературе?

Ф. Г. Можете назвать это так. Только посмотрим лет через сто, кто будет впереди, кто позади. Я думаю, что лет через сто авангард окажется арьергардом. Он держится, видно, на каких-то временных успехах, хотя в нем и работает много талантливых людей. Я не хочу отрицать степень их таланта, да у меня и нет на это права. Я не знаю эту литературу. Я ее не люблю и не знаю. Или лучше сказать так: не знаю потому, что не люблю. Мне не надо схватывать весь мир. Мне не нужна африканская литература. По-моему, одна из бед современного мира — желание объять все. И ничего не охватывают и все теряют. Мне достаточно европейской библейской литературы, на которой я воспитан и которую люблю.

Д. Г. В Советском Союзе вы писали киносценарии. Это есть своего рода театр, не правда ли? По вашим сценариям поставили «Солярис», фильм «Раба любви» и другие. Для вас киносценарии были как-то связаны с прозой?

Ф. Г. Вы начали с театра и перешли на сценарий. Сценарий и театр — это разные вещи. Но для меня любое литературное произведение драматического жанра — проза. Для меня «Гамлет» — проза. Мне вообще читать интереснее, чем смотреть на сцене. Притом, что я люблю театр. Я написал пьесу «Бердичев» — одна из моих любимых пьес — это пьеса о еврейском городе, о его обитателях. И я хотел писать прозу, но что-то инстинктивно подсказало мне, что этот материал скорее для драмы. Пушкину подсказывали написать «Бориса Годунова» в форме прозы. Драма близка к прозе. И даже если она написана стихами, я все равно ее воспринимаю как прозу.

Д. Г. Вам не кажется, что «Псалом», например, будет не очень понятен советскому читателю?

Ф. Г. Есть люди, которые его ненавидят, но ничего не пишут об этом. Особенно среди русских националистов. Ведь этот роман эмиграция замолчала, пыталась замолчать, как и другие мои вещи.

Д. Г. А почему?

Ф. Г. По разным причинам. У них выстроен был еще с шестидесятых годов какой-то свой табель о рангах. Возьмите например Аксенова. Вы знаете, что я участвовал в «Метрополе». Я не говорю, что не надо было издавать эту книгу; надо ли было мне участвовать, — это другой вопрос. Я дал тогда читать это в рукописи. Аксенов ничего не сказал, только его жена, прочитав, сказала, что она со мной не согласна. Но вот Аксенов выезжает на Запад, и дает всякие интервью, и говорит такую фразу: «Вот есть такой Горенштейн, у него, может быть, на двадцать томов уже написано». И он знает, что говорит. Потом профессор Вольфганг Казак меня спрашивает: «У вас что, двадцать томов написано?» Я отвечаю: «Ну, двадцать не двадцать». «Ох, а я думал это уже какой-то Тарсис, знаете». Так что можно отозваться положительно так, что будет хуже, чем отрицательно. О «Псаломе» писали и левые, и правые газеты и журналы. Но в эмигрантской литературе — ни слова.

Д. Г. Может быть, это опять-таки то, о чем я говорил: это слишком необычно для советского читателя, а следовательно, и для эмигрантов. Может быть, западный читатель более открыт к такого рода произведениям?

Ф. Г. Ну, смотря какой западный читатель. Запад — это ведь не одно целое. Французский — да. И то, наверное, не массовый. А немецкий, может быть, и нет. Итальянские издатели сами обратились ко мне, а ознакомившись с этой книгой, удрали от нее. Я выступал в Нью-Йорке. Там собралось очень мало людей, часть аудитории была настроена враждебно, старики какие-то. И когда я начал читать «Псалом» — кусочек — они демонстративно вставали и уходили. Вообще против меня применяется замалчивание, как основной инструмент борьбы — и там и здесь. Знаете, замалчивание — это ведь лучше, чем обличение. Если невозможно замолчать, тогда начинают обличать. Здесь это смешно, потому что эмиграция сама висит в воздухе.

Д. Г. Но разве русская эмиграция делает погоду?

Ф. Г. Она делает погоду на первых этапах потому, что она

связана со славистами, и через них книга попадает в издательства. Карл Проффер вывез какие-то мои произведения, но он их отказался печатать. И я решил так — либералы не опубликуют, отдам консерваторам — в «Посев». Они тоже отказались от «Искупления». А когда прочитали «Псалом», я думаю, вообще начали волосы на себе рвать. Украинцы зарубежные купили эти две книги, прочитали и сказали, что это антиславянские книжки. Вообще настоящих любителей литературы, я думаю, немного.

Д. Г. Марья Васильевна Розанова — жена Синявского — где-то писала, что эмигрантский читатель не выдержал экзамена на читателя?

Ф. Г. Да, здесь такой читатель. Очевидно, он очень остро ощущает идеологию, партийность. Это бывает всегда, когда люди висят в воздухе. Или вообще безразличие к такого рода литературе. Но это не имеет значения, потому что книга существует независимо от мнения читателя.

Д. Г. В «Псаломе» есть сквозной персонаж — Дан-Антихрист, который хотя и участвует в событиях и как бы связывает притчи между собой, но все-таки он, скорее, молчаливый наблюдатель. Это он обречен есть нечистый хлеб изгнания. Скажите, Дан — это вы?

Ф. Г. Нет. Я вообще в литературе в чистом виде никогда не бываю. Один из основных постулатов литературы — это перевоплощение. Я в такой же степени Дан, как и девочка Сашенька в «Искуплении». В тот момент, когда я ощущаю Дана — это я, в тот момент, когда я ощущаю Марию Коробко, это тоже я. И в то же время я пропадаю как человек вообще. Как бы это ощущение назвать?

Д. Г. Опять-таки — это та же мысль об оторванности писателя от своего произведения...

Ф. Г. Да, да. Оторванность писателя от чувств, которые он отдает. И с другой стороны, оторванность персонажа от автора. Если творчество подлинное, оно всегда оторвано от творца. Одна из бед этой литературы шестидесятых годов — слишком тесное срастание персонажа с автором.

Д. Г. Это классическое романтическое представление... На писателя «находит» и он создает.

Ф. Г. Не только «находит». Это — профессионализм. Это — мастерство.

Д. Г. Возьмем такое классическое произведение русской литературы, как «Смерть Ивана Ильича». Это все-таки есть Толстой.

Ф. Г. Нет, это не Толстой. Это Толстой и злил свои чувства в другое существо. Перевоплощение — вот что потеряно сейчас, это слишком публицистическая, авторская литература.

Д. Г. Что изменилось для вас за счет того, что вы эмигрировали?

Ф. Г. Для меня существенного изменения не произошло.

Д. Г. То есть вам все равно, вы там или здесь?

Ф. Г. Нет, мне не все равно. У меня отсюда новый взгляд на Россию. Некоторые вещи, которые я написал здесь, я бы там не написал. Видя какие-то западные плюсы и минусы, лучше понимаешь и Россию. Понимаешь, почему там так плохо, и в то же время понимаешь, что это «плохо» может быть преодолено. И это дает ощущение какой-то надежды на спасение. Конечно, здесь лучше мне. Здесь я себя могу защитить. И ощущение прочности, это дополнительный штрих к моему мироощущению. Но, с другой стороны, «Псалом» и «Место» надо было написать там. Тут бы я их не смог, может быть, написать.

Д. Г. У вас есть любимое ваше произведение?

Ф. Г. Да, «Бердичев». Это не моя жизнь, но это жизнь, которую я сохранил. Ее нету больше. Это жизнь моего детства. Я жил там очень недолго. Я не из Бердичева, я родился в Киеве, жил в других местах, работал в шахте, на стройке. Но это какая-то историческая родина, и я пишу об этом в «Попутчиках».

Д. Г. Как получилось, что вы именно в Германию приехали?

Ф. Г. Я получил здесь стипендию.

Д. Г. Но вы остались и после стипендии?

Ф. Г. Мне Германия нужна. Она мне интересна. Я хочу о ней написать. У меня есть материал, чтобы писать о Германии.

Д. Г. Роман?

Ф. Г. Я думаю написать роман, даже два. Думаю об этой жизни. Тут же жил и Набоков. Это страна передовая, но с покалеченной психикой. Анализ этой страны очень важен для понимания человечества. В этом треугольнике — Россия, Германия, еврейство — я и понимаю себя.

Винцас КРЕВЕ-МИЦКЯВИЧЮС

ЛИТВА, 1940 ГОД

Запись бесед профессора В. Креве-Мицкявичюса с В. Молотовым и В. Деканозовым в июне 1940 года.

Имя Винцаса Креве-Мицкявичюса русской читающей публике мало что говорит, а в Литве он почитается как крупнейший национальный писатель. Выдающийся прозаик, филолог, фольклорист, Креве-Мицкявичюс приобрел международную известность публикацией сборников литовских народных песен «Dainas». Вот несколько основных вех его жизни. В 1909 году окончил Киевский университет, с 1922-го по 1939-й — профессор кафедры славянских языков и литературы Каунасского университета. Одновременно преподавал в Вильнюсском университете. В 1944 году эмигрировал в Австрию, а затем в Соединенные Штаты. С 1947-го по 1953-й — профессор Пенсильванского университета. Скончался в 1954 году в одном из пригородов Филадельфии.

В июне сорокового года, после оккупации Литвы Красной Армией, желая использовать широкую популярность Креве-Мицкявичюса как ширму с целью советизации Литвы, ста-

Заголовок редакции.

*линское руководство предложило ему посты заместителя премьера и министра иностранных дел в новом правительстве. О том, как он безуспешно пытался отстоять независимость литовского государства, Креве-Мицкявичюс оставил свидетельство в записях своих бесед с В. Молотовым и направленным в Литву кремлевским эмиссаром В. Деканозовым. * (Убедившись в тщетности этих усилий, Креве-Мицкявичюс вскоре сложил свои полномочия.) Незадолго до своей кончины он нотариально заверил подлинник этого документа. Содержание бесед, записи которых мы предлагаем вниманию читателей журнала «Время и мы», говорит само за себя и вряд ли нуждается в комментариях. Единственное, заслуживающее быть отмеченным, — это то, что, пожалуй, ни в одном из опубликованных до сих пор документальных материалов того периода не зафиксированы так наглядно имперские амбиции Сталина и его приспешников, высказанные с обнаженно-циничной откровенностью.*

В конце мая 1940 года, когда литовско-советские отношения начали ухудшаться, премьер-министр Литвы А. Меркис** надеялся, что при личной встрече с советским народным комиссаром иностранных дел г-ном Молотовым возникшее непонимание удастся устранить и восстановить отношения на основе взаимного доверия. Молотов согласился встретиться с Меркисом. Было решено, что премьер-министр от-

* Впервые полный текст Записей был опубликован по-английски в сборнике *Baltic States: A study of Their Origin and National Development; Their Seizure and Incorporation Into the U.S.S.R.* Third interim report of the Select Committee on Communist aggression. House of Representatives, Eighty-third Congress, Second Session 1954. William S. Hein and Co., Inc. Buffalo, New York, 1972. Настоящий текст публикуется по этому изданию, с незначительными сокращениями. Оригинал Записей хранится в Архиве Представительства Литвы в Вашингтоне.

**Последний премьер-министр независимой Литвы. В 1920-х годах занимал пост министра обороны. После оккупации Литвы советской армией арестован и депортирован в Советский Союз, умер в заключении.

правится в Москву в сопровождении министра иностранных дел Ю. Уршбиса*.

В Москве им был оказан весьма прохладный прием. По мнению литовского посланника в Москве Наткявичюса**, судьба балтийских государств уже была решена и только чудо могло помочь Литве сохранить независимость. По его сведениям, заключению англо-советского соглашения, в частности, помешало то, что Англия отказалась принести в жертву свободу и независимость прибалтийских государств в угоду Москве...

Визит к Молотову убедил Меркиса в том, что Наткявичюс не слишком ошибался в своих оценках, поскольку Молотов отказался обсуждать с ним какие-либо проблемы и в ультимативном тоне потребовал, чтобы Литва никоим образом не противодействовала вводу на ее территорию дополнительных частей Красной Армии по усмотрению советского правительства; передала бы Советам в пользование литовские аэродромы; сформировала бы новое правительство из числа лиц, приемлемых для Советского Союза; разрешила бы беспрепятственную деятельность литовской коммунистической партии.

Меркису не оставалось ничего иного, как поскорее возвратиться домой и проинформировать о своей поездке президента страны и Совет министров. Он возвратился в Каунас 13 июня 1940 года. В полночь 14 июня министру иностранных дел Уршбису, который задержался в Москве, был предъявлен советский ультиматум — срок ультиматума истекал в десять часов утра следующего дня.

Известие о том, что 15 июня несколько дивизий Красной Армии при поддержке танков и тяжелой артиллерии пере-

* Единственный из оставшихся в живых министров довоенного литовского правительства. Вскоре после вторжения советских войск был депортирован в Советский Союз. В 1956 г. возвратился в Литву.

** Литовский военный деятель и дипломат, выпускник Санкт-Петербургского университета. Чрезвычайный и полномочный посланник Литвы в Москве с апреля 1939 года. Погиб в Вене в конце войны.

секли восточную границу Литовской республики, а крупные силы советской авиации оккупировали литовские аэродромы, потрясло весь литовский народ.

ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МОСКВЫ

Одновременно с вторжением на территорию Литвы русских войск в Каунас самолетом прибыл специальный советский эмиссар — заместитель наркома иностранных дел г-н Деканозов*. Ему было поручено сформировать новое правительство и вовлечь Литву в сферу влияния Советского Союза. Не заезжая в советское представительство, он проследовал из аэропорта прямо в президентский дворец, однако застать президента Сметону ему не удалось — тот уже находился в пути за границу. Попытки вернуть его с дороги успеха не имели — к большому огорчению Кремля и г-на Деканозова.

Тем временем по улицам Каунаса уже маршировали части Красной Армии. При виде этого зрелища литовцы не могли сдержать рыданий. Радовалась происшедшему лишь малая часть нелитовского населения города.

Два дня спустя, в двенадцатом часу ночи, мне позвонили из советского полпредства. Советский полпред в Литве г-н Поздняков попросил меня немедленно приехать. Я ответил, что время позднее, я собираюсь ложиться спать и, если потребуется, постараюсь приехать завтра утром. Однако Поздняков продолжал настаивать, ссылаясь на то, что дело не терпит отлагательств, что ждать до завтрашнего утра невозможно, и обещал прислать за мной машину.

В конце концов я согласился и через полчаса прибыл в советское представительство. Там меня принял сам Дека-

* Заместитель Молотова в НКВД, шеф иностранного отдела НКВД, советский посол в Берлине (1940-41). Расстрелян в 1953 г. как один из сообщников Л. П. Бериин.

нозов, с которым я до этого не был знаком. Представив меня Деканозову, Поздняков вышел в другую комнату, сказав, что он позаботится, чтобы принесли закусить, поскольку наша беседа может затянуться.

В начале беседы Деканозов заявил, что он не только удивлен, но и глубоко оскорблен поведением президента Сметоны, покинувшего страну, и что вряд ли кто-либо в Москве ожидал от него подобного шага. По словам Деканозова, в Москве не поймут, и он сам не понимает подобного проявления недоверия со стороны правительства Литвы. Г-ну Меркису, а, следовательно, и президенту Сметоне хорошо известны заверения советского правительства в том, что оно не намеревается посягать на независимость Литвы, вмешиваться в ее внутренние дела или пытаться изменить ее внутреннюю структуру.

Я заметил, что Литве угрожает опасность быть вовлеченной в войну, поскольку Литва объявила о своем строжайшем нейтралитете; более того, положение Германии таково, что не приходится ожидать нарушения ею нейтралитета Литвы без согласия СССР.

— Наша дружба с Германией похожа на дружбу двух голодных псов, которые пытаются ухватить одну кость, — пошутил Деканозов. — Уверяю вас, лично товарищ Сталин и я желаем Литве только добра. Мы не страдаем старым русским недугом — великодержавным шовинизмом. Мы любим и уважаем литовский народ, в его судьбе много общего с судьбой грузинского народа. Мы оба хорошо знакомы с вашей историей. Мы знаем, что вы на протяжении веков боролись против немецкого продвижения на Восток и вышли победителями в неравной борьбе. Мы знаем, что границы вашего государства простирались к востоку от нынешнего Харькова, всего в ста километрах от Москвы, а на юге достигали Черного моря. Разве может грузин не уважать народ, который несмотря на малочисленность окреп в смертельной борьбе и благодаря героизму и отваге сумел выдержать напор с Запада, а на Востоке отбросил монголов

почти до Волги? Я говорю все это, чтобы убедить вас — у товарища Сталина нет скрытых целей и намерений в отношении Литвы. Единственное, чего он желает, — это оградить вашу страну от возможного нападения Германии в будущем, в случае изменения политической ситуации и советско-германских отношений. Да и чего нам домогаться от Литвы? Вы — страна хлеборобов. Тем, что составляет ваше единственное богатство, Советский Союз обладает в избытке. Но, должен подчеркнуть, что, по нашему мнению, Литва занимает важное стратегическое положение и именно вследствие этого возрастает опасность германской агрессии против нее, и от этой опасности мы хотим защитить вас. Договориться о составе будущего правительства с Меркисом, исполняющим обязанности президента, и с его советниками мне удалось с большим трудом, — продолжал г-н Деканозов. — Мы хотим, чтобы новое правительство было образовано из лиц, которые будут добросовестно выполнять обязательства, принятые на себя Литвой. В этом новом правительстве, относительно которого в конце концов была достигнута договоренность, вы займете пост министра иностранных дел и заместителя премьера.

С этими словами г-н Деканозов протянул мне список намеченных членов кабинета.

*Будущий премьер-министр — Юстас Палецкис **, мелкий журналист.

*Министр сельского хозяйства — Мицкис**.*

*Кандидат на пост министра юстиции — Пакарклис***.*

(Этого я хорошо знал, но не с положительной стороны; у меня были основания считать его ненадежным человеком.)

* Глава первого просоветского правительства, созданного после вторжения Красной Армии в Литву.

** Министр сельского хозяйства в правительстве Палецкиса.

*** Историк и юрист.

Министр просвещения — Антанас Венцлова.*

*На пост министра обороны — генерал В. Виткаускас**.*

Остальные кандидаты были неизвестны мне.

Ознакомившись со списком кандидатов, я выразил удивление по поводу того, что вопрос о моем участии в правительстве обсуждается со мной не г-ном Меркисом, исполняющим обязанности президента, а уполномоченным представителем Советского Союза, и не в президентском дворце, а в советской миссии. Что касается меня, то я не считаю возможным занять предложенные мне посты ни при каких обстоятельствах. Более того, я полагаю, что в столь напряженное и ответственное время Палецкис вряд ли является подходящей фигурой для роли главы государства.

Г-н Деканозов реагировал на мое довольно резкое заявление спокойно.

— Что касается ваших возражений, то должен сказать, что, и по моему мнению, Палецкис не годится на роль главы правительства. Поэтому, в соответствии с Конституцией Литвы, он в качестве премьер-министра должен будет временно исполнять обязанности президента. Это чисто пассивная роль. Далее, мы понимаем, что такое лицо никоим образом не будет влиять на деятельность правительства. Возглавлять правительство будете вы, и поэтому я хотел побеседовать с вами как с будущим главой правительства, прежде чем г-н Меркис сделает вам соответствующее предложение. Если вы откажетесь от предлагаемых вам обязанностей, вы нас обидите и своей стране навредите. Вы пользуетесь популярностью в народе. Иначе говоря, возглавляемое вами правительство будет пользоваться в народе доверием, а это очень важно для вас и для нас. Не могу не заметить, что война затянется надолго, очень надолго. Немцы

* Писатель и общественный деятель.

** Известный литовский генерал. В 1940 г. — главнокомандующий вооруженными силами Литвы. За несколько часов до вторжения отдал приказ войскам не оказывать сопротивления.

не скрывают своего намерения оккупировать все страны Западной и Южной Европы, не говоря уже о Северной. Сегодня благодаря тому, что мы имеем договор о дружбе с ними, Литва пока находится в безопасности, однако, как знать, может случиться и так, что они перестанут доверять нам. Сегодня они наши друзья поневоле, а завтра, быть может, станут нашими заклятыми врагами и тогда первым делом оккупируют Литву — важный стратегический плацдарм. Поэтому для нас так важно иметь в Литве правительство, которое пользуется доверием народа и которое — мы должны быть уверены в этом — не уступит желаниям Германии. Мы хотим обезопасить себя и косвенным образом обезопасить вас. Иных целей у нас в Литве нет. Как только опасность минует, наша армия будет немедленно выведена, и вы будете продолжать жить, как жили до сих пор. Я рад нашему близкому соседству и тому, что отношения между СССР и Литвой станут еще более тесными, чем прежде.

Так говорил Деканозов. Вернувшись домой, я позвонил в представительство СССР. К телефону подошел г-н Поздняков, и я заявил ему, что все обдумал и решил отказаться от предложенных мне должностей.

— Я не решаюсь доложить об этом господину Деканозову, надеюсь, что ваше решение не окончательное, — сказал Поздняков.

На следующее утро, около десяти часов, мне принесли записку от г-на Меркиса — он просил меня срочно прибыть в президентскую резиденцию по важному делу...

Хотя А. Меркис, исполнявший обязанности президента, и некоторые из членов Совета министров отдавали себе ясный отчет в том, что советские требования были надуманными и провокационными, они полагали, что частичное удовлетворение этих требований, какими бы несправедливыми и унижительными для суверенитета Литвы они ни были, могло бы позволить избежать еще большей опасности, и тогда, может быть, удалось бы наладить хоть в какой-то степени приемлемые отношения с Москвой.

Г-н Меркис выразил мнение, что я должен смириться с неизбежностью.

БЕСЕДА С В. МОЛОТОВЫМ В МОСКВЕ

После того как в ночь с 14 на 15 июня Москва предъявила Литве ультиматум, Литва оказалась на краю разверзшейся пропасти. Позиция должностных лиц в Москве по отношению к литовскому государству ясно свидетельствовала об их намерении дезорганизовать порядок в стране, разрушить скрепляющие его основы и ввергнуть страну в хаос. Противостоять этому было почти немыслимо, поскольку помимо Совета Министров в стране одновременно функционировали еще четыре органа власти.

Далее профессор Креве-Мицкявичюс подробно описывает эти органы власти и характеризует их деятельность, а) ЦК компартии Литвы, который, по его словам, «терроризировал должностных лиц и призывал их не подчиняться распоряжениям законного правительства»; б) Советские военные власти, угрожавшие всем, кто посмеет саботировать их «законные требования»; в) Советское представительство, которое диктовало решения правительству Литвы и по своему усмотрению назначало и смещало официальных лиц; г) Министерство внутренних дел Литвы, к руководителям которого были приставлены присланные из Москвы «советники».

Я пришел к выводу, что в такой обстановке у меня не остается иного, как подать в отставку. Я проконсультировался по этому вопросу с Гальванаускасом*, без согласия которого обычно не предпринимал ни одного серьезного шага. Гальванаускас не поддержал меня и мою идею не одобрил. Он считал, что необходимо держаться до последнего. Поскольку я продолжал настаивать, он порекомендовал созвать совет уважаемых лиц старшего поколения, известных своей безупречной репутацией и твердыми убеждениями, обсудить с ними эту проблему и решить, как действовать дальше. Я был вынужден последовать этой рекомендации,

* Видный литовский государственный деятель, инженер по образованию.

и некоторое время спустя при посредничестве Гальванаускаса такое совещание состоялось в доме бывшего советника министерства иностранных дел Тадаса Петкявичюса. После того как участники совещания были подробно ознакомлены с создавшимся положением, они поддержали точку зрения Гальванаускаса и сошлись на том, что мы не имеем права покинуть свои посты. Мы обязаны твердо держаться, пока это в наших силах. Тогда же было решено, что я должен отправиться в Москву и встретиться с Молотовым, а если возможно, то и с самим Сталиным. Необходимо, чтобы я проинформировал их о создавшейся ситуации и потребовал, чтобы они дали указания своему представительству в Каунасе и военным властям не вмешиваться во внутренние дела страны, перестать подрывать авторитет правительства Литвы и отозвали бы своих граждан, прикомандированных к нашему министерству внутренних дел.

Мы стали первыми жертвами большевиков в Европе; нам были неизвестны их тактика и методы, их конечные цели. Вряд ли поэтому стоит удивляться нашему наивному убеждению, что все происходящее в Литве совершается без ведома и одобрения Москвы. Уж если западноевропейские и американские дипломаты не сумели разобраться в обстановке и позволили ввести себя в заблуждение, то нам, как говорится, сам Бог велел.

На следующий день я отправил шифрованную телеграмму нашему полпреду в Москве Наткявичюсу с просьбой договориться о том, чтобы г-н Молотов срочно меня принял. Молотов отказал Наткявичюсу в этой просьбе, сославшись на то, что в настоящий момент в Литве находится В. Деканозов, уполномоченный советским правительством вести переговоры с правительством Литвы по всем вопросам. Вскоре после этого Деканозов сам приехал ко мне и поинтересовался, почему я не обратился к Молотову через него, если возникла необходимость обсудить с наркомом какой-то важный вопрос. Он совершенно не понимает, почему я не желаю обсуждать этот вопрос с ним, Деканозовым, который именно для этого сюда и прислан.

Я ответил на это, что в Литву Москве по-прежнему представляет посланник, через которого наша страна вправе обращаться к советскому правительству, и посему я не вижу оснований беспокоить г-на Деканозова и просить его о посредничестве. Обсуждать все эти вопросы с ним бесполезно, поскольку они неоднократно дискутировались с ним, но это ни к чему не привело.

— Господин министр, вы слабо ориентируетесь в сегодняшней обстановке, которая очень сильно изменилась с тех пор, как мы пришли сюда, — заявил Деканозов. — Вам следовало бы поменьше прислушиваться к нашептываниям Гальванаускаса. Нам все известно.

— Я не ребенок и прекрасно понимаю, что здесь происходит. Что же касается нашептываний господина Гальванаускаса, если бы они действительно имели место, повлиять на меня они не могут. Я хотел бы самостоятельно разобраться в ситуации, чтобы не оказаться в числе могильщиков независимости Литвы. В случае, если господин Молотов откажется принять меня, мне все станет ясно, и я буду знать, какие надлежит сделать выводы.

На этом наша беседа закончилась. В тот же день я отправил в Москву повторный запрос через нашего полпреда — я просил, чтобы меня принял лично сам Молотов. На сей раз пришел ответ, в котором говорилось, что комиссар иностранных дел В. Молотов примет меня 30 июня в четыре часа дня.

Это уведомление я получил 29 июня. В тот же день я выехал в Москву. На вокзале меня встречали с обычными почестями заместитель комиссара иностранных дел, фамилии которого я не помню, Деканозов, успевший, как оказалось, прилететь из Каунаса, военный комендант Москвы, несколько других официальных лиц, а также сотрудники нашего представительства во главе с полпредом Наткявичюсом.

Вокзал был украшен нашими национальными флагами. Настроение у Наткявичюса было невеселое.

— Хотя вас встретили так же, как встречали наших высоких руководителей в добрые времена, я не думаю, что отношение Москвы к прибалтийским странам изменилось, — сказал наш полпред после того, как я ознакомил его с целью моего визита. — Если оно и изменилось, то только в менее благоприятную сторону.

В три часа, во время обеда, позвонили из комиссариата иностранных дел и передали, что г-н Молотов примет меня не в четыре часа, как было условлено, а в одиннадцать часов вечера.

— Не удивляйтесь, г-н министр, — заметил Наткявичюс, — все важные дела здесь решаются ночью. То, что аудиенция назначена вам на одиннадцать часов вечера, предвещает продолжительную беседу. И дай Бог, чтобы ее результаты были благоприятны, хотя я сомневаюсь в этом.

В одиннадцать часов вечера мы прибыли в комиссариат иностранных дел. Меня поразили многочисленные проверки документов — при въезде в Кремль, при входе в комиссариат, на втором этаже в комиссариате и даже у дверей кабинета Молотова.

Повсюду царил тишина, мы не встретили ни одного сотрудника комиссариата, зато вооруженные часовые стояли на каждом шагу. Наконец мы очутились в приемной. Ждать пришлось недолго, всего несколько минут, но тут произошла первая неприятность, которая вывела меня из равновесия: нам объявили, что Молотов желает беседовать со мной наедине, без нашего полпреда.

Я совершенно не представлял, как следует держаться в подобных обстоятельствах, как полагается обращаться к высокому должностному лицу иностранного государства, и рассчитывал на помощь нашего полпреда. Теперь, когда меня оставили одного, я почувствовал себя скованным.

Хотя Наткявичюс и предупреждал меня, что в начале беседы следует обязательно справиться о здоровье и самочувствии Иосифа Виссарионовича и соблюдать другие правила дипломатического этикета, я, оказавшись в кабинете

Молотова, обо всем позабыл и, поздоровавшись, начал высказывать недовольство тем, что меня принудили явиться на прием к комиссару иностранных дел одного, без нашего полпреда.

Молотов улыбнулся, несколько не смутившись. Его вид и манеры произвели на меня благоприятное впечатление. Я решил, что имею дело с русским интеллигентом старой формации.

— Приношу свои извинения, господин министр — вам и вашему посланнику. Принимая вас одного, я не намеревался унижить вас или выразить недоверие вашему посланнику, — сказал комиссар в ответ на мои слова. — Меня проинформировали, что вы человек откровенный, всегда берете быка за рога и не маскируете свое мнение дипломатическими реверансами. Поэтому я решил побеседовать с вами откровенно как с человеком, способным понять нашу теперешнюю позицию, а не с дипломатом. Я полагал, что я не смогу говорить свободно в присутствии опытного дипломата, каковым безусловно является ваш посланник.

В то время я не был искушен в дипломатических хитростях: я поверил словам Молотова и даже обрадовался. Я подумал, что в откровенной и чистосердечной беседе сумею развеять многие недоразумения и добиться большего, чем предполагал. Я не сомневался в искренности Молотова. Лишь позднее обнаружил, что на уме у этого умного и хитрого дипломата было совсем не то, что на языке.

Далее профессор Креве-Мицкявичюс приводит изложение Молотовым во время беседы официальной советской версии причин провала переговоров между Советским Союзом, Англией и Францией в тридцать девятом году, мотивов сближения СССР с нацистской Германией в отношении прибалтийских государств.

— За обещание Германии отказаться от угрозы включить балтийские государства в свою сферу влияния и не вмешиваться в их внутренние дела нам пришлось пойти на уступки немцам по многим другим вопросам, — продолжал Молотов. — Больше того, они согласились с тем, что балтийские страны, а именно, Литва, Латвия и Эстония, находятся

исключительно в сфере наших интересов и что в этой сфере мы можем действовать, как сочтем нужным. Тем не менее, эти новые соглашения не рассеяли нашего недоверия к немцам, и по этой причине мы были вынуждены укрепить наши вооруженные силы в этих странах. Я понимаю, что эти наши действия вам не по душе, но, поверьте мне, для вас они более выгодны, чем для нас; мы защищаем вас от угрозы со стороны немцев, от попыток Германии втянуть вашу небольшую страну в мировую войну, пламя которой подступает все ближе. Да, верно, мы были вынуждены ликвидировать Балтийский союз*, но не потому, что он вступил на неверный путь. В нем нет больше необходимости — мы сами взяли на себя заботу о защите независимости балтийских государств.

Слушая Молотова, я терялся в догадках, зачем он пустился в этот экскурс. Хотел ли он вынести в моем присутствии обвинительный приговор Литве и остальным балтийским государствам или же рассчитывал таким образом отвлечь мое внимание от неприятных для него тем? Я и в самом деле был сбит с толку и не мог собраться с мыслями, чтобы повернуть разговор в другое русло и приступить к обсуждению вопросов, ради которых приехал в Москву.

— Мы не несем ответственности за внутреннюю и внешнюю политику Сметоны, с которой почти никто из литовцев не был согласен, — начал я. — Однако я лично начинаю опасаться, что скоро наступит время, когда наш народ еще пожалеет о правлении Сметоны, если положение в Литве будет и дальше развиваться в том же направлении, что до сих пор.

— Нам известно, что вы пользуетесь популярностью в народе, перебил меня Молотов. Вам следует стараться сохранить свой авторитет в народе

— Да, могу признаться, что я действительно пользовался известной популярностью. Однако от нее мало что оста-

* Балтийский союз — политическая организация трех прибалтийских государств — Литвы, Латвии и Эстонии (1934 — 1940).

лось, и боюсь, что в скором времени вообще ничего не останется. Благосостояние литовского народа в настоящее время рухнет вместе с системой сельского хозяйства и законодательства, к которым он привык и которыми дорожит. Мы не способны помешать разрушению, не обладая ни властью, ни средствами, а в глазах народа ответственность ложится на нас. Народ продолжает верить обещанию Москвы не вмешиваться во внутренние дела Литвы, и не осознает, что в настоящее время его правительство беспомощно...

— Что же мешает вам бороться с теми, кто занимается разрушительством? — снова перебил меня Молотов. — Накажите их.

— В таком случае нам придется наказать сотрудников вашего полпредства, которые, ни с чем не считаясь, ведут разрушительную пропаганду и вызывают сильное брожение среди населения, в особенности среди крестьян. Нам придется наказать ваших военных, которые своими требованиями и угрозами прямым образом деморализуют наши учреждения и их сотрудников...

— Мы подобных указаний не давали, — нахмурился Молотов. — Трудно предположить, чтобы наши официальные представители или наши военные осмелились на такие злонамеренные действия.

Я понял, что немного перестарался и ничего не добьюсь, если буду продолжать в том же духе, и тогда прием у Молотова может закончиться безрезультатно.

— Я попросил вас принять меня с намерением разъяснить нынешнюю ситуацию. Я ни в коей степени не сомневаюсь в добрых намерениях правительства СССР, так как понимаю, что сохранение и даже повышение нынешнего уровня производительности литовского сельского хозяйства отвечает не только нашим, но и вашим интересам — таким образом, Литва сможет беспрепятственно выполнить свои обязательства по снабжению ваших гарнизонов продовольствием, — принялся объяснять я. — Литовский народ

добился высокого уровня благосостояния: система сельского хозяйства в Литве организована таким образом, что между производителями и потребителями нет посредников. Поскольку не приходится оплачивать посреднические услуги, производитель получает больше дохода, а потребитель приобретает продукты по более низким ценам. Мы имеем постоянный активный торговый баланс, а наш экспорт значительно превосходит импорт. Благодаря этому мы добились стабилизации литовской валюты, которая за все это время не только не обесценилась, но даже не подверглась колебаниям курса...

— Я не могу подвергать сомнению ваши официальные данные: меня поражает продуктивность литовского сельского хозяйства, — сказал Молотов. — Литва производит и экспортирует больше продуктов, чем огромная богатая Украина. Мы не стремимся разрушить такую идеальную сельскохозяйственную систему. Наоборот, мы кровно заинтересованы в сохранении ее высокого уровня. Мы не давали никаких указаний нашим официальным лицам вмешиваться во внутренние дела Литвы и подобным вмешательством причинить ущерб системе сельского хозяйства вашей страны.

Поэтому, по словам Молотова, он считает, что все недоумения проистекают не от злого умысла, а из-за несходства систем сельского хозяйства и общественного строя Литвы и Советского Союза. Люди, которые не понимают этого и не желают понять, не могут договориться из-за различия их психологии. Нынешнему правительству Литвы, в искренности которого Советский Союз не сомневается, следует приложить усилия к тому, чтобы подготовить народ и помочь ему лучше приспособиться к новым условиям...

— Мы верим и весь наш народ верит, что нынешняя ситуация носит временный характер и долго не продлится, — сказал я в ответ на слова Молотова. — Я хотел бы верить, что было бы более существенно, если бы вы постарались дать указания командующим ваших гарнизонов в

Литве, чтобы они в большей мере считались с нашей системой, с нашими условиями, общественным мнением и с нашей национальной психологией.

Молотов некоторое время молчал. Он сидел, склонившись над столом, и чертил что-то на листке бумаги.

— Вы вызываете меня на откровенность, господин министр, — произнес он наконец, поднимая на меня глаза. — Вы вынуждаете меня сказать кое-что, о чем я в данный момент говорить не собирался. Поэтому будем вести разговор открыто, отбросив сентиментальность в сторону, довольно уже с нас сентиментальности. Вы должны хорошо уяснить реальное положение дел и понять, что в будущем малым странам суждено исчезнуть. Ваша Литва, вместе с другими балтийскими государствами, в том числе Финляндией, должна будет присоединиться к славной семье народов Советского Союза. Поэтому вам нужно уже теперь начать приучать ваш народ к советской системе, которая в будущем восторжествует по всей Европе — в одних местах, таких, например, как балтийские государства, раньше, в других позже.

Хотя Наткявичюс предупреждал меня заранее, что я, вероятно, услышу нечто подобное, я был совершенно ошарашен бесцеремонным заявлением Молотова. В горле у меня пересохло, губы одеревятели, несколько минут я не мог произнести ни слова. Молотов, видимо, заметил мое состояние и распорядился по телефону, чтобы принесли чай.

— Когда эти планы станут явными, в народе произойдут большие волнения, возможно даже, что вспыхнет вооруженное сопротивление, — заговорил я, все еще не в силах прийти в себя. — Правительство Германии несомненно воспользуется этим, оно не потерпит инспирированной советской системы на своих границах.

— Германия проглотила оккупацию балтийских государств и не поперхнулась, переварит и их присоединение, — отрезал Молотов. — Сейчас у нее достаточно хлопот на Западе, чтобы воевать еще и с могучим Советским Сою-

зом. Не скрою от вас, что мы с ней уже достигли взаимопонимания. Товарищ Сталин говорил об этом с вашим бывшим премьер-министром и министром иностранных дел, когда они приезжали для урегулирования недоразумений, касающихся военнослужащих наших гарнизонов .

— Вы сами сказали, господин комиссар, что нынешнему германскому правительству доверять нельзя, и поэтому вы не можете предсказывать, как оно к этому отнесется. Со своей стороны могу лишь предупредить вас, что когда нашему народу станут ясны ваши цели, он будет смотреть на немцев как на возможных союзников, которые помогут ему освободиться от вашей тирании. Среди литовских крестьян уже теперь происходят волнения, хотя они пока еще не знают, какая им уготована судьба: их страшит перспектива изменения существующей системы сельского хозяйства. Они уже напуганы вашими чиновниками и агитацией попутчиков, они боятся коллективизации. Система частного землевладения существует в Литве на протяжении веков, они привыкли к ней и дорожат ею, дорожат своей независимостью. Теория коллективизации чужда им.

— Мы не думаем навязывать вам систему коллективизации сельского хозяйства, — возразил Молотов. — Мы не утверждаем, что это лучший способ земельной реформы, однако Россия все еще слишком бедная и отсталая страна, которая не может позволить себе иной системы земельной реформы.

— Теперь я вижу, что наш народ оказался бдительнее нас, он не поверил вашим публичным заверениям и его недоверие возрастает, несмотря на все наши старания, — продолжал я тянуть ту же песню, не осознавая, что действую не на пользу, а скорее даже во вред делу. — Меня и министра сельского хозяйства посещают многочисленные делегации, и все они без исключения требуют, чтобы мы защитили не только порядок в стране, но и свободу и независимость нации. Когда народу станут ясны намерения Советского Союза, он впадет в отчаяние, наступит анархия, которая по-

дорвет основы нации, ее прочное благосостояние. А за этим последует аннулирование всех иностранных договоров, без которых наша экономика не может существовать. Не приходится сомневаться, что население будет рассматривать ваши гарнизоны как оккупационную армию и бороться против нее всеми доступными способами. Выиграет ли что-нибудь от этого Советский Союз в столь беспокойные времена? Чтобы этого не произошло, мы предлагаем Советскому Союзу заключить договор о дружбе на новых условиях. Это укрепит наше положение и поднимет авторитет Советского Союза в глазах литовского народа. Мы даже согласны пойти на уступки в вопросах внешней политики с учетом интересов и рекомендаций Советского Союза.

— Не скажу, что ваше предложение не заслуживает изучения в данный момент. В другое время оно было бы весьма желательным для нас, однако обстановка изменилась, и подобный поворот не был бы полезен ни для Советского Союза, ни для балтийских государств. Теперь, более чем когда-либо, мы убеждаемся, как блестяще оправдывается прогноз товарища Ленина, который предсказывал, что Вторая мировая война поможет нам взять власть по всей Европе, как Первая помогла взять власть в России. Сегодня мы поддерживаем Германию, но ровно в такой мере, чтобы она не выдохлась прежде, чем обездоленные голодные массы в воюющих странах разочаруются и восстанут против своих вождей. Тогда германская буржуазия вступит в сговор с врагом, буржуазией союзных стран, с тем, чтобы сокрушить поднявшийся пролетариат. Но в этот момент мы придем ему на помощь, мы выступим со свежими силами, хорошо подготовленные, и тогда на территории Западной Европы, я полагаю, где-то в районе Рейна, произойдет окончательная схватка между пролетариатом и гнивающей буржуазией, в которой навсегда решится судьба Европы. Мы убеждены, что эту схватку выиграем мы, а не буржуазия. Поэтому мы не можем теперь рассматривать ваше предложение всерьез. Мы не можем допустить, чтобы у нас за спиной остался

маленький островок с формой правления, которая обречена на исчезновение во всей Европе.

— Вы забываете о том, господин комиссар, — возразил я, — что Соединенные Штаты Америки с их громадными материальными и техническими ресурсами, очевидно, придут на помощь странам Западной Европы, борющимся против германской агрессии. Эта страна, как известно, однажды уже спасла Западную Европу. Я не исключаю, что история может повториться.

— Вы совершенно правы, господин министр, — сказал Молотов. — Нам хорошо известно, что Соединенные Штаты стремятся вступить в войну и используют любой предлог, чтобы спровоцировать вступление в войну. Мы сомневаемся, что нам удастся убедить их не поддаваться на эти провокации. Однако нас это не тревожит. Мы знаем эту страну лучше, чем ее правители. Вы когда-нибудь бывали в Соединенных Штатах?

— Нет, не бывал, — признался я. — Но я очень много читал об этой стране.

— Значит, вы не представляете, что за кромешное болото эта страна, именующая себя Северо-американскими Соединенными Штатами. Американские журналисты, и отчасти писатели, очень ловко расписывают свою страну и вводят в заблуждение самих себя и других. Но верить им не стоит. Так вот, когда они рассуждают о гуманизме, о свободе, равенстве и демократии, это всего лишь самое отвратительное лицемерие, которое так характерно для англосаксов. Там церкви на каждом шагу, но нет другой такой меркантильной страны на свете. Единственное, что имеет значение для американцев, — это деньги, деньги и еще раз деньги... Любой тамошний чин, начиная с полицейского и кончая президентом, всегда готов допустить любой промах, если от этого увеличится его банковский счет. Мы — не немцы, которые признают лишь грубую кулачную силу. Мы найдем способ помочь руководителям американской политики совершать промахи, когда это будет нам выгодно. Поэтому

вступление Соединенных Штатов в войну нас не тревожит. А тех, кто надеется на них, ожидает жестокое разочарование.

— События прошлого научили нас надеяться только на самих себя, и наша страна по-прежнему надеется на себя, — сказал я в ответ на последние слова Молотова, произнесенные с явным вызовом. — В конце Первой мировой войны литовский народ сумел в одиночку, в самый тяжелый период, отразить попытки Польши оккупировать и поглотить Литву, несмотря на то, что Польшу поддерживали все ее западноевропейские союзники — французы, англичане, бельгийцы... Хотя нашему народу не к кому было обращаться за помощью, он мужественно боролся и завоевал свободу. И легко он ее теперь не отдаст.

— Господин министр, не забывайте, что Союз Советских Социалистических республик несет народам не рабство, а подлинную свободу, и, значит, потеря свободы вашему народу не угрожает. Его спросят, с согласия советских республик, желает ли он присоединиться к семье народов Советского Союза.

Я чувствовал, что наша беседа становится все более и более напряженной. Очевидно, мои слова и мое упорство раздражали Молотова — в его тоне появилась жесткость. Однако все мною услышанное подействовало на меня так сильно, что я не мог справиться с собой. И я сказал, что весь литовский народ уже давно избрал путь независимости и самостоятельности. Я не сомневаюсь, какой ответ он даст на подобный вопрос, если его при этом не будут принуждать силой.

— Мы исключили слово «сила» из нашего лексикона, — поспешил парировать Молотов суровым тоном. — Силу пускать в ход мы не будем, но мы найдем способ убедить ваш народ в том, что такое объединение необходимо ради его же блага, ибо только таким образом, под защитой всего Советского Союза, он сможет жить в мире, без опасения быть втянутым в военную бойню.

— Я не верю, — сказал я, — что найдется страна, которую удастся убедить в том, что променять свободу на гарантию защиты иностранным государством — в ее интересах. Литовский народ, который принес в жертву жизнь многих своих сыновей в борьбе за свободу, на такие уговоры не поддастся.

— Вы увидите, что не пройдет и четырех месяцев, как народы всех балтийских государств проголосуют за присоединение, и произойдет это безо всяких эксцессов, которыми вы пытаетесь меня напугать, — убежденно заявил Молотов. — В заключение нашей беседы хочу еще раз порекомендовать вам взглянуть в лицо реальности и помнить о подлинных целях нашей политики, имеющей важное значение для всего человечества. Литва не может быть исключением, ее будущее связано с судьбами всей Европы, вы должны это понять, — продолжал рассуждать Молотов. — Самое разумное, что вы можете сделать, — это не колеблясь признать руководящую роль коммунистической партии, которая решительно намерена осуществить объединение всей Европы и установить новый строй. Литва и другие балтийские государства смогут жить спокойно, спокойнее чем прежде, и беспрепятственно развивать свою национальную культуру, правда, наполнив ее социалистическим содержанием. Он, Молотов, и центральное советское правительство надеются, что члены нынешнего правительства Литвы, руководствуясь заботой о благе своей страны, останутся на своих постах и будут продолжать сотрудничать с Советским Союзом, по крайней мере, ради того, чтобы включение в семью народов Советского Союза произошло без больших помех со стороны ненадежных и дезориентированных лиц. Члены нынешнего правительства наверняка, не захотят, чтобы в будущем народ признал их врагами...

Последние слова Молотов произнес стоя, давая понять, что сказал все, что хотел сказать.

Я тоже поднялся и сказал, что слова г-на комиссара меня не убедили. Предсказывать реакцию моих коллег по каби-

нету я не берусь. Что касается меня лично, то я не считаю возможным для себя продолжать возглавлять правительство Литвы, поскольку я был введен в заблуждение заверениями советского правительства в том, что его вооруженные силы вступили в Литву только для защиты ее нейтралитета и не будут вмешиваться во внутренние дела. Я обманулся, поверив этим заверениям, и поэтому обязан сделать надлежащие выводы. Более того, я не желаю быть участником погребения независимости Литвы.

— Подобный ваш шаг в настоящее время будет очень неприятен для нас, и я верю, что вы крепко подумаете, прежде чем принять решение, — сказал в ответ Молотов, выходя на середину кабинета.

Мы расстались холодно, от дружелюбия, с каким Молотов встретил меня, не осталась и следа. Выходя из кабинета, я взглянул на часы. Они показывали без двадцати трех минут четыре.

Наткявичюс поджидал меня в соседней комнате. Когда я вышел, он разговаривал с кем-то из сотрудников комиссариата. Этот же сотрудник проводил нас к машине, после чего мы отправились в наше полпредство. По дороге мы не разговаривали, так как Наткявичюс предупредил меня, что он не вполне доверяет своему шоферу.

Как только мы добрались до полпредства, я принялся подробно рассказывать о моей беседе с г-ном Молотовым. Наткявичюс собственноручно произвел запись этой беседы с моих слов (*Pro memoria*).

Выслушав мой рассказ, г-жа Наткявичюс разрыдалась, и нам пришлось прервать работу, чтобы успокоить ее. Я прилег, когда уже рассвело. Чувствовал я себя так, как будто только что перенес приступ тяжелого недуга, — катастрофа застигла меня врасплох, и я все еще не мог поверить в нее. Отправляясь на прием к Молотову, я продолжал считать, что пессимистические прогнозы Наткявичюса преувеличены и что я смогу убедиться в их беспочвенности.

Войдя в отведенную мне комнату, я еле добрался до по-

стели. Наткявичюс разбудил меня в десять часов утра и сообщил, что звонят из комиссариата иностранных дел. Я набросил халат и прошел в служебный кабинет полпреда. Звонил Деканозов. Он сказал, что только что прилетел в Москву и должен повидаться со мной. Кроме того, он хотел бы показать мне Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Я решил отказаться, поскольку намеревался в тот же день возвратиться домой, но по совету Наткявичюса принял приглашение, попросив заехать за мной не раньше одиннадцати часов.

Едва я успел одеться и закончить легкий завтрак, как появился Деканозов в сопровождении человека по фамилии Васильев. Он представил его как своего помощника, который только что получил назначение в московское полпредство в Литве. Впоследствии я действительно встречал его в московском полпредстве.

Мы отправились на выставку, осматривать которую у меня не было совершенно никакого желания. Поехал я только из приличия. Меня сопровождали г-н Наткявичюс и г-н Багдонас, секретарь нашего полпредства. Мы ехали в автомашине полпредства, а Деканозов и Васильев следовали в отдельной автомашине. Поскольку Деканозов сказал, что он только утром прилетел в Москву, я поинтересовался, ездил ли он снова в Каунас.

— Я летал повидаться с семьей, — ответил он. — Рассчитывал провести с ней несколько дней, но неожиданно меня вызвали в Москву. А все по вашей вине, господин министр.

Мы осмотрели всю выставку, которая мало меня интересовала, поскольку мне было хорошо известно, как и для чего в Советском Союзе устраиваются выставки. Единственное, что меня позабавило, — это женские чулки каунасской фирмы «Kotton» с этикеткой белорусской фабрики.

В конце осмотра Деканозов сказал, что хотел бы свозить меня на Московское море, где г-н Наткявичюс и г-н Багдонас, конечно, уже бывали не раз, и такая поездка для них,

вероятно, неинтересна. Мы поняли, что Деканозов желает побеседовать со мной наедине. Наткявичюс и Багдонас отправились домой, а я пересел в машину Деканозова, и мы в сопровождении Васильева отправились на осмотр Московского моря.

Когда мы приехали в речной порт, Деканозов куда-то исчез. Васильев показывал мне портовые сооружения и шлюзы и давал пояснения. Он был чрезвычайно любезен. Рассказывал он ровным, спокойным тоном и все время заглядывал мне в глаза, словно желая удостовериться, понимаю ли я, о чем он говорит.

После осмотра шлюзов мы возвратились в порт. Снова появился Деканозов.

— Я оторвал вас утром от завтрака. Так что давайте пойдём перекусим, — предложил он. Признаться, я и сам проголодался. А вы? — обернулся он к Васильеву.

— Я не откажусь, — с улыбкой ответил тот.

Мы прошли не в главный ресторанный зал, а в отдельный небольшой кабинет, где был сервирован обильный стол с напитками, сели за стол и принялись за еду. Когда мне предложили выпить, я отказался, сославшись на запрет врача.

— Если слушаться врачей, то и жить не стоит — заметил Деканозов, но настаивать не стал. Я заподозрил, что меня хотели подпоить, чтобы у меня развязался язык. За столом никто не разговаривал. По-видимому, мои спутники действительно проголодались — они ели с большим аппетитом и много пили. Утолив голод, Деканозов откинулся на стуле.

— Товарищ Молотов вами недоволен, — произнес он, обращаясь ко мне. — Я получил нахлобучку.

— Вы думаете, что я доволен товарищем Молотовым? — сказал я в ответ. — Вы знаете, что он мне сказал?

— Знаю, — ответил Деканозов. — Мне было известно, что вы услышите, еще до вашего отъезда в Москву.

— А помните ли, г-н Деканозов, о чем вы мне говорили, когда пытались убедить меня войти в правительство?

— Тогда была одна политическая ситуация, а теперь другая, — пояснил он. — Политическая ситуация совершенно изменилась.

— Любой человек должен отвечать за свои слова, даже политик, — сказал я ему на это. — Кто может сегодня убедить меня в том, что во всем виновата ситуация, а не вы сами, хотя вы сознательно мне лгали?

Лицо Деканозова залила краска, он сильно оскорбился. Это не укрылось от внимания Васильева, который тотчас же вмешался в разговор и попытался поправить положение.

— Товарищ Деканозов — грузин, — принялся объяснять он, — а все грузины — люди очень прямые и откровенные, как товарищ Сталин. Грузины не умеют лицемерить и поэтому иногда, бывает, рубят с плеча. Видите ли, господин министр, товарищ Деканозов и вся административная головка нашего Союза фактически являются лишь исполнителями воли коммунистической партии. Советским Союзом управляет коммунистическая партия — только она принимает решения, которые мы все обязаны выполнять. Ни я, ни товарищ Деканозов решения не принимаем. Мы всего лишь послушные исполнители решений партии и поэтому не можем нести ответственности за те соображения, которыми руководствуется партия, и за изменение тактики. Товарищ Деканозов и тогда, и теперь был откровенен и искренен.

— Иначе говоря, теперь ваша партия решила восстановить в первоизданном виде «единую и неделимую Россию» в границах старой царской империи. Похоже, что аппетит приходит во время еды.

— И думать, и говорить об этом забудьте, господин министр, — подскочил на стуле Деканозов. — Мы печемся не о «единой и неделимой», а обо всем человечестве, о пролетариате всего земного шара. Мы должны собрать всех под одно красное знамя. И мы это сделаем. После Второй мировой войны вся Европа упадет к нам в руки как спелый плод. А после неизбежной Третьей мировой войны мы победим во всем мире.

— Это еще вопрос, — усомнился я. — Сам товарищ Молотов сказал мне, что Соединенные Штаты серьезно готовятся вступить в войну. На чьей стороне — ясно. Сомневаюсь, чтобы Соединенные Штаты, выиграв войну, позволили вам установить в Европе коммунистические порядки.

— Эта страна (Америка) воевать с нами в Европе не будет, смею вас уверить, — сказал Деканозов. — Тем более не будет она воевать из-за небольших балтийских государств, которые никакой ценности для нее не представляют. Чего уж там говорить! Разве у вас есть нефтепромыслы или золотые прииски? Разве в вашу промышленность вложены американские капиталы или у вас есть рынки для сбыта американских товаров?

— Давайте я все вам откровенно объясню, — заговорил Васильев слащавым голосом. — Наши руководители ведут очень осторожную политику. Наша партия всегда старается серьезно изучить любой вопрос и любые обстоятельства, выдвигаемые жизнью, и только после этого принимает соответствующие решения. Мы привыкли собирать подробные сведения о каждой стране, ее народе, нравах, обычаях и системе взглядов, если предвидим, что нам придется на том или ином уровне иметь с ними дело. Могу уверить вас, господин министр, что на сегодняшний день у Советского Союза есть лишь два реальных противника — Германия и Япония. Германию покорят и разобьют без нас, а Япония будет сокрушена. Что же касается Соединенных Штатов Америки, на которые вы, дипломаты балтийских государств, — о чем нам прекрасно известно, — и народы ваших государств возлагаете — и совершенно напрасно — большие надежды, то для нас тут нет никакой проблемы. Да, верно, сегодня эта страна производит впечатление гиганта. В действительности же этот гигант неизлечимо болен... Нигде в мире вы не встретите таких острых классовых противоречий, таких непроницаемых барьеров между различными классами, больше того, между классами и народными массами, как в Соединенных Штатах. Конечно, эти классовые

противоречия связаны с долларом. Те, кто накопил миллионы долларов, не желают иметь ничего общего с теми, кто еще не сколотил состояние... В общем и целом, основными принципами социального устройства Соединенных Штатов являются погоня за долларом, ненависть и корысть. Такого рода страна не представляет для нас угрозы ни в качестве врага, ни в качестве друга. Кроме того, у нас нет и никогда не возникнет желания воевать с ней. Однако, если у кого-то появится охота пойти на нас войной, мы знаем, как отбить такую охоту. Когда наступит время, мы сокрушим эту страну изнутри, руками ее собственных граждан... С помощью того же самого всемогущего доллара. Что же касается англичан, если они почувствуют в нас угрозу, я совершенно уверен, что воевать с нами один на один они не могут и никогда не смогут. Единственно, с кем у нас могли быть хлопоты, это с Германией, но ее раздавят, и она сама свалится к нам в руки. Франция разбита и уже никогда не оправится как военная держава.

Больше того, она давно в наших руках, — вставил Деканозов. — Пятьдесят тысяч учителей-коммунистов давно уже действуют нам на руку. Новые поколения французов — с нами. Мы давно уже могли захватить там власть и захватим, когда потребуется.

— Так что видите, господин министр, нет сегодня такой силы в мире, которая могла бы помешать нашей партии взять власть во всей Европе, — продолжал Васильев. — И теперь вы сами должны понять, почему изменились планы нашей партии в отношении балтийских государств. Их включение в состав Советского Союза и, следовательно, включение Литвы, является одним из первых шагов к реализации этих целей. Медлить наша партия не может, поскольку подобные благоприятные обстоятельства могут больше не представиться. Мы хотели бы, чтобы эти первые шаги осуществились без каких-либо возмущений. Латвия и Эстония нас не беспокоят, а вот ваша страна — совсем иное дело. Литва — католическая страна, ее жители, все ее населе-

ние фанатически противятся целям партии, и поэтому мы должны действовать крайне осторожно. Товарищу Молотову известно, что народ, и в особенности молодое поколение, вам доверяет, и поэтому он желает, чтобы вы оставались в правительстве до тех пор, пока ваша страна не войдет в семью народов Советского Союза. Вашу отставку в данный момент будет очень трудно объяснить населению.

— Или же нам придется дать такое объяснение по поводу вашей отставки, которое будет для вас неприятно, — с угрозой в голосе сказал Деканозов. — Благоразумнее всего вам будет вступить в партию.

— Мы будем очень довольны и не обременим вас обычными формальностями, связанными с приемом в партию, — подхватил Васильев. — Но, конечно, решайте сами. Еще должен сказать, что товарищ Молотов наказал нам предупредить вас, что все наши беседы с вами должны оставаться конфиденциальными и что никаких отчетов на эту тему — ни публичных, ни на заседании кабинета — появляться не должно, поскольку беседы были доверительными.

Я ответил, что должен обдумать, как поступить в данной ситуации.

— Не стану скрывать, что я буду руководствоваться в своих действиях высшими интересами моей страны.

— Суметь настроить народ благожелательно по отношению к нашим целям — вот что лучше всего будет отвечать высшим интересам вашей страны, — заявил Деканозов.

На этом наша беседа закончилась. Меня отвезли в полпредство. Я пересказал содержание беседы г-ну Наткявичусу, и мы тут же записали ее содержание.

Перевел с английского и подготовил к печати Л. ШТЕРН



СЛОВНО ТЫСЯЧА СЖАТЫХ ПРУЖИН

*Корней Чуковский о Борисе Пастернаке.
Из дневников*

1931

19 ноября. (...) Вчера был в «Зифе» у Черняка. Зашел поговорить о Панаевой. Вдруг кто-то кидается на меня и звонко целует. Кто-то брызжащий какими-то силами, словно в нем тысяча сжатых пружин. Пастернак. Любите музыку. Приходите ко мне. Я вам пришлю Спекторского — вам первому — ведь вы подарили мне Л-ву. Что за чудесный человек! Я ее не видел, но жена говорит...

8 декабря. (...) Вскоре после моего приезда в Ленинград, когда я лежал в гриппу, ко мне пришел Тынянов (...) и просидел у меня весь вечер, стараясь развлечь меня своими рассказами.

Великолепно показывал он Пастернака: как Пастернак словно каким-то войлоком весь укутан — и ни одно ваше слово до него не доходит сразу: слушая, он не слышит и долго сочувственно мычит: да, да, да! И только потом через

две-три минуты поймет то, что вы говорили, — и скажет решительно: нет. Так что все реплики Пастернака в разговоре с вами такие:

— Да... да... да... НЕТ!

В показе Тынянова есть и лунатизм Пастернака, и его оторванность от внешнего мира, и его речевая энергия. Тынянов изображал, как Пастернак провалил у Горького на заседании «Библиотеки поэтов» предложенную Тыняновым книгу «Опытов» Востокова: вначале с большой энергией кивал головой и мычал: да, да, да, а закончил эту серию «да» крутым и решительным «нет».

1932

24 февраля. Москва. Мороз. Ясное небо. Звезды. Сегодня день Муринога рождения. Ей было бы 12 лет. (...) был я у Корнелия Зелинского. Туда пришел Пастернак с новой женой Зинаидой Николаевной. Пришел и поднял температуру на 100 градусов. При Пастернаке невозможны никакие пошлые разговоры, он весь напряженный, радостный, источающий свет. Читал свою поэму «Волны», которая, очевидно, ему самому очень нравится, читая, часто смеялся отдельным удачам, читал с бешеной энергией, как будто штурмом брал каждую строфу, и я испытал такую радость, слушая его, что боялся, как бы он не кончил. Хотелось слушать без конца — это уже не «поверх барьеров», а «сквозь стены». Неужели этот новый прилив творческой энергии дала ему эта миловидная женщина? Очевидно, это так, потому что он взглядывает на нее каждые 3-4 минуты и, взглянув, меняется в лице от любви и смеется ей дружески, как бы благодаря ее за то, что она существует. Во время прошлой нашей встречи он был как потерянный, а теперь твердый, внутренне спокойный. Он не знает, что его собрание сочинений в Ленинграде зарезано. Я сказал ему об этом (думая, что он знает), он загрустил. Она спросила: почему? — он сказал: «Из-за смерти Вяч. Полонского». Но она сказала: «И из-за книг». Он признался: да.

1946

21 августа. (...) Третьего дня я был у Пастернака: он пишет роман. Полон творческих сил, но по-прежнему его речь изобилует прелестными невнятными туманностями.

Сегодня, 29 августа, в пятницу, в «Правде» ругательный фельетон о моем «Бибигоне» и о Колином «Серебряном острове». Значит, опять мне на старости голодный год (...) Сердце болит до колик — и ничего взять в рот не могу. Пришел Пастернак. Бодрый, громогласный. Принес свою статью о Шекспире.

5 сентября. Весь день безостановочный дождь. (...) В «Правде» вчера изничтожают Василия Гроссмана. Третьего дня у меня был Леонов. Говорит: почему Пастернак мешает нам, его друзьям, вступить за него? Почему он болтает черт знает что?

10 сентября. (...) Вчера вечером были у нас Леоновы, а я в это время был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, который он пишет сейчас. Он читал этот роман Федину и Погодину, звал и меня. Третьего дня сказал Коле, что чтение состоится в воскресенье. Заодно пригласил он и Колю, и Марину. А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в «Правде» напечатана резолюция президиума ССП, где Пастернака объявляют «безыдейным, далеким от советской действительности автором». Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает «печать отвержения», которой заклемили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народа. Роман его я плохо усвоил, т.к. вечером я не умею слушать, устаю за день к восьми часам, но при всей прелести отдельных кусков — главным образом, относящихся к детству и к описаниям природы — он показался мне посторонним, сбивчивым, далеким от моего бытия — и слишком много в нем не вызвало во мне никакого участия. (...)

1953

26 апреля. (...) Жаль, что я не записал своей беседы с Пастернаком в его очаровательной комнате, где он работает над корректурами «Фауста». Комната очаровательна необычайной простотой, благородной безыскусственностью: сосновые полки с книгами на трех-четырёх языках (книг немного, только те, что нужны для работы), простые сосновые столы и кровать. (...)

20 октября. Был у Федина. Говорит, что в литературе опять наступила весна. (...) Боря Пастернак кричал мне из-за забора (...) «Начинается новая эра, хотят издавать меня!»

25 октября. Был у Федина. (...) Федин в восторге от пастернаковского стихотворения «Август», которое действительно гениально. «Хотя о смерти, о похоронах, а как жизненно — все во славу жизни».

1954

15 декабря. (...) Только что вернулся со съезда. Впечатление ужасное. Это не литературный съезд, но антилитературный съезд.

1955

28 февраля. (...) Вчера снова я ездил на могилу. (...) Пастернак закончил свой роман — теперь переписывает его для машинистки. Написал 500 страниц. Вид у него усталый (...)

10 мая. (...) Гуляя с Ираклием, встретил Пастернака. У него испепеленный вид — после целодневной и многодневной работы. Он закончил вчерне роман — и видно, что роман довёл его до изнеможения. Как долго сохранял Пастернак юношеский, студенческий вид, а теперь это седой старичок — как бы присыпанный пеплом. «Роман выходит банальный, плохой — да, да, — но надо же кончить» и т.д. Я спросил его о книге стихов. «Вот кончу роман — и при-

мусь за составление своего однотомника. Как хотелось бы все переделать, — например, в цикле «Сестра моя жизнь» хорошо только заглавие» и т.д. Усталый, но творческое духовное кипение во всем его облике.

1956

1 сентября. Был вчера у Фебина. Он сообщил мне под большим секретом, что Пастернак вручил свой роман «Доктор Живаго» какому-то итальянцу, который намерен издать его за границей. Конечно, это будет скандал: «Запрещенный большевиками роман Пастернака». Белогвардейцам только это и нужно. Они могут вырвать из контекста отдельные куски и состряпать «контрреволюционный роман Пастернака».

С этим романом большие пертурбации: Пастернак дал его в «Лит. Москву». Казакевич, прочтя, сказал: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение, и лучше было ее не делать». Рукопись возвратили. Он дал ее в «Новый мир», а заодно и написанное им предисловие к сборнику его стихов. Кривицкий склонялся к тому, что «Предисловие» можно напечатать с небольшими купюрами. Но когда Симонов прочел роман, он отказался печатать и «Предисловие». — Нельзя давать трибуну Пастернаку!

Возник такой план: чтобы прекратить все кривотолки (за границей и здесь), тиснуть роман в 3-х тысячах экземпляров и сделать его, таким образом, недоступным для масс, заявив в то же время: у нас не делают Пастернаку препон.

А роман, как говорит Фебин, «гениальный». Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный — автобиография великого Пастернака. (Фебин говорил о романе вдохновенно, ходя по комнате, размахивая руками — очень тонко и пронизательно, — я залюбовался им, сколько в нем душевного жара.) Заодно Фебин восхищался пастернаковым переводом «Фауста», просторечием этого перевода, его

гибкой и богатой фразеологией, «словно он всего Даля наизусть выучил». (...)

1958

14 января. Гулял очень много с Фебиным. (...) «В последнее время у меня была преинтересная переписка с Пастернаком — я так и сказал начальству: не натравливайте меня против Пастернака — я на это не пойду». Видел итальянское издание Б. Л-ча с его портретом — и заявлением, что книга печатается без его согласия. Красивое издание — «Доктор Живаго».

1 февраля. Заболел Пастернак. (...) Зин. Ник. обезумела. Ниоткуда никакой помощи. (...) Я вспомнил, что у меня есть знакомый Мих. Фед. Власов (секретарь Микояна), и позвонил ему. (...)

В Союзе в прошлом году так и сказали: «Пастернак недоустроен, чтобы его клали в Кремлевку». Зин. Ник. говорит: «Пастернак требует, чтобы мы не обращались в Союз».

3 февраля. Был у Пастернака. Он лежит изможденный — но бодрый. Перед ним Henry James. Встретил меня радушно — читал и слушал вас по радио — о Чехове, ах — о Некрасове, и вы так много для меня... так много... и вдруг схватил мою руку и поцеловал. А в глазах ужас... Опять на меня надвигается боль — и я думаю, как бы хорошо умереть. (Он не сказал этого слова.) Ведь я уже сделал в жизни все, что хотел. Так бы хорошо. Все свидание длилось три минуты. (...)

Сегодня и завтра я буду хлопотать о больнице. О Кремлевке нечего и думать. Ему нужна отдельная палата, а где ее достать, если начальство продолжает гневаться на него.

Ужасно, что какой-нибудь Еголин, презренный холуй, может в любую минуту обеспечить себе высший комфорт, а Пастернак лежит — без самой элементарной помощи.

7 февраля. (...) Милый Власов! Он звонил проф. Эпштейну, расспрашивал о болезни Пастернака. Звонил в Союз —

узнать его отчество и т.д. Говорил с министром здравоохранения РСФСР и министром здравоохранения СССР.

8 февраля. (...) В три часа Женя воротился и сообщил все это Б-су Л-чу. Он готов куда угодно — болезнь истомила его. Очень благодарит меня и Там. Вл. По моему предложению подписал Власову своего «Фауста», поблагодарив за все хлопоты. З. Н. нахлобучила ему шапку, одела его в шубу; рабочие между тем разгребали снег возле парадного хода и пронесли его на носилках в машину. Он посылал нам воздушные поцелуи.

22 апреля. (...) Пастернак — трагический — с перекошенным ртом, без галстука, рассказал, что сегодня он получил письмо из Вильны по-немецки, где сказано:

«Когда вы слушаете, как наемные убийцы из «Голоса Америки» хвалят ваш роман, вы должны сгореть со стыда».

Я романа «Доктор Живаго» не читал (целиком) (...) Но сам он производит впечатление гения: обнаженные нервы, неблагополучный и гибельный.

14 июня. (...) Вдруг пришел ко мне милый Кассиль — и говорит, что он наверное узнал, что Пастернак собирается завтра выступить со своими стихами, с чтением своей автобиографии в Доме творчества, где наряду с почтенными переводчиками, литературоведами живет много шушеры — «которая сделает из пастернаковского выступления громчайший скандал — и скандал этот будет на руку Суркову».

Я побежал к Пастернаку предупредить его и все время твержу его стихи:

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Не застал его дома, он пошел гулять: гуляет он часа два: я не мог дожждаться его; З. Н. тоже против его чтения — просит уговорить. Условились, что сегодня утром он зайдет ко мне. Читать сейчас было бы безумием. А какие стихи! Я упиваюсь его «Августом», «Больницей», «Снегом».

9 сентября. У меня с Пастернаком — отношения неловкие: я люблю некоторые его стихотворения, но не люблю иных его переводов и не люблю его романа «Доктор Живаго», который знаю лишь по первой части, читанной давно. Он же говорит со мной так, будто я безусловный поклонник всего его творчества, и я из какой-то глупой вежливости не говорю ему своего отношения. Мне любы (до слез) его «Рождественская звезда», его «Больница», «Август», «Женщинам» и еще несколько; мне мил он сам — поэт с головы до ног — мечущийся, искренний, сложный.

27 октября. История с Пастернаком стоит мне трех лет жизни. Мне так хотелось ему помочь!!! Я предложил ему поехать со мной к Фурцевой... Дело было так. Пришла в 11 часов Клара Лазовская, моя секретарша, и, прыгая от восторга, сообщила мне, что Пастернаку присуждена премия (...) я с Люшей бросился к нему и поздравил его. Он был счастлив, опьянен своей победой и рассказывал, что ночью у него был Всеволод Иванов, тоже поздравлял его. Я обнял Б. Л. и расцеловал его от души. Оказалось, что сегодня день рождения его жены. Я поднял бокал за ее здоровье. Тут только я заметил, что рядом с русским фотографом есть два иностранных. (...)

Забыл сказать, что едва мы с Люшей пришли к Пастернаку, он увел нас в маленькую комнатку и сообщил, что вчера (или сегодня?) был у него Федин, сказавший: «Я не поздравляю тебя. Сейчас сидит у меня Поликарпов, он требует, чтобы ты отказался от премии». Я ответил: «Ни в коем случае». Мы посмеялись, мне показалось это каким-то недоразумением. Ведь Пастернаку дали премию не только за «Живаго» — но за его стихи, за переводы Шекспира, Шиллера, Петефи, Гёте, за огромный труд всей его жизни, за который ему должен быть признателен каждый советский патриот. (...)

Мы расстались, и я пошел к Федину. Федин был грустен и раздражен. «Сильно навредит Пастернак всем нам. Теперь-то уж начнется самый лютый поход против интелли-

генции». И он рассказал мне, что Поликарпов уехал взбешенный. «Последний раз он был у меня, когда громили мою книжку «Горький среди нас». И тут же Федин заговорил, как ему жалко Пастернака. «Ведь Поликарпов приезжал не от себя. Там ждут ответа. Его проведут сквозь строй. И что же мне делать? Я ведь не номинальный председатель, а на самом деле руководитель Союза. Я обязан выступить против него. Мы напечатаем письмо от редакции «Нового мира» — то, которое мы послали Пастернаку, когда возвращали ему рукопись» и т.д.

Взбудораженный всем этим, я часа через два снова пошел к Пастернаку. У него сидел Морозов (из М-ва Ин. дел) вместе с женой. (...) Я сказал ему, что готовится поход против него, и сообщил о письме из «Нового мира». А главное — о повестке, полученной мною из Союза писателей с приглашением завтра же явиться на экстренное заседание. Как раз в эту минуту приехал к нему тот же посыльный и принес такую же повестку. (Я видел посыльного также у дачи Всеволода Иванова.) Лицо у него потемнело, он схватился за сердце и с трудом поднялся по лестнице к себе в кабинет. Мне стало ясно, что пощады ему не будет, что ему готовится гражданская казнь, что его будут топтать ногами, пока не убьют, как убили Зоценко, Мандельштама, Заболоцкого, Мирского, Бенед. Лившица, и мне пришла безумная мысль, что надо спасти его от этих шпицрутенов. Спасение одно — поехать вместе с ним завтра спозаранку к Фурцевой, заявить ей, что его самого возмущает та свистопляска, которая поднята вокруг его имени, что «Живаго» попал за границу помимо его воли — и вообще не держаться в стороне от ЦК, а показать, что он несколько не солидарен с бандитами, которые наживают сотни тысяч на его романе и подняли вокруг его романа политическую шумиху. Меня поддержали Анна Никандровна Погодина, Морозов и Леня. Когда Б. Л. сошел вниз, он отверг мое предложение, но согласился написать Фурцевой письмо с объяснением своего поступка. Пошел наверх и через десять минут (не боль-

ше) принес письмо к Фурцевой — как будто нарочно рассчитанное, чтобы ухудшить положение. «Высшие силы повелевают мне поступить так, как поступаю я», «я думаю, что Нобелевская премия, данная мне, не может не порадовать всех советских писателей» и «нельзя же решать такие вопросы топором». Выслушав это письмо, я пришел в отчаяние. Не то! И тут только заметил, что я болен. Нервы мои разгулялись, и я ушел, чуть не плача. (...)

4 декабря. (...) Нилин: «Пастернак очень щедр. За малейшую услугу — здесь в городке писателей — он щедро расплачивается. Поговорит в Доме творчества по телефону и дает уборщице пятерку. По этому случаю один старик сказал: ему легко швырять деньги. Он продался американцам, — читали в газетах? Все эти деньги у него — американские».

1959

23 апреля. За то время я раза три виделся с Пастернаком. Он бодр, глаза веселые, побывал с «Зиной» в Тбилиси, вернулся помолодевший, самоуверенный. (...)

Рассказывал (по секрету, я дал подписку никому не рассказывать), что его вызывал к себе прокурор и (смеется) начал дело... Между тем следователь по моему делу говорит: «Плюньте, чепуха! Все обойдется».

— У меня опять недоразумение... слышали? «Недоразумение», ужасно. Месяца три назад он дал мне свои стихи о том, что он «загнанный зверь». Я спрятал эти стихи, никому не показывая их, решив, что он написал их под влиянием минуты, что это не «линия», а «настроение». И вот оказывается, что он каким-то образом переслал «Зверя» за границу, где его и тиснули!!!

Так поступить мог только сумасшедший — и лицо у Пастернака «с сумасшедшинкой». (...)

5 мая. (...) Он получил приглашение на прием к шведскому послу — и ему сообщило одно учреждение, что если он не

Копию этой переписки Зелинский прислал Всеволоду Иванову. Это рассказала мне Тамара Владимировна Иванова. Она же сообщила мне, что Асмуса вызвали в университет и допрашивали: как смел он назвать Пастернака крупным писателем? Он ответил:

— Я сам писатель, член Союза писателей и, полагаю, имею возможность без указки разобраться, кто крупный писатель, кто некрупный. (...)

1961

1 мая. (...) Я встретил Асмуса. Асмус встревожен. Хотя он (вместе с Вильмонтом, Эренбургом и семьей Пастернака) душеприказчик Пастернака, Гослит, помимо комиссии, печатает книгу пастернаковских стихов. Стихи отобрал Сурков — в очень малом количестве. Выйдет тощая книжонка. Комиссия по наследству Пастернака написала высшему начальству протест, настаивая, чтобы составление сборника было поручено ей и был бы увеличен его размер. А Зинаида Николаевна против этого протеста. «Пусть печатают в каком угодно виде, лишь бы поскорее!» (...)

30 июля. (...) Был на кладбище. Так странно, что моя могила будет рядом с пастернаковской. С моей стороны это очень нескромно — и даже нагло, но ничего не поделаешь. Покуда земной шар не перестанет вертеться — мне суждено занимать в нем с Пастернаком такие места: (в дневнике рисунок Чуковского, изображающий могилы Пастернака, Давыдова и его будущую могилу. — Е. И.).

1965

27 июня. (...) Пришел Женя Пастернак и принес сигнальный томик «Библиотеки поэта», на котором крупными буквами начертано: «Борис Пастернак»!!! Он вез этот томик Зинаиде Николаевне в больницу. Это обрадовало меня, как праздник.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605



ОНИ — ТОЖЕ РОДИНА

Ровно через тринадцать лет происходит мое второе свидание с картинами Георгия Александровича Щетинина. Мастерская на Фрунзенской набережной в Москве не изменилась, да и хозяин тоже — все те же живые глаза, едкий юмор, интерес к политике, оригинальные объяснения нынешних головокружительных событий в СССР, парадоксы, московская скороговорка. И любимое изречение — то же: «Красота пустыни — в сердце араба». Изменились только картины — хотя они все те же: изменились в моем видении.

Тогда, тринадцать лет назад, я зашла к нему попрощаться перед отъездом в Америку. Он был довольно известный в Москве книжный график, это он сделал обложки к четырем книгам Генриха Бёлля, иллюстрировал «Доктора Фаустуса» Томаса Манна. В Москве у него был негласный титул «короля промграфики», он и до сих пор преподает графический дизайн в Институте им. Сурикова.

Конечно, тогда мы не думали, что увидимся. Может быть, именно поэтому Георгий Александрович неожиданно решил «открыться»? Я знала, что помимо книжного оформления и дизайна он делает что-то для себя (об этом говорили в нашей семье, мы с ним родственники), но, будучи по природе человеком совсем не скрытным, об этой своей работе он почему-то не распространялся. И вот он поворачивает прислоненные к стене большие картоны — лицом

ко мне. Это оказался гризайль — черно-белая живопись, выполненная гуашью и темперой. На картинах черносерьые люди — портреты и жанровые сцены. «Прощайся и с ними, они — тоже Родина; так, по крайней мере, я смею надеяться. А иначе — зачем заниматься всем этим?» — махнул он рукой в сторону мольберта.

Не стану здесь определять его эстетическое кредо, но даже в этих несовершенных репродукциях читатель узнает и его героя, и образ мира, в котором многим из нас повезло не жить, но который существовал рядом. Это — Россия рабочих от сороковых до нынешних годов, Россия крестьян, переставших быть крестьянами и поселившихся в бараках индустриальных поселков, Россия лагерей, лагерных поселений, Россия женщин в ватниках, грубых сапогах, матерей-одиночек с рюкзаками за плечами и детьми на руках...

Почему этот человек из интеллигентной еврейской семьи всю жизнь тайно запечатлевал среду, выжить в которой, думаю, он не смог бы и нескольких дней? (Другое дело, он много работал со своими будущими героями на стройках.)

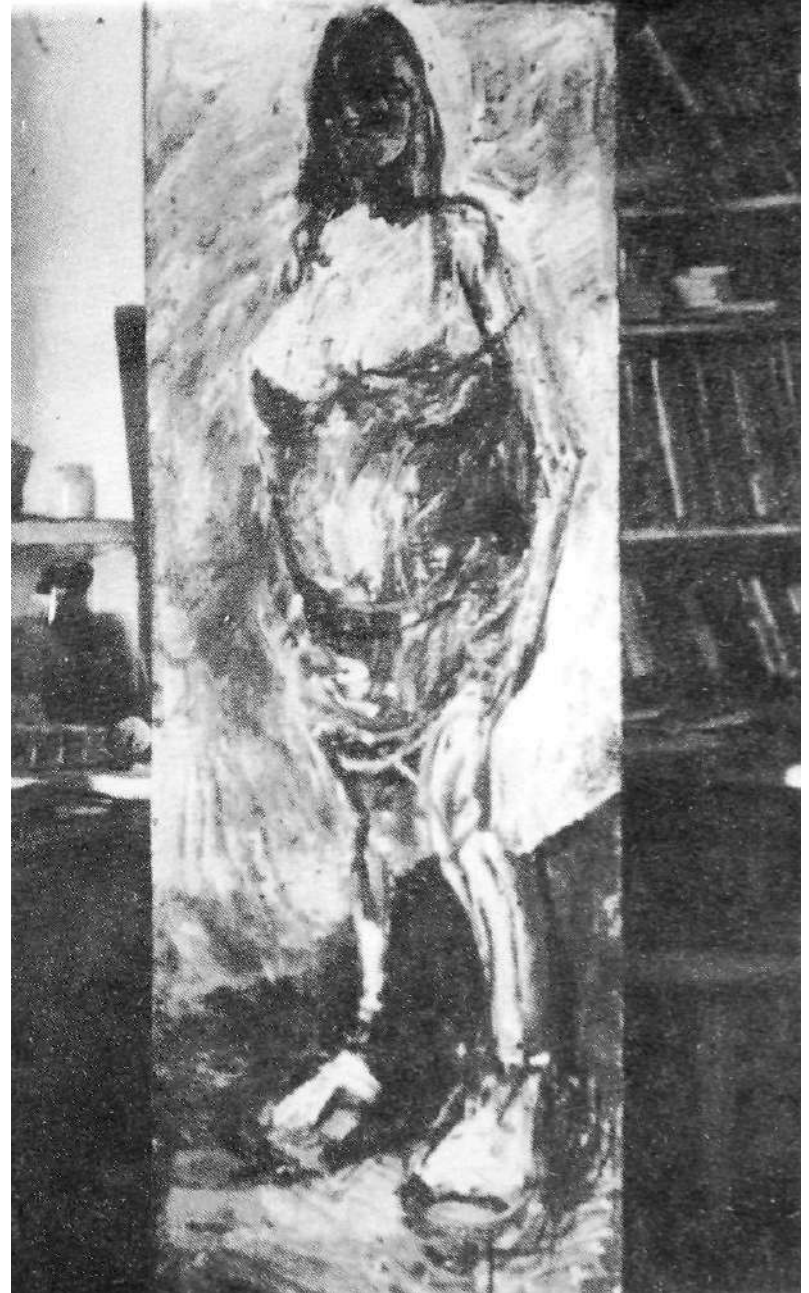
В тот день он бросил такую фразу — весьма будничным, надо сказать, тоном: «Мне хотелось бы сделать нечто, хоть как-то приближающееся к солженицынскому ГУЛАГУ». Позже, глядя на работы Щетинина, я подумала о другом художнике слова, близком к Солженицыну, о Варламе Шаламове.

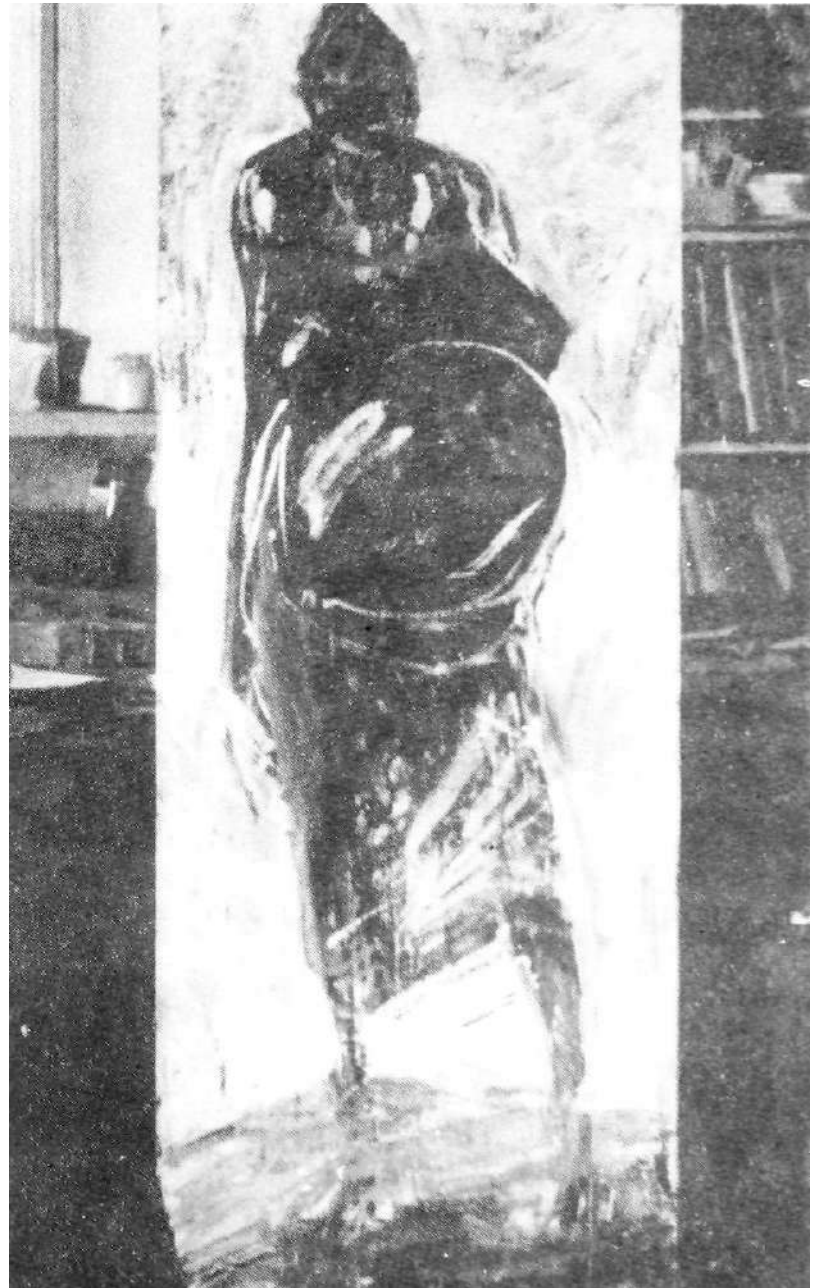
Сюжеты, правда, пересекаются редко: у Шаламова исключительного лагерь, тюрьма, у Щетинина — лишь изредка. Но герой — тот же: человек, заброшенный в мир, в котором только одна цель — выжить; человек, сквозь облик которого нередко проступает зверь. Конечно, Щетинин мягче, не столь пограничен. Однако драма, разыгранная на его картонах, в чем-то острее и тоньше: ведь это не ад Колымы, это повседневная жизнь, житуха, и другой не знают эти существа новой породы — каторжники от рождения до смерти.

Как живописец Щетинин восприимчив больше всего к пластике именно их бытия, именно они сделали его незаурядным художником (ни русская природа, ни русские красавицы), он благодарен им за это, и это чувство благодарности к ним — главное, что поражает в его работах. И вот через тринадцать лет я снова вижу их — этих черносерьых людей. Открыто фотографирую их для журнала. Изменились времена. А они? Я уже сказала, что да. Но они перестали быть Родиной для меня. Я вижу в них просто Жизнь.

Лиля ПАНН

В этом номере мы публикуем работы Г. Щетинина из серии «Женщины ГУЛАГа»









КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК — родился в 1945 году. Эмигрировал в 1975. Живет в Лондоне. Автор повестей и романов: «Извещение» («Время и мы», Нью-Йорк); «Уклонение от повинности» («Время и мы», Нью-Йорк), «Русская служба» (из-во «Синтаксис», Париж); «Ниша в Пантеоне» (из-во Синтаксис, Париж); «Перемещенное лицо» (из-во Руссика, Нью-Йорк); «Руссофобка и фунгофил» (из-во Russian Roulette, Лондон); «Лорд и егерь» (в рукописи). Проза Зиновия Зиника была переведена на английский, французский, испанский, голландский и иврит.

СЕРГЕЙ РУЗЕР — родился в Москве в 1953 году. Окончил Московский университет в 1972 году. Работал научным сотрудником в музее, экскурсоводом, консьержем, литературным секретарем. Был внештатным сотрудником ряда московских журналов. Писал о театре и кино, переводил по договорам, преподавал частным образом иврит. В Израиль выехал в 1987 году. Живет в Иерусалиме.

ВАДИМ ЯРМОЛИНЕЦ — родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии одесского университета. Работал корреспондентом газеты «Моряк», затем многотиражной сталепрокатного объединения «Дзержинец» и областной «Комсомольская искра». Первые рассказы публиковались в одесских газетах, журнале «Парус». В 1989 году иммигрировал в США. Сейчас живет в Бруклине.

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА (Юлия Дубровкина) — родилась в 1938 году в Москве. В 1961 году окончила сценарный факультет ВГИКа. Писала сценарии для кино и телевидения. Выехала в Израиль в 1973 году. Автор нескольких книг. Выступает с поэтическими произведениями в «Континенте», «Гранях», «Время и мы», «Новом русском слове» и других изданиях.

ФЕЛИКС РОЗИНЕР — писатель, поэт, музыкальный критик. Родился в Москве в 1936 году. Окончил Полиграфический институт, учился в консерватории, был на инженерной работе. В начале 60-х годов выступает в печати как поэт. Профессиональный литератор с 1967 года. В Советском Союзе опубликовал шесть книг, в том числе беллетризованные биографии Э. Грига, С. Прокофьева, литовского художника и композитора Чюрлениса. Феликс Розинер — автор романа «Некто Финкельмайер», удостоенного премии В. Даля за 1980 год и переведенного на иврит и французский. Ф. Розинеру принадлежат книги «Серебряная цепочка» (премия иерусалимского университета), «Весенние мужские игры» (повести и рассказы), «Томный дом» (сборник стихов). В настоящее время Ф. Розинер живет в США.

ИГОРЬ ГУ БЕРМАН — поэт. Родился в Москве. Пишет стихи с юношеских лет. В СССР выступал под псевдонимом И. Гарик. Сатирические стихи И. Гарика широко циркулировали в Самиздате, и многие из них уже давно стали достоянием фольклора. После подачи заявления о выезде в Израиль И. Губерман был арестован и по провокационному обвинению несколько лет провел в лагерях. Один из наиболее известных сатирических сборников И. Гарика «Дацзыбао». На некоторые его стихи из цикла «Обгусевшие лебеди» были написаны песни. Отрывки из «Дацзыбао» публиковались в 29 номере журнала «Время и мы».

ВАЛЕНТИН ЛЮБАРСКИЙ — родился в 1939 г. в Ленинграде. В 1963 году окончил Первый Ленинградский медицинский институт. Служил корабельным врачом на Северном и Балтийском флоте, закончил службу на Тихом океане. С 1970 по 1979 годы работал врачом в Ленинграде, в 1979 году эмигрировал, в настоящее время живет в Нью-Йорке, работает врачом. В 1986 году опубликовал книгу «Без иллюзий, но с надеждой», в которой оспаривал распространенные в те годы представления о невозможности коренных изменений в СССР.

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН — родился в Москве в 1950 г. В 1972 году закончил филологический факультет МГУ. С 1978 года член Союза писателей СССР. Статьи по русской и зарубежной литературе, по философии культуры, по теории авангарда и постмодернизму печатались в журналах «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Автор трех книг и семидесяти статей, опубликованных в СССР. Многие из них переведены на иностранные языки. Руководил рядом гуманитарных клубов и творческих содружеств: «Клуб эссеистов», «Образ и мысль», «Лаборатория современной культуры». В 1989 — 1990 гг. выступал с лекциями в западноевропейских и американских университетах. В настоящее время работает в институте Кеннана в Вашингтоне над проектом «Идеология и язык».

ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН — родился в Берлине. Эмигрировал с семьей в Харбин в 1939 году. Не был допущен советскими властями в Харбине к экзамену на аттестат зрелости как «не имеющий подданства». Приехав в Израиль, вступил в кибуц «Мишмар Газ-мек». Работал чернорабочим, шофером грузовика, трактористом. Только в 26 лет сдал экзамен на аттестат зрелости. Окончил Иерусалимский университет и получил звание бакалавра по европейской и всеобщей истории, затем — магистра по классической истории и филологии. Автор многочисленных работ по социально-экономической истории античного мира. С 1966 года преподает всеобщую историю в Тель-Авивском университете. Преподавал древнюю историю в Берлинском Свободном университете. В соавторстве с профессором Цви Явицем написал книгу «Восстание рабов древнего мира». Доктор философии по древней истории.

ЕФИМ МАНЕВИЧ — родился в 1937 году. По профессии инженер-электронщик. Окончил Московский энергетический институт. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 году репатриировался в Израиль. В настоящее время живет в США.

ЕЛЕНА ГЕССЕН — публицист и переводчик. Окончила Институт иностранных языков в Москве, специалист по немецкой литературе. Работала во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы. Эмигрировала в США в 1981 году. В настоящее время — научный сотрудник Гарвардского русского научного центра. Регулярно публикуется в русскоязычной прессе. Перевела на русский язык ряд книг, в том числе «Охота за «Красным октябрем» Тома Кленси, «Зимний дворец» Дэнниса Джонса, «Жертвы Ялты» Ник. Толстого, «История власовской армии» Й. Хоффманна и другие.

ЕФИМ ЭТКИНД — писатель, литературовед, переводчик и критик. Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинском фронтах. После войны преподавал в ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. В настоящее время живет в Париже, выступает с лекциями в западных университетах. Под редакцией Е. Г. Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. В настоящее время готовятся переводы А. К. Толстого.

Summary for the 109th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

ZINOVY ZINIK, "Cricket." An intense psychological short story. The narrator, a young Russian emigre, finds himself in London where he tries to enter the milieu of people who call themselves the high society. The writer shows these people for what they really are: their personalities, their conflicts, their ethics. The tale climaxes in a murder, which puts the final magnificent stroke on the portrait of this circle.

SERGEI RUZER, "In the Southwest." This short story deals with the life of an old Jewish intellectual in Moscow who has his soul to the devil, serving the KGB for many years.

VADIM YARMOLINETS, "Emma Belotserkovskaya." The fictional story of young Odessa woman who leaves her family and finds herself on the bottom rung of society. Her only dream and goal is to escape to America, for which she is willing to do anything. The story recreates life in Odessa in the years of mass Jewish emigration

LIIYA VLADIMIROVA, "The Waking Hours and Dreams of Alexei Tsbashev." A psychological study of the inner torment of a man in whose life dreams and reality are intertwined.

FELIX ROZINER, "Moving into the Vita Nova Hotel." Poetry.

IGOR GUBERMAN, "Garriks." Humorous verse.

VICTOR PERELMAN, "The Hour is Near." An essay on the prospects of the transition of Soviet economy to a free-market system.

VALENTIN LUBARSTRY, "What to Do, Not Who Is to Blame." **The writer analyzes Igor Shafarevich's tract, "Russophobia," and shows that on top of everything else, it is extremely weak from the factual point of view.**

WOLFGANG ZE'EV RUBINSON, "Clio in the Service of the CPSU." The essay examines Soviet historical scholarship as a tool of the Party and of Communist ideology.

EFIM MANEVICH. "The Fate of the Jews." An analysis of the current situation of the Jews; the possible future of the Jews in the USSR and the prospects of their emigration to Israel and the U.S.

MIKHAIL EPSTEIN, "Oblomov and Korchagin." In this essay, the author traces the characteristics of the two literary heroes in Soviet life and mentality.

ELENA GESSEN. "The End of a Beautiful Era." A critical essay on modern Soviet anti-Utopian (dystopian) fiction.

EFIM ETKIND, "The Truth of Victor Nekrasov." This essay marks the third anniversary of the death of the outstanding Russian dissident writer, forced to emigrate by Soviet authorities.

Interview with the author Fridrikh Gorenstein by John Glad, professor of the Maryland University.

VINTSAS KREVE-MITSKIAVICIUS, "Lithuania, 1940. Conversations With Molotov." The memoirs of a once-famous Lithuanian politician.

KORNEI CHUKOVSKY, "Like a Thousand Coiled Springs." Reminiscences about Pasternak.

КООПЕРАТИВ «СТРОЙСЕРВИС» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

1. Комплексное проектирование промышленных, жилых и общественных зданий, художественные разработки интерьеров и экстерьеров по заказам фирм и отдельных граждан зарубежных стран, а также участвует совместно с инофирмами в выполнении указанных выше работ.

2. Если на территории СССР находится прах ваших близких, могилы которых нуждаются в восстановлении, постоянном уходе, реставрации памятников, надгробий, оград, а также возложении венков к памятным датам и религиозным праздникам, кооператив «Стройсервис», обладая опытом, готов взять на себя обязанности по розыску могил и выполнить все ваши пожелания, а также обеспечить в дальнейшем:

- *постоянный уход за могилой в течение года;*
- *уход за растениями и возложение цветов и венков;*
- *установка новой могильной плиты или памятника;*
- *поминовение усопших и другие виды услуг.*

Оплата услуг в свободно-конвертируемой валюте. Условия и размеры оплаты устанавливаются контрактом, который кооператив направит вам в ответ на вашу просьбу.

Подтверждением выполненных работ будут служить фотографии могил и официальные акты, подписанные служащими кладбищ.

В случае Вашего прибытия в СССР кооператив окажет помощь имеющимися средствами для посещения захоронений.

Если Вы прибудете на автомашине — обеспечит уход и охрану Вашей автомашины в Москве на весь период Вашего пребывания.

Пишите нам по адресу:

*СССР, 129085, Москва И-85
проспект Мира, д. 83, кв. 37
Кооператив «Стройсервис»*

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги — 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201) 592-6155

панорама

**The largest independent
American Russian publication**

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Половец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

ГЛОБУС. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни

ПУБЛИЦИСТИКА. В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шумер, Лос-Анджелес, П. Вайль, А. Ганис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Перемоню, М. Половский, Григорий Рыскин, Нью-Йорк, М. Леманн, Сан-Франциско, Д. Савицкий "Европейская хроника", В. Лазарис, Ю. Шаргородский, З. Коляпинович, Израиль.

ЛИТЕРАТУРА. В Панораме впервые публиковались отдельные произведения Василия Ансонова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа и ряде других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

ГОЛЛИВУД. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

ЮМОР. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

"Панорама" имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33,00 долл, полугодовой — 18,00 долл.
Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже купон и выслать его в адрес издательства "Альманах".

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048 USA

Проще подписать меня на газету "Альманах-ПАНОРАМА" на срок: 12 мес. / 33,00 долл.
6 мес. / 18,00 долл.

В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64,00 долл.

Чек монито-ордер на сумму _____ долл. прилагаю.
Газету прошу направлять по адресу:

Имя _____ Телефон: _____

Номер дома _____ Улица _____ Город _____ Штат _____ Zip-код _____

American
Russian
weekly

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев

Правда о Павлике Морозове, официальном пионере-герое № 1, убитом кулаками, противниками колхоза за то, что мальчик разоблачил своего отца, врага советской власти, тщательно камуфлировалась в течение полувека. Писатель Юрий Дружников отправился в Сибирь, на родину Павлика, а затем объехал одиннадцать городов в поисках оставшихся в живых родственников, очевидцев, свидетелей. Он фотографировал места, людей, документы, сохранившиеся в частных архивах, и записывал показания свидетелей на пленку.

Оказалось, что герой-доносчик не был пионером, колхоза тоже не было. Сын донес на отца вовсе не ради советской власти. И убит мальчик был не кулаками. Их в деревне вообще не существовало. Автору книги удалось разыскать и сфотографировать подлинных убийц, нити от которых тянулись к начальнику Особого сектора личного секретариата Сталина.

264 стр., 75 фотографий, цена 6 дол.

Книгу можно заказать в издательстве OPI
8, Queen Anne's Gardens, London W 4 ITU, England
или в книжном деле

A. Neimanis
26 Bauerstrasse
8000 Munich 40, West Germany

ДОРА ШТУРМАН "НАШ НОВЫЙ МИР"

Теория. Эксперимент. Результат.

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате с начала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность "подпольного анализа". Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги — 460 страниц. Цена — 15 долларов (в Израиле — 20 шекелей). Пересылка: в Израиле — 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой — 1,7 долл.; авиапочтой: в Европу — 2,5 долл., в США — 3,5 долл. Книгу можно получить, отправив чек по адресу: S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot, Jerusalem 93802, Israel, Tel. 02/721633

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Предварительная подписка на
издание второе исправленное и дополненное

Цена книги — 21 доллар. Для подписчиков цена, включая доставку заказной бандеролью морем — 16 долл, авиапочтой — 17,5 долл. Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном, за счет НОВЫХ анекдотов, богатых событиями 1985-1986 гг.

Чеки посылать по адресу:

S.Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot. Jerusalem 93802, Israel
Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес.

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд. Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ**

**ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ—КГБ**

**ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?**

КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ, МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA

**Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловецкий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 25 долларов.

Пересылка — 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201) 592-6155

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605
(201)592-6155

Корректор и литературный редактор Елена Довлатова.

OCR и вычитка — Давид Титиевский, август 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены
компанией NAME Advertising Co.**

На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.

**На четвертой странице обложки: работа Г. А. Щетинина
из серии «Женщины Архипелага».**

